ПЕТРО ПАНЧ

Голубые эшелоны

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

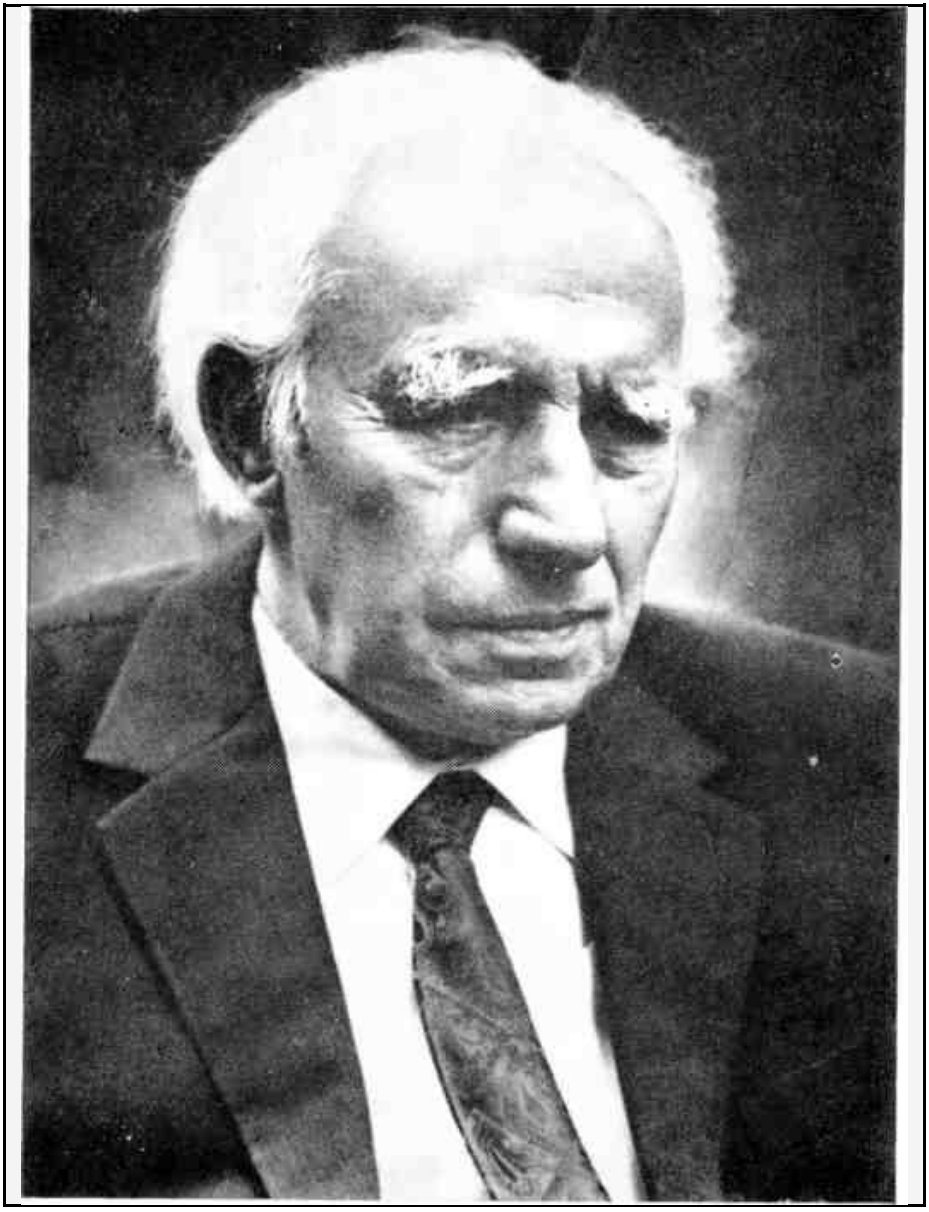
В однотомник известного украинского писателя Петра Панча (1891—1978) вошли повести: «Голубые эшелоны», «Александр Пархоменко», «Повесть наших дней», ярко рисующие картины гражданской войны на Украине, и новеллы из книги воспоминаний «На калиновом мосту», удостоенной в 1966 году Государственной премии УССР им. Т. Г. Шевченко.

- Голубые эшелоны
  - ○
  - ○ ПОСТИЖЕНИЕ ПРОСТОТЫ
  - ○ ГОЛУБЫЕ ЭШЕЛОНЫ
    - ■
    - ■ 1
    - ■ 2
    - ■ 3
    - ■ 4
    - ■ 5
    - ■ 6
    - ■ 7
    - ■ 8
    - ■ 9
    - ■ 10
    - ■ 11
    - ■ 12
    - ■ 13
    - ■ 14
    - ■ 15
    - ■ 16
  - ○ АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО
    - ■
    - ■ 1
    - ■ 2
    - ■ 3
    - ■ 4
    - ■ 5
    - ■ 6
    - ■ 7
    - ■ 8
    - ■ 9
    - ■ 10
    - ■ 11

        - 12
        - 13
        - 14
        - 15
        - 16
        - 17
        - 18
    - ПОВЕСТЬ НАШИХ ДНЕЙ
    - НА КАЛИНОВОМ МОСТУ
        -
        - КОГДА СНИТСЯ ВУР
        - ТРИ КОПЕЙКИ
            - ПЕРВАЯ КОПЕЙКА
            - ВТОРАЯ КОПЕЙКА
            - ТРЕТЬЯ КОПЕЙКА
        - ТРОПИНКА В ГОРОД
        - В СТЕПИ НАД ОРЕЛЬЮ
        - ЦАРЬ БЕЗ ТРОНА
        - РЕВОЛЮЦИЯ!
        - МОЙ ГЕРОЙ
        - ВО ВРАЖЕСКОМ СТАНЕ
        - БУРЕЛОМ
        - ЛЮБОВЬ
        - СИНИЕ ГЛАЗА
        - ХОРОНИЛИ УЧИТЕЛЬНИЦУ
        - НИЩЕНКА
        - МАТЬ БОЛЬШЕВИКА
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16

- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20

Голубые эшелоны



ПЕТРО ПАНЧ

Голубые эшелоны

повести

ПЕРЕВОД
С УКРАИНСКОГО

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1979

ПОСТИЖЕНИЕ ПРОСТОТЫ

Думалось ли когда-нибудь, что придется писать предисловие к книге самого Петра Панча? Того самого Панча, чей «Маленький партизан» был в твоей первой школьной хрестоматии, чьи «Голубые эшелоны» входили в круг твоего первого мальчишеского чтения, чей монументальный роман «Клокотала Украина» ты перечитывал, уже сам начав писательствовать.

Быть может, такова уж судьба всех мастеров, чтобы судили затем о них подмастерья и ученики? Ведь сколько исписано бумаги о Пушкине и Шевченко в надежде если и не приблизиться к великим художникам, то хотя бы понять их в чем-то.

Имя Петра Панча стоит одним из первых среди зачинателей украинской советской прозы. Область духа, к которой принадлежит также литература, капризна и своенравна. В нее приходят многие, остаются там — увы! — далеко не все. Петро Панч не только удержался, он стал не просто зачинателем украинской советской прозы, но и одним из ее самых выдающихся мастеров, таких, как А. Головко, Ю. Яновский, И. Ле, И. Сенченко.

Он всегда знал, что будет писателем. В своей автобиографии (Советские писатели. Автобиографии в четырех томах. Гослитиздат, 1959, т. II, стр. 197) Панч писал:

> «Еще с детства ничего я так не любил, как летние ночи. Только наставали теплые дни, мы с меньшим братом переходили спать в сарай на подмостки. В стене светилась дырочка, в которую видно было немного улицы, хату напротив и за ней темную стену высоких дубов. Там была левада Боровика…
>
> Мы до боли в глазах смотрели в дырочку: вот из тени вынырнула собака, улицу перебежала кошка, и нам кажется, что и кошка и собака какие-то особенные: давно уже все спят, а они еще бегают. Но вот в конце переулка слышатся шаги. Вероятно, идут девчата с парубками. Нам очень хочется услышать, о чем они разговаривают между собой, и мы вслушиваемся, затаив дыхание, но они начинают уже петь:
>
> Ой, гаю, мій гаю, густий, не прогляну…
>
> Ночь звенит, как натянутая струна, и мы, убаюканные песнями и соловьиными трелями, гуденьем

майских жуков и тихим шелестом трав, засыпаем. Уж сквозь дрему я думаю: «Если бы все это описать!»

С чего начинается писатель? С рождения, обстановки, особых условий, творческого окружения? Однозначного ответа нет. Сколько писателей, столько и ответов. На первый взгляд ничто не указывало на то, что крестьянский сын Петро станет в будущем известнейшим писателем своего народа, на самом же деле случилось именно так.

Петро Иосифович Панч (настоящая фамилия Панченко) родился 4 июля 1891 года в местечке Валки на Харьковщине, в бедной крестьянской семье. Учился в двухклассном приходском училище, работал канцеляристом в Валках и в Харькове; решив получить высшее образование, посещал общеобразовательные курсы. Но мечту об университете пришлось оставить: полиция закрыла курсы. Панч учится в Полтавской землемерной школе, мобилизованный в 1915 году в армию, кончает Одесское артиллерийское училище, в чине прапорщика оказывается в Царском Селе под Петербургом, где его застает Февральская революция. После Октября добровольно вступает в Красную Армию, в ее рядах сражается с деникинцами, белополяками, различными бандами. Вернувшись в 1921 году в Валки, Панч работает землеустроителем и в это же время начинает писать. Он посылает свои статьи, фельетоны, рассказы в валковскую газету «Незаможник», в харьковские «Вісті» и «Селянську правду». Под многими из этих писаний стоял псевдоним Максим Отава. Как-то очередную свою корреспонденцию для «Незаможника» будущий писатель подписал, сократив свою фамилию, словом «Пан». Но слово «пан» было настолько непопулярно после революции, что редактор газеты прибавил к нему еще одну букву от фамилии автора, и получилось: Панч. Так родился псевдоним, под которым мы теперь знаем выдающегося мастера украинской прозы.

В 1923 году Панч переезжает в Харьков. Вместе с Павлом Тычиной работает в литературном журнале «Червоний шлях», становится членом союза крестьянских писателей «Плуг», в 1924 году издает первую книжку своих рассказов «Поза життям» («Вне жизни»).

Талант и революция — с этого начинался молодой писатель.

> «Нас, первых творцов литературы, которые еще на великих руинах борьбы начали свой тяжкий труд творения новой пролетарской литературы, — нас вынесла могучая волна революции», —

писал Панч в одном из своих выступлений тех лет (*Петро*

Панч. Твори в п'яти томах. Київ, 1961, т. 1, стр. 5).

В первые годы пребывания в Харькове Панч пишет очень много, хотя на первых порах ограничивается только жанром рассказа. Работая над произведениями малой формы, писатель, как он сам после вспоминал, впервые с такой остротой почувствовал высочайшую ответственность за каждую фразу, за каждый образ, за каждое слово, он учился той высшей простоте, которая дает литературе доходчивость и вместе с тем вмещает в себе всю сложность и противоречивость жизни.

Кто-то назвал рассказ художественным выражением молодости. Если это в самом деле так, то можно только порадоваться за Петра Панча: уже в глубокой старости, став признанным мастером прозы, он не оставил напряженнейших творческих поисков в этом жанре. Во время Великой Отечественной войны, работая на Украинском радио, Панч создает жанр короткого радиорассказа, острого, хлесткого, сжатого, как стальная пружина. Пожалуй самым знаменитым из этих рассказов была «Кукушка»:

> «Карательный отряд шел ловить украинских партизан. Вдруг в лесу закуковала кукушка.
>
> — Кукушка, кукушка, сколько мне жить? — загадал ей фриц.
>
> — Пока моя пуля долетит! — басом ответила с дуба кукушка».

Иногда кажется, что писатель задался целью написать рассказ, который состоял бы всего лишь из одной строчки, — так упорно и тщательно отгранивает он каждое слово, так самоотверженно ищет максимальной простоты и афористичности выражения.

Делясь секретами своего мастерства, Петр Панч в одной из статей писал по поводу своего романа «Клокотала Украина»:

> «Лишь три слова «Кровь кипит к мечу» послужили зачином для создания образа Максима Кривоноса, даже больше — стали ключевым знакам и для всего произведения, ибо в них, как в своеобразном аккумуляторе, сосредоточена и динамика, и патриотические чувства, и непобедимая сила. Наша задача — из каждого слова, из каждой фразы высекать искру, чтобы у читателей от нее вспыхнул огонь. Это не компенсируешь никакими «красивостями», к которым прибегают отдельные авторы, ибо никакие красивости не способны заменить природных самоцветов. Язык — это

драгоценное сокровище, приобретенное в течение веков нашим народом, его неисчерпаемое духовное богатство. В то же время это и наше оружие в идейной борьбе, которая постоянно идет между двумя мирами.

Нужно заботиться, чтобы это оружие всегда было острым и гибким, как сабля, ясным, как солнце».

Творческим воплощением этих принципов явились книги рассказов Петра Панча «Соломенный дым» и «Мышьи норы» (1924—1925), «Рождение» (1932), рассказов и фельетонов периода Великой Отечественной войны, рассказов для детей и, наконец, его послевоенной книги «На калиновом мосту».

Панч всегда умел остановиться там, где художественный поиск переставал быть продуктивным, демонстрировал сдержанность, достойную уважения и восхищения, своими рассказами и короткими повестями он как бы утверждал, что рамки жизни тверды и прочны, выходить за их пределы нет смысла, пафос — излишен, красоты — от лукавого, изысканность оставим бездельникам, церемонность — притворщикам, суетливость — удел нищих духом. Писатель демонстрировал безупречное владение языком, остроту глаза, понимание человеческой психологии, высокий профессионализм, столь же необходимый в творчестве, как и вдохновение, и все это делало уже первые его книги действенным средством общения человека с человеком.

Все эти принципы Панч творчески перенес и на более крупные жанры — повесть и роман, которые он вскоре начал успешно разрабатывать, ибо этого настоятельно требовал размах, накал страстей, пафос борьбы и строительства новой жизни, развернувшегося в советской стране.

Нет бóльшего заблуждения, нежели представлять творчество того или иного писателя как некую сумму чисто количественных накоплений. Если рассказ для Панча навсегда остается словно бы оселком для оттачивания литературного мастерства, для постижения высших тайн простоты и выразительности, то более крупные формы — повесть и роман — вскоре становятся преобладающими в его творчестве, ибо именно такова была природа дарования писателя, открывшаяся ему не сразу, но затем завладевшая им почти безраздельно. Начиная с 1926 года появляются повести и романы П. Панча «С моря», «Повесть наших дней», «Голубые эшелоны», «Реванш», «Без козыря», «Волки», «Муха Макар», «Осада ночи», «Перед рассветом», «Александр Пархоменко», «Сын Таращанского полка», «Эрик ищет счастья», «Сыновей не отдам», и, как бы увенчивая серию этих талантливых

произведений, ставших своеобразной художественной летописью революции, гражданской войны и строительства новой жизни на Украине, появляются уже после войны монументальный исторический роман «Клокотала Украина» и своеобразная повесть-исповедь «На калиновом мосту».

Среди своих литературных учителей Панч называет Гоголя, Чехова, Горького, Шевченко, у которых он учился лиризму, лаконизму, гуманизму, революционному демократизму. Доброта, любовь, ирония, печаль и сомнения пронизывают его повести. Беспристрастие — не его удел. Панч часто выступает в роли судьи по отношению к своим героям. Хорошо это или плохо? Споры на эту тему в литературе не кончаются никогда. Но страстность писателя всегда увлекает нас. Разве не страстны в высшей степени Толстой и Достоевский? Добродетель терпеливости и высокая невозмутимость могут иногда даже привлекать, но никогда не дадут возможности судить о позиции писателя, о его отношении к миру, а без этого мы не представляем настоящего художника.

Почти на протяжении всего своего, без преувеличения, огромного творческого пути Панч мастерски пользуется таким литературным приемом, как ирония, умело соединяет иронию, юмор с простотой, как бы говоря нам: там, где юмор, там всегда доброта и понимание, где сдержанность — там достоинство и, может быть, даже величие.

Не ищите покоя в простоте Панча. Здесь царит неуступчивость, высшая требовательность к самому себе и к людям. В его произведениях нет бароккальной щедрости и того безудержного размаха, которым отличается украинская проза в произведениях таких ее мастеров, как Яновский и Гончар. В произведениях Панча царит сдержанность, аскетизм, некая сухость, как в красках темперы, которой пишут фрески. Собственно, его романы и повести чем-то напоминают нам фрески. И так как фресковость изображения исключает идею развития, то характеры у Панча, точно в греческой трагедии, окрашены одной краской — белой или черной; им остается лишь действовать и побеждать или погибать. Кажется, лишь роман «Осада ночи» отличается от всех других произведений Панча в этом отношении.

Плохо это или хорошо? Огромная популярность Панча-прозаика, интерес к его произведениям в продолжение целых десятилетий, проявляемый новыми и новыми поколениями читателей, лишний раз свидетельствует в пользу разнообразия и богатства литературы социалистического реализма против суженного взгляда на нее.

Писатель с честью выдержал испытание временем. В отношении Петра Панча можно бы даже употребить монтеневский термин — продолжительная дружба с временем. Он пренебрегал разработкой случайного, гармонично соединял в себе неукротимость духа и высочайшую художественную сдержанность, его стиль не подвергался быстро меняющимся литературным модам, писатель всегда умел побороть в себе искушение быть оригинальным любой ценой, прекрасно зная, что оригинальничанье почти всегда оказывается заимствованным. Может, именно благодаря всему этому Петро Панч связан со всем лучшим, что уже написано или будет написано в украинской прозе.

Его повесть «Голубые эшелоны» появилась в один год со знаменитым романом А. Головко «Бурьян». Оба эти произведения были отмечены премией в честь десятилетия Октября. «Бурьян» стал первым украинским советским романом, «Голубые эшелоны» — первой украинской советской повестью. Но значение повести П. Панча не только, сказать бы, жанровое — она важна прежде всего своей проблематикой, ибо впервые с большой художественной силой прозвучала в ней одна из главнейших идей, которую украинская советская литература разрабатывает по сей день, — идея борьбы против буржуазных националистов, против отщепенцев всех мастей, торгующих родиной, ради своих мелких политических амбиций идущих на сговор с самыми темными силами международной реакции, вплоть до фашизма.

> «Голубые эшелоны» и сегодня, полвека спустя после написания повести, поражают смелостью своего замысла, художественного построения, высоким политическим накалом и вместе с тем удивительной пластичностью в изображении многочисленных действующих лиц, большинство которых эпизодичны и лишь мелькают на странице, в фразе, в отдельной реплике. Эшелон, набитый петлюровцами, снежной ночью идет от станции Знаменка к Елисаветграду. Между этими двумя степными украинскими станциями всего несколько десятков километров пути. Фактически все события происходят на протяжении одной ночи, но писателю достаточно и этого, чтобы нарисовать огромную литературную фреску с выразительнейшими фигурами так называемых борцов за Украину. В центре повести образ сотника петлюровского войска Лец-Атаманова, который на словах будто бы в самом деле болеет душой о судьбе Украины, борется против попыток запятнать

«чистую мечту» о «ясноглазой Украине», ужасается от мысли о том, что «борцы за Украину» давно уже превратились (а может, всегда были!) в обыкновеннейших бандитов (недаром же крестьяне, подходящие к эшелону, спрашивают их: «Вы какой банды будете?»). Он почти с нескрываемым презрением слушает разглагольствования политических спекулянтов из «дипломатической миссии», едущей в эшелоне в Одессу, чтобы там продавать Украину оптом и в розницу, — но, страдая, переживая, презирая, Лец-Атаманов остается с этими бандитами и политическими спекулянтами, он лишь хотел бы, чтобы все это выглядело более благопристойно, чтобы меньше было болтовни и цинизма, а больше решительности и конкретности.

«Ну, что за несчастная наша нация, — раздумывает Лец-Атаманов, — все время в иллюзиях и надеждах, и хотя бы тебе на один момент что-нибудь конкретное».

Этот благопристойный враг, быть может, самый опасный, именно поэтому писатель и ставит его в центр повести, делает главным героем. Ибо остальные — неизмеримо мельче, примитивнее, они сметаются вихрем истории почти незаметно, уничтожают сами себя то ли своей неприкрытой бандитской сущностью, то ли цинизмом, то ли просто легковесностью и глупостью. Они и сами это понимают, не веря друг другу. Один из членов «миссии», едущей в эшелоне, так выражается на этот счет:

> «Никакой дисциплины перед историей. Хохлы — и все! Садятся в один вагон, а ехать хотят в разные стороны».

Другой, кооператор Загнибеда, уповает только на куплю-продажу, он готов платить кому угодно, лишь бы тот заинтересовался украинской песней, судьбой и… «пшеничкой», как немедленно добавляет еще один член «миссии» — некий редактор некоего петлюровского листка:

> «А нам что нужно — только была бы Украина. Какая ни на есть, а Украина!»

Лец-Атаманов в повести гибнет, но лец-атамановщина, как социальное явление, сама по себе не гибнет, не исчезает, она возрождается то в националистических бандах мельниковцев и бандеровцев, то в деятельности всяческих заокеанских сообществ

и конгрессов так называемых свободных украинцев. Бороться с этими отщепенцами, разоблачать их перед всем миром — одна из благороднейших задач нашей литературы. К чести Петра Панча надо сказать, что своими «Голубыми эшелонами» он начал великое дело борьбы с украинскими буржуазными националистами, положил начало боевой традиции, достойными продолжателями которой, наряду с другими украинскими писателями, стали такие выдающиеся мастера слова, как Ярослав Галан и Юрий Смолич.

От врагов — к подлинным героям, к борцам за народное дело. Так можно было бы определить характер повести «Александр Пархоменко», посвященной изображению одного из легендарных героев революции, почти полностью построенной на изучении писателем исторического материала (повесть писалась в середине 30-х годов) и, конечно же, исторического романа «Клокотала Украина» — вершины творчества Петра Панча. «Клокотала Украина» создан по совету Горького, который во время встречи с украинскими писателями обратил их внимание на богатейшую историю Украины, ждущую своего достойного художественного воплощения. Интересно, что двое из участников этой встречи — Петро Панч и Иван Ле независимо один от другого и совершенно не повторяясь, создали, многие годы спустя, крупные исторические полотна об освободительной войне украинского народа, закончившейся историческим воссоединением в единое государство с народом русским. И в романе Панча «Клокотала Украина», и в романе И. Ле «Хмельницкий», как и в романе Н. Рыбака «Переяславская Рада» и в пьесе А. Корнейчука «Богдан Хмельницкий», в центре — образ вождя освободительного движения украинского народа Богдана Хмельницкого. Но как несхожи все эти произведения, какую яркую печать авторской индивидуальности несет каждое из них, как взаимно дополняют эти мастера друг друга в создании образа великого сына украинского народа! Это явление поистине удивительное и, можно сказать, уникальное в истории литературы.

Как бы демонстрируя весь арсенал своих художественных достижений, Петро Панч пишет книгу «На калиновом мосту», удостоенную Государственной премии УССР им. Т. Г. Шевченко.

«На калиновом мосту» — не повесть, не мемуары в общепринятом смысле, не сборник рассказов, и вместе с тем это и повесть, и воспоминания, и новеллы, и зарисовки ушедших времен и лиц. Это удивительная книга, отдельные фрагменты которой иногда лучше, чем она вся в целом (взять хотя бы первые главы о детстве писателя, о его участии в событиях революции…).

Казалось бы, в книге произвольно выбранные писателем события, но вместе с тем все это дает ощущение реальной полноты жизни, ибо все цементируется личностью самого рассказчика. Убедившись в безнадежности объять необъятное, писатель сознательно переносит центр тяжести с последовательного изложения событий на изображение лишь самых значительных эпизодов, поворотных моментов в жизни, неких судьбоносных событий, что ли. Все это, как отмечает писатель, «разрушает каноническую форму, но приближает к истине». Отбрасывается хронология, берутся лишь отдельные куски жизни, мир дробится на осколки, океан разбрызгивается на отдельные капли, но в каждой капле соль и солнце всего океана жизни, в центре которой сам автор.

В самом деле — Петро Панч был в центре литературной жизни нашей страны почти с первых лет советской власти. Один из зачинателей украинской советской литературы, он был в числе активнейших создателей Союза советских писателей. На Украине многие годы Панч возглавлял крупнейшие писательские организации — харьковскую и львовскую, был одним из руководителей республиканской писательской организации, сотрудничая с такими выдающимися мастерами слова, как Тычина, Рыльский, Корнейчук, Бажан, Гончар, Смолич.

Уважением и славой окружено было его имя. Но все та же неудовлетворенность, что и в самом начале творческого пути, преследовала старого мастера, все та же неукротимость духа и пристальность взгляда характерны были для его художнических трудов и дней, все та же вечная жажда познания и творения звучала в его душе, как и в заключительном аккорде его «Автобиографии»: если бы этот мир описать!

Павло Загребельный

ГОЛУБЫЕ ЭШЕЛОНЫ

Перевод Б. Турганова.

1

Воинство Директории под ударами Красной Армии отступало на запад. На станцию Знаменка раненые прибывали уже прямо из боя, а станция все еще была забита эшелонами с амуницией и людьми.

Опасность оказаться в плену порождала беспокойство среди казаков. К тому же по вагонам пополз слух, будто бы куренной атаман хотел изменить и его уже арестовал начальник штаба, а еще спустя немного заговорили об обратном — изменить, мол, хотел начальник штаба и его арестовал куренной.

Беспокойство усилила стрельба, — она началась за станцией и быстро перекинулась в эшелоны. Кто стреляет и почему, добиться было нельзя. Единственное, о чем говорили с уверенностью, что это атаман Григорьев, не признававший над собой никакой власти, наступает со своими головорезами на Знаменку с юга.

Слух о Григорьеве принес на станцию взъерошенный казак из отряда «Запорожская Сечь», на который напал Григорьев.

Сечевой атаман Божко воевал, строго придерживаясь стародавних обычаев запорожских, и потому, когда в «Сечи» начали кричать, что наступает какой-то враг, атаман Божко, закинув голову так, словно от этого ему стало виднее, спросил:

— А откуда?

— Из ногайских степей, батько атаман, — ответили ему. — Куда прикажешь телефон тянуть?

Божко с важностью, достойной самого гетмана, оттопырил губу и сказал:

— Спрашиваешь! На черта сдались мне ваши телефоны? Запорожцы никогда их не знали, а даже турок били! Вот мой телефон! — и тряхнул булавой, украденной в каком-то музее.

Заткнув ее за красный пояс, он полез на занесенный снегом амбар.

— Вот это по-запорожски будет. Где там враг?

— Батько атаман, — кричат ему снизу, — григорьевцы уже вон в том конце!

— А почему ж я не вижу их, басурманов?

— Да вот они на улице!

— Уже? Вишь, проклятые разбойники, и разгуляться не дали. Кричи хлопцам — скакать на Бендеры!

Взъерошенный казак не нашел дороги на Бендеры, а поднял панику на станции Знаменка, когда уже темнело.

Теперь остался один только путь, по которому еще можно

было отступать, — на запад.

Но через минуту и эта возможность повисла на волоске: стало известно, что в местечке Смела Одесский полк объявил себя красным и уже выступил, чтобы перерезать голубым линию железной дороги.

Теперь стрельба началась уже по всей территории станции, и темные эшелоны зашевелились, заползали, как клубок раскопанных червей.

Два казака из артиллерийского дивизиона с маху вскочили на паровоз, разрядили винтовки у самых ушей машиниста, и эшелон с орудиями, пыхая дымом, тоже сорвался и пополз на запад.

В последнюю минуту к классному вагону подошла молодая дама в белой пуховой шапочке, с двумя чемоданами в руках и растерянно оглянулась по сторонам. Кареглазый казак в ватнике помог ей забросить чемоданы в тамбур, а сам уже на ходу вскочил в теплушку.

Сгибаясь под тяжестью ящиков, несколько запыхавшихся казаков силились нагнать эшелон, а за ними, спотыкаясь на рельсах, бежал какой-то командир в бекеше.

На поручнях классного вагона гроздью висели казаки, выкриками и свистом подбадривали пеший хвост:

— Ну-ну, поддай пару, хлопцы, поддай…

— Наши сели. Молодцы!

— А бекеша еще топает!

— Хлопнулся!

Дама с чемоданами успела уже побывать в вагоне и вышла в тамбур еще сильнее взволнованная. В руке она держала железнодорожный билет.

— Господа, пропустите, — взмолилась она казакам, которые забили проход. — Ради бога, я не на тот поезд села. Боже мой, ночь уже… Сбросьте чемоданы!

— А может, это ваш муж топал вдогонку? Шустрый! — иронизировали казаки, не двигаясь с места.

Дама ничего не ответила и старалась протиснуться к выходу.

— Пропустите, прошу вас… Я еще соскочу…

Из дверей вагона вышел статный командир в полушубке и серой смушковой шапке и, предостерегая, протянул руку.

— Убьетесь! Что вы, пани, не для дам такие вещи, — проговорил он с укором.

— Дорогой пан… — На френче под полушубком она разглядела командирские знаки различия и уверенно добавила: — Пан полковник, остановите поезд, я сойду… я спешу к маме… А теперь куда я заеду?

— Простите, пани, отсюда поезда идут теперь только на запад.

— Но я смогу еще спрыгнуть.

— Но сесть уже не сможете. А если это бежал за поездом ваш супруг, так он, наверно, сел в какой-нибудь задний вагон.

Казаки, зная повадку своего командира, лукаво поддакнули:

— Сел, будьте покойны!

— У меня мама при смерти, — сказала дама, не слушая казаков.

— Вот мы вас и подвезем, — говорил командир сочувственно. — Для такой любящей дочери можно сделать исключение и в воинском эшелоне. Входите. — Поддерживая осторожно под локоть, он ввел ее в коридор.

При свете фонаря полковник мог лучше разглядеть случайную пассажирку. Это была молодая и стройная женщина лет тридцати. На ее длинных ресницах поблескивали, как роса на солнце, слезы.

Полковник невольно притронулся к своим черным усам, закрученным в колечки, но продолжал, как заботливый отец:

— Успокойтесь, пани, успокойтесь. У нас тоже вам будет неплохо.

Но дама не переставала теребить мокрый платочек и порывалась к выходу.

— Если б вы захотели…

— Я и хочу, чтобы и вы, и мы не угодили в лапы головорезам Григорьева. Прошу в купе!

Но в коридор быстро вошел еще один командир. Шапка с султаном над горбатым носом и смуглое лицо, бешмет, стянутый кованым пояском, за которым торчал дамский браунинг, желтые краги над гетрами делали его похожим на опереточного героя-любовника. Впечатление усиливал еще стек с серебряной лошадиной головой. Полковник говорил по-русски, только по временам с улыбкой вставляя, как принудительный ассортимент, два-три украинских слова, но командир со стеком обратился к полковнику по-украински, чеканя каждое слово:

— Пан Забачта, вам известно, какое бесчинство творится в нашем эшелоне?

— Пан Лец-Атаманов, чем вы взволнованы? — проговорил полковник, щуря и на него, как на даму, свои глаза.

— Я не только взволнован, я — возмущен, пан полковник! Кто разрешил казакам захватить целых три чужих вагона?

— Должно быть, кто-то постарше вас, пан сотник.

Сотник раздраженно стеганул стеком по своим крагам.

— И чего ради подняли бучу на всю Знаменку? Ну, пускай,

сало, а календари на 1919 год? Целый вагон! Или грабли. На черта нам это барахло, только чтобы раздражать население? Если вам безразлично, то не безразлично нам. — Последнее слово он выговорил с нажимом. — Надо же быть хоть немного дипломатом.

Полковник Забачта был начальником Лец-Атаманова, но под его строгим взглядом даже смутился, хотя каждая черточка его холеного лица говорила о равнодушии к беспокойству Лец-Атаманова. Наконец полковник с кривой усмешкой обратился к даме, — она стояла, прижавшись к стенке:

— В хорошем хозяйстве все пригодится. Не правда ли, — простите, как прикажете вас величать?

— Нина, Нина Георгиевна, — еле слышно проговорила дама.

— Прекрасно. Все, пан сотник? Прошу, Нина Георгиевна!

Сотник Лец-Атаманов, который сгоряча, кроме полковника, никого не заметил, только теперь увидел женщину в короткой шубке с белой выпушкой и в такой же шапочке, из-под которой выбивались русые локоны, и удивленно поднял брови: матово-розовое лицо женщины было милым и привлекательным. Под его взглядом дама виновато потупилась и тихо ответила:

— Я постою здесь, спасибо, я все-таки попробую спрыгнуть.

Лец-Атаманов поглядел на полковника, как на заведомого вора, который наметил обокрасть очередную жертву, но все же спросил:

— Ваша знакомая? Простите…

— Да, мы уже познакомились. Нина Георгиевна приняла наш эшелон за пассажирский, хочет соскочить.

— Соскакивать опасно. Прошу пани в мое купе.

— Ну что ж, предоставим выбор самой Нине Георгиевне, — не уступал Забачта, уже кокетливо подтягивая кончик уса к прищуренному глазу.

Нина Георгиевна растерянно посмотрела поочередно на обоих командиров, и ответ уже готов был сорваться с ее губ, когда опять отворилась дверь и из нее показались два ведра, наполненные прозрачной жидкостью. Их бережно нес казак. За ним гурьбой шли несколько командиров.

Руководил делом уже немолодой сотник. У него были тоненькие ножки в широких бриджах и серая физиономия гуляки.

— Несите к полковнику.

— Ко всем чертям! — замахал руками командир, подпоясанный поверх английского френча синим крестьянским поясом. — И на опохмелку не останется! Цацоха, неси к Лец-Атаманову.

— Правильно, правильно, Рекало, — поддержало его еще

несколько голосов. — Под высокую руку Лец-Атаманова!

— Больше никому нельзя доверить. Клад! — причмокивал Рекало. — Два ведра чистой!

Лец-Атаманов взглянул на ведра, потянул носом и поморщился.

По вагону уже полз крепкий запах сивухи. Он резко сказал:

— У меня не кабак, убирайтесь с вашей водкой! — и неприметно глянул на Нину Георгиевну.

Она все еще стояла, прижавшись и стенке, как заблудившаяся маленькая девочка. Плечи Лец-Атаманова нервно передернулись, и он заслонил ее от ведер, над которыми уже разгорелся сердитый спор. В споре не принимали участия только казак Цацоха, аппетитно втягивавший в себя воздух, да полковник Забачта — он все еще щурил на Нину Георгиевну свои зеленоватые глаза. Наконец непомерно живые жесты и недосказанные, но понятные доводы адъютанта Кованого победили, и все вместе с ведрами двинулись в купе полковника. Теперь сотник Лец-Атаманов без слов взял Нину Георгиевну под локоть и ввел в свое купе. Полковник Забачта дошел за ними до порога, оглядел обоих по очереди из-под насупленных бровей и, круто повернувшись, молча зашагал в свое купе.

Когда они остались вдвоем, Нина Георгиевна виновато проговорила:

— Полковник, кажется, обижен?

— Меня это мало беспокоит. Пусть скажет спасибо, что его приютила наша армия, а то бы, пожалуй, уже болтался где-нибудь на фонаре.

— Разве он не украинец?

— Такой же, как я китаец. Разве не видно по выговору? Такой спит и видит: «Нет и не будет украинского языка». У нас и такие имеются. А Кованый, адъютант, видели, — на тоненьких ножках, — даже цыган. Вы удивлены, наверно, — какие из них самостийники? Они умеют хорошо воевать с большевиками. А, как говорится, привыкнет собака к возу, так и за санями побежит. Да ну их к черту! Я вам искренне рад. В моем холодном купе сразу стало и теплее, и уютнее. — И уже с деланной откровенностью добавил: — Я теперь горло перерву полковнику, если он вздумает вас переманивать.

Нина Георгиевна высвободила локоть и сухо сказала:

— Я не хочу вам мешать, пан сотник. Я лучше побуду в коридоре.

Сотник засуетился:

— Простите, я вас обидел? Извините, никак не хотел этого. Я еще не знаю, кто вы, но слышу чудесный украинский выговор.

Разве можно сомневаться, что вы настоящая украинка? Так у кого же больше прав на ваше общество — у меня или у какого-то Забачты?

— А куда вы направляетесь? Кажется, уже недалеко Збруч, — сказала Нина Георгиевна.

Сотник задержал дыхание, чтобы подавить горький вздох.

— Галиция тоже Украина, сумеем договориться и с ЗУНР[1], ведь мы кровная родня. А Петрушевич подлинный диктатор: хочешь иметь свою Украину — бей поляков! И его понимают, не то что наши чертовы мужики.

— А говорят, в Дрогобыче и галичане, и поляки выступают сообща.

— Ну это, должно быть, рабочие. На месте виднее будет. Вам холодно? Возьмите мой полушубок. Пожалуйста!

Он накинул на ее круглые плечи полушубок и придержал его спереди. Нина Георгиевна холодно глянула на него через плечо. Лицо сотника стало хищным, жадным. Она молча развела его руки и отошла. Сотник покраснел, выпрямился, потом сорвал шапку, тряхнул своими черными волосами и, отворотясь к окну, закурил.

Нина Георгиевна, зябко поводя плечами, села на диван, отодвинулась в угол и устало прикрыла глаза, не переставая следить за нервными судорогами на смуглом лице сотника.

Бутафорский костюм и дорогие папиросы все же не могли скрыть в нем крестьянского парня. Об этом говорили и его угловатые, хотя и энергичные движения, и старание показаться человеком культурным. Такие по большей части бывали выходцами из кулаков или подкулачников, норовивших войти в родню к кулакам. Эти становились самой надежной их опорой. Нина Георгиевна открыла глаза и, как бы продолжая свои мысли, проговорила:

— Где же я сойду? Господи, что же это будет? Нас могут еще перехватить большевики.

Сотник вздрогнул и ответил:

— У нас все наготове — не страшно, а вам раньше, чем в Елисаветграде, сходить нельзя. Вы куда направляетесь?

— В Одессу, — ответила она не сразу.

— В Одессу? — поднял брови Лец-Атаманов. — Да ведь там французы и Добровольческая армия.

— Но я слышала, что вы уже в союзе с добровольцами…

— Слухи и только. Переговоры действительно ведутся, но еще не известно, чем закончатся. — Видно было, что ему не хотелось об этом говорить.

— Все равно я должна ехать, — сказала Нина Георгиевна с

упорством наивной девочки, — вот телеграмма, смотрите, мама при смерти.

— Теперь у нас должна быть одна забота — о матери-Украине. И муж ваш едет в Одессу?

— Если вы думаете о том, который догонял эшелон, так это случайный знакомый из министерства… Ему в Киев нужно.

— А зачем же он садился в наш эшелон, если мы едем в обратную сторону? — и он внимательно посмотрел на чемоданы случайной попутчицы.

Нина Георгиевна заметила это и обиженно возразила:

— Значит, нужно было сидеть в Знаменке, пока бандиты Григорьева не пустили бы нас под лед?

За стенкой в командирском купе все время стоял гомон, но теперь вдруг поднялся настоящий крик и вместе со стуком колес заглушил ее последние слова. Вслед за тем дверь купе отодвинулась, и на пороге возник сотник Рекало. За ним стоял рослый командир в полицейском кителе, разглаживая в обе стороны усы. У Рекала рыжие волосы были всклокочены, лицо, усеянное веснушками, лоснилось. Огрызком карандаша он чиркнул по спичечному коробку и позвал:

— Петя, иди сюда!

Но, увидев даму, расплылся в сладенькой улыбке и звякнул шпорами на сапожках с короткими голенищами.

— Пардон, извиняюсь, дозвольте зайти? Пану Светлице, думаю, тоже можно. Прошу пани его не пугаться: это то, чем прославился Торичелли, а в миру он был всего лишь становым приставом.

Светлица, видимо, не понял остроты Рекала, потому что поклонился с самодовольной улыбкой. Рекало, перешагнув порог, рывком приложил руку к сердцу и с деланной торжественностью начал:

— Петя, о ты, потомок Публия Корнелия, коему история начертала… простите, — начертила увенчать победой нашу первую пуническую войну с лапотниками, — прошу не смешивать с панической войной, — ты должен сейчас же разрешить наш спор. Ты знаешь, какие у нас командиры. Если не приблуда, так Светлица. Пардон, если не приблуда, так подлюга.

Светлица перестал разглаживать усы и засопел, но Рекало не обращал на это внимания.

— Возьмем украинцев. Пищимуха — ни тела, ни духа, ну, ты да я, а старому Карюку снятся откормленные кабанчики. Таков же и его сынок — незаконченный поп Андрюшка. То же и в других частях. Вот и скажи, только по совести, может такая армия поднять желто-блакитное знамя на колокольне Ивана Великого? В

Кремле?

— Чепуху порешь! — раздраженно возразил Лец-Атаманов.

— Вот именно! А что же думали, когда начинали войну?

— Думали и думают те, что поумнее тебя.

— Батько Петлюра, Винниченко? Верю! — И он помотал головой. — Куда делась доля-воля, гетманы седые? Мазепа, Дорошенко, Самойлович молодой… Довольно, говоришь, и Петлюры? Ох, беда на мою голову! Но сейчас дело более серьезное. Так сказать — государственного значения. Пошли. Пардон, пани! А знаете что, — Рекало с жадностью посмотрел на Нину Георгиевну, потом на себя в темном отражении окна и, печально вздохнув, закончил, — вам очень пошла бы керсетка[2].

— Ступай спать!

— Спать, сейчас? Пшепрашам. Какой щирый украинец может сейчас говорить про сон, когда судьба неньки Украины упирается в такое серьезное дело? Правда, пан Светлица?

— Так точно!

— Вот видишь. Пошли! — и он потянул за собой Лец-Атаманова.

Сотник оглянулся на Нину Георгиевну и проговорил уже мягче:

— А вы будьте как дома. Если угодно, можете прилечь: до станции еще далеко.

2

В купе полковника, куда они вошли, было полно дыма, крика и командиров. На мокром полу, под которым вразнобой выстукивали колеса, валялись объедки колбасы и апельсинные корки. Одежда командиров отличалась таким же разнообразием, как и их распаренные и давно небритые физиономии.

Когда сотник ступил на порог, громче всех кричал старший Карюк с толстым носом и седым ежиком на круглой голове. Он сидел рядом с полковником и сердито размахивал руками.

— Разве это не мерзость? Что ни день, ссора, драка, а то еще хуже. Стреляйтесь себе наружи хоть до третьего пота, а то в вагоне, где посторонние люди, дама молодая.

— А что за люди у вас в вагоне, пан Карюк? — спросил Лец-Атаманов. — Я давно уже хочу справиться.

— Люди как люди, православные.

— Знаю эту сволочь, — сонно проговорил из угла молоденький командир. — Помещики из Полтавы.

— А если помещики, так и не люди? Попросились, ну и пусть себе едут.

— Вы, может, и гетмана Скоропадского подвезли бы?

— И Скоропадский такой же человек, как и вы, господа.

— Не господа, а панове, — хмуро перебил его Рекало.

— Я уже старый человек, господа, чтобы…

— Панове, господин Карюк!

— Ну, панове. Не цепляйтесь за слова, как репей к кожуху. Я такой же малоросс…

— Не малоросс, а украинец.

— Ну, украинец, один черт. Не бойтесь — кацапом не был и не думаю быть!

— Бей кацапов! — вдруг выкрикнул и грозно завращал белками высокий командир с красными глазами под черными бровями.

Полковник Забачта и второй командир, сидевший напротив, с погонами капитана и Георгиевским крестом на френче, до сих пор только презрительно усмехались, но после выкрика хорунжего со страшной фамилией Сокира[3] поднялись с места и спросили:

— Может, нам выйти?

— О присутствующих не говорят.

— Жаль, — заметил Лец-Атаманов, — а поговорить уже давно пора, а то нас в селе мужики спросили: «Вы какой банды будете?» Адъютант обиделся, а ответа не нашел.

— И ты проглотил молча, — огрызнулся адъютант.

— Потому что услыхал наконец правду, — сказал Рекало, пьяно ухмыляясь.

— Ежели тебе приятно называться бандитом — не возражаю.

— Я за истину. Только и слышим — там повстанцы, там повстанцы. И кто же? Наши сельчане. А почему восстают? Говорят, уже и станцию Комаровцы захватили.

— И Комаровцы? — со страхом проговорил Карюк.

— Большевики, а не сельчане, — буркнул Лец-Атаманов.

— Чем бы дитя ни тешилось… Ну, пусть в Комаровцах — большевики, а в Браилове, а в Смеле, в Мерчике, в Умани?..

— Но там их уже успокоили.

— Еще бы, до новых веников помнить будут армию Директории. Мы сами и делаем из них большевиков. Меня только интересует, кого же тогда мы защищаем от большевиков?

— Удивляюсь, как тебя допускали преподавать математику. Смела да Умань — еще не вся Украина. Тридцать пять миллионов…

— Где они, Лец? Кто был — и те разбегаются. А вчера целый полк перешел к красным.

Лец-Атаманов наморщил лоб: это была правда — казаки целыми подразделениями перебегали в Красную армию или к партизанам, — и он нехотя возразил:

— Не только света что в окошке, еще найдется сила.

— Антанта, сказывают, обещает помочь, — сказал старший Карюк. — Где ты слыхал, сынок? Дал бы бог!

Вместе с отцом в дивизионе служил и сын. У него было сизое от угрей лицо и такой же толстый фамильный нос.

— В «Трибуне» читал, — ответил молодой Карюк, набивая рот колбасой.

— И Антанта поможет, — сказал старик. — Это тебе Украина, а не какая-нибудь Исландия, где и трава не растет.

— Когда останутся одни только головорезы?

— В таком деле лучше иметь головорезов, чем гнилых интеллигентов, таких, как ты.

— Благодарю, Лец! Тогда давайте объединимся с атаманом Григорьевым.

— Григорьев не захочет, — откликнулся из угла молоденький командир, — побоится, что славное войско запорожское разложит его банду.

— У Григорьева программа: хоть круть, хоть верть — гуляй, смерть, — сказал молодой Карюк.

— Ну, опять за политику, — недовольно буркнул старший Карюк.

— А наша программа тебе ясна, Андрий? — спросил Лец-Атаманов. — Только что мы слышали программу твоего батьки. Для него «все люди — человеки», а для полковника Украина — немецкая выдумка… Выдумка! — Лец-Атаманов заскрипел зубами. — Зачем же вы тогда ей служите?

— Я служу силе, которая воюет с большевиками, пан сотник, — возразил полковник. — Напрасно вы, панове, тратите время. Давайте лучше пить. Все мы одинаково вопрошаем: «Куда, куда вы удалились?..» Поищем на дне. — И он опустил кружку в ведро.

— Нет, не одинаково! Я — за самостийную Украину! — выкрикнул молодой Карюк.

— В самую точку! — подхватил Рекало и затянул:

Уже років двісті, як козак в неволі
Понад Дніпром ходить…

— Перестань, орать! — раздраженно сказал Лец-Атаманов. — Слышишь, что говорит Андрий: за казацкие вольности, за Украину для украинцев!

— Которые выгоняют панов из имений, а мы их укрываем в штабных вагонах.

— Бей панов! — выкрикнул истерически молоденький командир с бледным искаженным лицом, силясь выкарабкаться из угла. — Бей их! — и уставился красными глазами в старшего Карюка.

— Замолкни, Пищимуха! А ты, Рекало, видать, не на ту ногу нынче встал.

— Истина, Лец, превыше всех благ.

— А что такое истина? Сам Христос не мог дать ответ.

— Надо было ему Рекала спросить, — фыркнул младший Карюк.

— Правильно, Андрей. Истина — это то, на что мы стараемся закрывать глаза, а теоретически — гармония моего субъективного ощущения и объективной действительности. А объективная действительность, панове, говорит, что к идее самостийности народ равнодушен. Собралась нас кучка…

— Чтобы возродить нацию. Слава героям!

— А нация хочет не войны, а федерации с Советской Россией. Тогда нам сам черт не страшен. Незачем закрывать глаза: большевистские лозунги для народа реальность, а наши — абстракция. А на этом основании мое субъективное ощущение говорит, что для крестьян мы чужеродное тело, значит — банда. Перешло из итальянского языка и означает — шайка

контрреволюционеров.

— Погоди, не нынче — завтра нас признает Антанта, тогда мы покажем им революцию.

— Признает и к сердцу прижмет, так что из нас сок потечет. В это я верю, Андрюша! — И Рекало поднял над головой кружку. — Ладно. Выпьем за самостийную Украину!

— На колесах! — буркнул адъютант. — Говорят, уже и Киев…

— Что, что Киев? Сдали? Брешешь, чертов цыган! Ты слышишь, что он говорит, Лец?

Лец-Атаманов смотрел в темное окно. Тонкими пальцами он сжимал виски.

— Слышу!

— Куда нас везут? — вдруг истерически закричал Пищимуха. — Я пошел в армию, чтобы только сбросить гетмана. Оставил жену, ребенка без хлеба, без денег. Что с ними? А может, их уже расстреляли, повесили… — и он замотал головой. — За что? Я никогда не был контрреволюционером. Слышите, черти, дьяволы, где наша Украина? — Он вскочил на ноги и сорвал со стенки карабин. Адъютант толкнул его назад в угол.

— Колька, брось, дурень!

— Кто дурень?

— Отберите у него карабин.

— Брось, говорю тебе, а то в ухо дам!

— Кто дурень, я — дурень?

И он прицелился из карабина.

Полковник Забачта мигом вскочил и с опаской ухватил карабин за ствол.

— Перестань, Коля!

— Прочь с дороги, наемник! — крикнул Пищимуха, толкая полковника стволом в грудь. — Тебе еще будет пуля, а первая — цыгану.

Командиры вскочили разом, а старший Карюк упал на четвереньки, и в этот момент грохнул выстрел. Но Рекало ударил кулаком по карабину прежде, чем Пищимуха успел спустить курок. Пуля посадила черную точку над дверью и вылетела в коридор. Пищимуха кинулся теперь на Рекала, но адъютант подмял его под себя и прижал к дивану.

— Задушу, мерзавец! — кричал он, прижимая его коленом.

Кричали и остальные командиры. Карюк уже поднялся с пола и, норовя выскользнуть из купе, торопливо отряхивал свою репсовую гимнастерку и визгливо приговаривал:

— Вот и повеселились. Позор какой! Изо дня в день живешь под пулями, а полковник любуется. Нет, чтобы о деле хоть раз поговорить толком, они про политику развели болтовню!

— Ну, а вы о чем хотели?

— Для чего меня звали? Чтобы наконец как-то покончить с этими каждодневными пьянками, скандалами.

— Правильно, пан Карюк, — снисходительно улыбаясь, ответил Забачта. — Вы на меня полагаетесь?

Карюк, как заяц, заморгал глазами, но другие подняли шум. Даже Пищимуха поднялся и снова замахал карабином.

— Забачте поручать водку? Пропил Россию… Протестую!

Успокоил всех сотник Рекало.

— Панове, — заговорил он, словно выступал на заседании Малой Центральной рады, — поскольку мы служим в запорожской армии, значит, и обычаи у нас должны быть запорожские, а отсюда все, касаемое нашего коша, подлежит только решениям рады. Почитайте «Черную Раду» Кулиша — и вы увидите. Согласны?

— С чем согласны?

Закончить не дала внезапная остановка, отчего все полетели на переднюю стенку, а Карюк снова очутился на полу.

— Что такое?

— Что случилось? — заговорили испуганно все сразу.

— Стали!

— В степи?

— Разорвался эшелон!

Все выскочили из вагона в тамбур. Лец-Атаманов, пробегая мимо своего купе, остановился и постучал. Из-за двери послышался голос Нины Георгиевны:

— Скажите, это станция?

— Не может быть, я сейчас узнаю, вы не беспокойтесь.

— Я выгляну. Может, еще удастся возвратиться.

— На дворе ночь. Возможно, Одесский полк. Пожалуйста, сидите спокойно!

Захватив из купе карабин, сотник выскочил. За дверью на него бешено налетел ветер и швырнул колючим снегом в лицо. Сотник остановился. Белая пена метели, как о берег, билась о вагоны и со свистом носилась по темному полю. В стороне от эшелона мерцал какой-то огонек, туда проворно стекались темные тени. Лец-Атаманов спрыгнул со ступенек и завяз по колени в снегу.

3

Огонек горел в будке стрелочника. Эшелон остановился на разъезде, откуда пути расходились: один — на Смелу, другой — на Елисаветград.

— Так в чем же дело, почему стали? — допытывался кто-то.

— Машинист заявляет, что паровоз испорчен.

Разъезд находился в шести верстах от Знаменки, где могли уже быть красные. Из Елисаветграда паровоз может прибыть только к утру.

— Брешет машинист. Большевистские штучки.

— А как ты проверишь? Уже пробовали духу давать, божится.

— Пулю ему!

— А после ты поведешь?

— А вот мы сейчас поищем машиниста, — сказал сотник.

Лец-Атаманов, утопая в снегу, побежал вдоль вагонов назад. В теплушках, набитых казаками, чадили добела раскаленные печки, а вокруг них кучками сидели и свисали с верхних нар распаренные казаки.

В первых двух вагонах, под крепкую ругань, хлопали картами, и на голос сотника никто даже не отозвался. В третьем вагоне в углу на нарах в казацкий хохот вплетался женский визг. Когда голова сотника появилась в дверях, кто-то шикнул на нары и сердито выругался:

— Тут ездовые, задвиньте дверь!

Двери перед самым носом захлопнулись с визгом.

— А это какая команда? — остановись у пятого вагона, уже раздраженно спросил Лец-Атаманов.

Кучка казаков, оборотясь на голос сотника, поспешно прикрыла что-то, но Лец-Атаманов успел заметить на полу штуки разной мануфактуры. Чтобы поскорее сплавить непрошеного гостя, один казак в добротной бекеше выбежал к дверям и заискивающе ответил:

— Телефонисты, пан сотник. Что, машиниста? Я малость разбираюсь в этом, только, может, лучше кто-нибудь другой. Вот тут рядом пулеметчики, спросите.

— А Кавуля не знает?

Рябой одноглазый телефонист Кавуля топтался по мануфактуре и, выпучив разъеденный дымом глаз, хрипло ответил:

— Я не из таких. Богиня — этот может.

— Ну, тогда, Богиня, беги сейчас на паровоз. А вы будьте наготове: все может быть.

Телефонист в бекеше растерянно потоптался в дверях и, что-то шепнув Кавуле, соскочил в снег.

Лец-Атаманов наконец подошел к дверям последней теплушки. Он хотел отодвинуть их, но двери не поддавались. За дверями кто-то громко читал. Лец-Атаманов прислушался.

— «…первое — признание Директорией советской власти на Украине, — доносилось из-за дверей, — второе — строгий нейтралитет Украины в активной борьбе против войск Антанты, Деникина, Краснова и поляков; третье — активная борьба с контрреволюцией. Это положение принято вашей чрезвычайной комиссией и передано по радио Российским советским правительством как нам, так и Директории. Мы уже согласились на эту платформу и на перенесение переговоров в Харьков…»

Лец-Атаманов стоял под дверью, ошеломленный. Он одновременно ощутил и прилив какой-то неожиданной радости: «Может, в самом деле уже до чего-то договорились, конец войне, конец блужданиям?» — и в то же время кольнула обида: он, командир, не знает, что творится в Директории, по воле которой они блуждают в снегах, а какие-нибудь казаки… Но из каких же источников? Сотник нервно забарабанил в дверь.

— Кто там?

— Это я, командир батареи.

За дверью засуетились, зашелестели бумагой и зашлепали по полу валенками. Наконец дверь отодвинулась. Казаки искусно делали вид, что заняты истреблением «унутреннего врага».

— Бунчужный, и ты здесь? — спросил удивленный сотник.

Дородный, в ладно пригнанной шинели, бунчужный, с длинными казацкими усами, запинаясь ответил:

— Пулеметы проверяем, пан сотник.

— А что это вы читали?

Казаки переглянулись.

— Словесностью занимались, пан сотник, — опять ответил за всех бунчужный.

Лец-Атаманов, оскорбленный, дернулся:

— Словесность разная бывает. Это в газете было или прокламация? Где взяли?

— А-а, это Кудря что-то такое слыхал в Знаменке, брехня какая-то, будто переговоры… Кто там захочет с нами балакать!

— Дай сюда!

— Что, бамажку? Хлопцы, где она, та бамажка?

Кареглазый казак, который помогал молодой даме сесть в вагон и которого бунчужный назвал Кудря, с насмешливой улыбкой отозвался:

— Скурили уже.

— Скурили уже, анафемы!

— Разве они, пан сотник, понимают, что такие вещи нужно беречь? Может, и начальству любопытно знать.

— Не прикидывайся дурачком. Мы еще с тобой поговорим. Кто из вас был машинистом?

Оказалось, что никто паровоза не знает, а может, и не признавались.

— Держите пулеметы наготове. Всех поднять!

Сотник сердито хлопнул дверью и пошел дальше, чтобы заодно проверить посты. Позади из вагона донесся дружный хохот. Этот хохот хлестнул его как кнутом. «И вот это сознательность? Неужто ему одному только нужна Украина?» Стало обидно до слез, и сотник уже прошипел:

— Тоже мне борцы за освобождение… Нужна им нация, как мне ложка во сне. Кожух да валенок казенных пару — это им подай, а после: «Бывайте здоровы, моя хата с краю».

— Часовой!

Ветер подхватил его сердитые выкрики, швырнул на платформы, где стояли, задрав заледенелые оглобли, повозки и орудия, перенес по ту сторону в степь и смешал с посвистом дикой вьюги.

— Часовой! — еще раз крикнул сотник, уже возле темных теплушек, где стучали об пол копытами лошади, но в ответ никто не откликнулся.

— Хорошо же, вы у меня будете знать, что такое армия Директории. Довольно цацкаться: или — или!

4

В самом хвосте эшелона неожиданно оказался еще один классный вагон. Все его окна мерцали в темноту желтыми пятнами. Сотник удивился:

— А это что?

Он уже занес было ногу на ступеньку, как вдруг из-за вагона показался силуэт женщины. Она, увидев сотника, бросилась к нему. Следом за нею выскочили двое казаков.

— Ох и бегает же, стерва! — крикнул один, но, приметив знакомую сотникову шапку с султаном, они остановились, как пара волков, и затем поспешно скрылись за вагоном.

Лец-Атаманов даже не мог сразу сообразить, что произошло. Рядом с ним стояла, облепленная снегом, в короткой шубке Нина Георгиевна. Она вся тряслась, как оконное стекло на ветру, и молча инстинктивно хваталась за его рукав.

— Что с вами, Нина Георгиевна? — наконец спросил сотник, обеими руками стиснув ее локоть. — Откуда вы взялись?

— Я… я… минуточку…

Белая выпушка, припорошенная снегом, так и ходила на ее груди. Она дышала, как загнанная косуля. Наконец проговорила:

— Я хотела поискать в последних вагонах своего знакомого, а двое казаков…

Она не договорила: ее душили слезы.

Лец-Атаманов посмотрел на конец эшелона и сразу вспомнил. И тогда были те же самые казаки, на разъезде у Крюкова. Там эшелон под вечер стал на запасный путь, и оттого хвост его терялся в темноте.

В тот вечер сотник вышел на полотно, исчезавшее в белой дали, и погрузился в воспоминания. Пришли на память дни, когда еще он учился в сельскохозяйственной школе, пришел на память кружок «настоящих», чтение стихов Мазепы, споры о будущих путях Украины, мечты о гетманах, о казацких жупанах… И вот теперь реализация этих далеких мечтаний!

Ночь уже спускалась в соседние кусты, навевая тоску, холодную, как снег, падавший ему на лицо. Гнетущая тишина скрадывала в пухлом снегу медленные шаги. Вдруг в кустах послышались голоса, потом крик:

— Иди за нами! — и затем грязное ругательство.

— Куда вы тащите? — закричал другой. — Ведь это же овраг… Ну, ведите меня к вашему командиру. Что я такого сделал? Я хотел проехать…

Голос дрожал и был на грани плача, но второй, грубый и

властный, снова крикнул:

— А может, ты шпион большевистский!

— Выдумаете! Я их и в глаза не видел… Ой, караул!

Лец-Атаманов привык уже к таким картинам в своей армии, но зачем же возле самой станции, где могли услышать крестьяне?

Он выхватил револьвер и, цепляясь за кусты терновника, побежал к оврагу. Кричавшему, видимо, заткнули уже рот, и он только бессильно мычал.

Выскочив на прогалину, сотник властно закричал:

— Стой!

Двое казаков от неожиданности отпустили третьего, штатского, и он, не выпуская из рук дорожный саквояж, шлепнулся на снег. Лец-Атаманов подошел ближе. Его лицо рядом со стволом нагана было, должно быть, таким яростным, что двое казаков, Кавуля и Береза, сразу вытянулись в струнку.

— Это что такое? — спросил их сотник, тыча наганом в штатскую спину на снегу.

— С буферов сняли! Видать, шпионский агент.

— Пан командир, — завопил, поднимаясь со снега, щуплый человечек с реденькой бородкой. В рыжих волосах белел снег, как птичий послед на полу. — Какой из меня шпион? Я даже не знаю, с чем его едят. Я себе знаю шить шапки.

Брезгливая гримаса искривила лицо Лец-Атаманова.

— Лазите тут…

— Две недели валяюсь на станциях.

— Куда вы его тащили?

— В штаб, пан сотник, — ответил Береза, уже осмелев. — А он бежать.

— Пан сотник! Ну, скажите, сколько, я заплачу вдвое. Мне только до Балты.

— Воевать нужно, а не забивать станции.

— Разве без меня уже не обойдутся на войне?

— Обойдемся! — Повернулся и пошел.

Ни жалобные вопли шапочника, которые слышались еще долго, ни выстрел, донесшийся затем из оврага, его уже больше не волновали. Но сейчас в нем вспыхнула бешеная ревность к этим хлопцам. Он жадно взглянул на перепуганную Нину Георгиевну, потом опять на угол вагона и с угрозой сказал:

— Пусть только посмеют… Нет, вы не бойтесь…

— Я не знаю, как вас благодарить. Вы только подумайте, что бы они…

— Простите, пани, вежливость не в ладах с войной.

— Но вы спасли меня, пан сотник!

— Ну, оставьте, успокойтесь.

— Теперь мне не страшно.

— Вы и в этом вагоне спрашивали?

— Я не могла открыть дверь. Но он бы сам вышел поискать.

Ветер метал ее душистые, с тонким ароматом волосы, выбившиеся из-под шапочки, и кидал, как жаркие лучи, ему в лицо. И сотника вдруг, как пламя, охватило неудержимое, жгучее, полное буйной силы желание прижать эту беззащитную, хрупкую, как снежинка, женщину к своей груди, утопить в ласках, разметаться по степи и наперегонки с диким ветром сорваться с земли и растаять во мгле.

Он с силой хрустнул всеми пальцами и, задыхаясь, бессвязно залепетал:

— Успокойтесь, Нина Георгиевна, ну, я вас прошу, ну, я прошу…

Рука, вздрагивая под бешметом, приблизилась к ее талии, но Нина Георгиевна, гибко изогнувшись, отступила на шаг и с испуганным видом уставилась на сотника. Он, тяжело дыша, шагнул за ней, но вдруг весь задергался, резко повернулся к ступенькам вагона и, насильно вытаскивая из самой глубины хриплые слова, проговорил:

— Хотите пройти в этот вагон? Может, найдем его…

Она нерешительно поднялась на ступеньки и взялась за холодную ручку двери. Ветер с дикой силой подхватил ее платье и, как облачко дыма, закружил в желтых блесках. Две стройные ноги в тонких чулках на мгновенье вырисовались перед глазами Лец-Атаманова, как два языка розового пламени, и снова обожгли его мозг. Сотник, уже не владея собой, тоже вскочил на ступеньку и с силой прижался к округлому плечу Нины Георгиевны. Под их напором дверь распахнулась, и они очутились в освещенном коридоре. От обиды лицо Нины Георгиевны покрылось красными пятнами.

— Чем же вы отличаетесь…

— Кто там? — перебил ее голос из купе.

Лец-Атаманов, закусив до крови нижнюю губу, обмахнул ладонью, как платком, побагровевшее лицо и, прислушавшись, из какого купе невнятно доносились голоса, ответил:

— Я комендант эшелона!

— Ну, так что вам здесь нужно? — снова проговорил, но уже другой голос из середины купе.

Сотник смутился.

— Я хочу знать, по какому праву…

— По какому праву вы торчите в степи и задерживаете нас?

— По какому праву…

— Что вы там бормочете? — продолжал тот же голос так,

точно ссорился через стенку с женой. — Спрашиваю — значит, отвечайте.

Лец-Атаманов, чтобы не показаться смешным в глазах Нины Георгиевны, огляделся и хотел скорчить задорную гримасу, но вместо этого губы расплылись в такую кислую улыбку, что Нина Георгиевна сочла за лучшее перевести глаза на приказ Директории, белевший на стенке вагона.

Нежная и боязливая, она, как голубка, щурила свои близорукие глаза и водила ими у самого приказа, как бы пытаясь поймать желтого зайчика, который вздрагивал вместе с вагоном под напором сердитого ветра.

Лец-Атаманов, чувствуя себя дураком, вспыхнул.

— Наконец, я должен знать, — уже сердито выкрикнул он, берясь за ручку двери, — кто едет в этом вагоне?

— Редактор, гони его к… Слышишь? — ответил, не меняя тона, тот же голос.

Нина Георгиевна начала еще внимательнее всматриваться в объявления Директории. Но кто-то другой вполголоса заметил:

— Неудобно, пан Тодось. Заходите, пан комендант.

— Вы один?

— Я с дамой, но…

— Но почему же вы сразу не сказали об этом? — бесцеремонно оборвал его все тот же сердитый голос с нижней полки. Голова этого пассажира пряталась в тени, а на свет были выставлены только ноги в полосатых брюках с грязной бахромой. С верхней полки, как тыква через плетень, свисала рыжая, совсем круглая голова, прижатая к волосатой груди. Шеи вроде бы совсем не было, потому что сорочка, прилипшая к широким плечам, заканчивалась узкой кромкой с желто-голубой лентой прямо возле ушей и круглого, как шар, кадыка. На скамье напротив сидели двое пассажиров в европейских костюмах. Твердые воротнички были повязаны галстуками с украинскими узорами.

На столике стояла жестянка из-под сардин и валялись куски черного хлеба, а на полу — бутылки с черепом на ярлыке, который просвечивал сквозь зеленое стекло. Несколько скомканных номеров газеты «Трибуна» и плетеные корзинки на полочках создавали впечатление, что в купе едут обыкновенные пассажиры.

Визитом Лец-Атаманова заинтересовался в первую очередь пассажир с круглой головой, свисавшей с полки. Он нацелил на сотника щелочки своих глаз и, не меняя позы, спросил:

— Вы что-то хотели, пан комендант?

— Позвольте…

— А пани зачем там стоять? — пробурчал второй раздраженный голос. — Зовите ее сюда и не торчите перед носом.

Голова, похожая на тыкву, ткнулась вниз и на диво тоненьким голоском ласково проговорила:

— Тодось, пан Тодось, да погодите. Вот темперамент, а читаешь — такой лиричный, как вареники в масле. Извините, пан, как вас?

— Сотник! — ответил, выпрямляясь, Лец-Атаманов.

— Ну, так и Богдан Хмельницкий был сотник! А это наш прославленный, вы, пожалуй, и не догадываетесь…

— О, прорвало на беду Загнибеду, — снова буркнул пассажир на нижней полке.

— Слышите? И тут же в рифму. Талант! Даже если б и не знал, что это, можно сказать, гордость Украины, посреди целой ярмарки узнал бы. А вы что хотели, голубчик?

Сотник недоверчиво поглядел на нижний диван, на бахрому брючин и, еще выше поднимая голову, спросил:

— В Знаменке отстал один командир. К вам не сел?

— Не было. К нам никому нельзя.

Лец-Атаманов взглянул на Нину Георгиевну — она прислушивалась к разговору в купе.

— А что это за вагон?

— Э-э, голубчик, это не простой вагон, а, можно сказать, судьба, да-да, судьба Украины. Это, голубчик, ми-и-с-сия. Дипломатическая миссия к французам в Одессу.

Лец-Атаманов невольно втянул голову в плечи.

— Миссия, — повторил тот же дипломат и зажевал губами, над которыми висели два, похожих на обтрепанные веники, уса. — Вот поезд стоит, а вы знаете, голубчик, что сейчас от нашей поездки, можно сказать, зависит все. Да вы садитесь.

— А где же дама ваша? — пробурчал из угла все тот же надтреснутый, хриплый голос.

— Просите, просите. А кто она такая? А то, знаете — тут государственные дела. Что-нибудь ляпнешь, а оно, может, секретное, или, так сказать, потайное, по-нашему.

— Это моя… — ответил сотник голосом, который даже ему самому показался приниженным, — она настоящая украинка.

— О, так пожалуйста, просим, — завозился дипломат на верхней полке.

Лец-Атаманов выглянул в коридор и позвал:

— Нина Георгиевна, зайдите.

Нина Георгиевна охотно переступила порог. При ее появлении два дипломата, молча сидевшие на диване, сонно кивнули головами и неохотно подвинулись, но когда она подняла

на них свои голубые глаза с длинными ресницами, дипломаты поспешно вскочили.

— Просим!

— Пожалуйста, пани!

Еще больше засуетился дипломат, сидевший на верхней полке. Он неуклюже спустил ноги и, быстро зажевав губами, икнул:

— Ой, то есть, пардон. Вы, пани, сядьте немножко в профиль, пока я… Знакомьтесь. Это наш, прошу, отвернитесь еще чуток… наш известный профессор и министр, пан…

— Потуга, — подавая руку, сам назвал себя смуглый пассажир с лихорадочно блестевшими глазами. У него было сухое лицо и золотые очки на длинном носу.

У второго дипломата было плоское, невыразительное лицо, и весь он был серый, как и его костюм.

— Пан редактор нашей центральной газеты, — рекомендовал, управившись с туалетом, дипломат и грузно спрыгнул на пол. — Познакомились? А я, голубчики мои, если угодно знать, кооператор Загнибеда. Как сказал один поэт: беда, коли заговорит Загнибеда. Настоящий хохол. Мое вам почтение. А это ж наш прославленный Тодось… Пан Тодось…

— Слез уже? — пробурчал тот же голос. — Господи, когда ты наконец уберешь его от нас.

— Вот темперамент! Извините, панове, это — наша знаменитость.

— Загнибеда, не заслоняй мне солнца. Сядь!

Кооператор по-медвежьи присел на краешек дивана и также заискивающе договорил:

— Это он о вас, пани. Не заслоняй солнца. А! Ведь это, панове, наш бард революции, наш прославленный пан Тодось.

— Вы, может, встанете, Микита Опанасович? Знаете, этикет, пани может подумать, что мы какие-нибудь мужланы.

Нина Георгиевна, услышав сердитый голос из угла, смутилась и хотела уже повернуть назад, но когда Загнибеда так и запрыгал перед диваном, почтительно повторяя имя известного поэта, она растерянно опустилась на диван и уставилась глазами в темный угол с таким любопытством, словно оттуда должно было появиться солнце. То же самое чувствовал и Лец-Атаманов. С паном Тодосем он встретился впервые, но его образами, его лирикой, его печалью жил уже с первых школьных лет. Нина Георгиевна еще могла ожидать, что пан Тодось сам заговорит с нею как мужчина, но Лец-Атаманову на это нечего было надеяться. Он сам должен не только начать, но и запомнить беседу, чтобы после ее передавали из рода в род и его

наследники. А может, посчастливится еще узнать, что сейчас творит поэт, и быть первым вестником для других. Лец-Атаманов размышлял, с чего начать, пока кооператор Загнибеда не просунул свою голову в угол и не шепнул что-то пану Тодосю.

— Только, пожалуйста, не дыши на меня, я и так пьян, — проговорил из угла Тодось, задвигав ногами. — Прошу прощения, панове!

Затем из темной полосы на свет высунулось заспанное, косматое, с взлохмаченной бородой и шевелюрой, круглое лицо. Старенький его пиджак поверх измятой сорочки, так же как брюки, был одного цвета и вида с его нечесаной головой и помятым лицом. Моргая заспанными красными глазами, Тодось оглядел купе, остановился на мгновенье на лице дамы, брови зашевелились, потом чиркнул взглядом по сотнику и уставился в окно.

— Метет?

— Да, вьюга страшная, — вдруг потеряв голос, чуть слышно ответил Лец-Атаманов, но вид Тодося смутил его. У него даже мелькнула мысль, что их дурачат от нечего делать.

— А что вы стоите? — все еще глядя сонными глазами в окно, буркнул Тодось.

— Простите, может, мы мешаем? — спросил уже свободнее Лец-Атаманов.

— Поезд почему стоит?

— Извините, паровоз испорчен.

Тодось поморщился, но, должно быть, не из-за остановки.

— Там осталось что-нибудь? — спросил он уже у кооператора.

В этот момент вагон дернулся, все вдруг клюнули носами, и колеса пронзительно завизжали под полом. Лец-Атаманов и Нина Георгиевна вскочили и вместе выбежали в коридор.

— Простите, мы в свой вагон.

— Да погодите, вы же не успеете, а пани совсем утонет в снегу, — проговорил профессор.

Нина Георгиевна встревожилась:

— Там вещи мои, я даже не успела запереть чемодан. Побежим, прошу вас.

Но поезд дернулся, заскрипел и покатился, ускоряя ход.

— Ну, куда вам по такому снегу, — сказал Лец-Атаманов, — а о вещах не беспокойтесь. В купе никто не войдет. Извините, — обратился он уже к дипломатам, — до первой станции пробудем у вас.

— А, пожалуйста, хоть и до самой Одессы.

5

Нина Георгиевна все еще не могла успокоиться, нервно комкала платочек в руках и прислушивалась уже невнимательно. Загнибеда тупо глядел в темное окно и чесал затылок:

— Одесса, ой, Одесса. Беда нам будет, пан Тодось, с вашим темпераментом. Вы хоть завтра отдохните от чарки, а то французы — гром их срази — очень уж нежные.

— Начхать мне на французов, — ответил Тодось. — Украина двух ваших Франций стоит.

— А пока что они на нас чихают, ой, чихают да еще требуют, чтоб им здоровья желали.

Лец-Атаманов успел уже овладеть собой и, закурив папиросу, спросил как бы между прочим:

— А из этих переговоров выйдет что-нибудь?

— Бог святой знает, — ответил Загнибеда, почесывая теперь волосатую грудь, — бог его знает. Полковник ихний, Фрейденберг, такое запел, что ай-ай-ай. Вы, говорит, большевики. Да. Большевики, говорит, да еще и второго сорта. Владимир Кириллович где-то там ляпнул, приличия ради, два слова насчет земли для крестьян, и уже прицепились. Теперь в одну душу: пан Винниченко — большевик. Убрать его из Директории!

— Владимир Кириллович даже захохотал, услыхав такое, — сказал скрипучим голосом профессор. — Поручил передать французам, что если они этого боятся, так пусть приедут и посмотрят на наш режим, — тогда, мол, наверняка успокоятся.

— Выдумали тоже, что мы расстреливали добровольцев. К договору, который мы заключили с немцами, придрались. Но больше всего обидно за нашего батьку Петлюру.

— А разве что? — настороженно спросил Лец-Атаманов.

— Бандитом считают нашего батьку атамана в Европе, — вздохнул Загнибеда.

— Сами они бандиты!

— Их некому судить, голубчик. Но пока Петлюра будет в Директории, не хотят подписывать договор. Ну, не разбойники ли? А третьего, так чтобы прямо коленом из Директории. Чересчур, говорят, Бахусу поклоняется. Что говорить, пан Андриевский и вправду казацкого роду: пьет горилочку, как воду.

При каждой новой фразе Загнибеда скреб короткими пальцами то затылок, то живот, словно выгребал оттуда свои мысли.

— Не знаю, панове, как вы, — продолжал он, орудуя уже обеими руками, — а я считаю, что этак недалеко и до

вмешательства в наши внутренние дела.

— Да у вас, пан Загнибеда, аналитический ум, — сказал редактор, лукаво подмигнув профессору.

— А вы как думали? Загнибеду не проведешь. Так они еще захотят, чтобы и список членов Директории подавать им на утверждение.

— Да это же их первое требование.

— О, слышите? Я же говорю, что тут и до вмешательства недалеко.

— А как насчет добровольцев?[4]

— Да и про добровольцев, и про поляков. Твердят в один голос, чтобы мы заключили с ними соглашение, а за это они, мол, поставят нам снаряжение для армии. На целых триста тысяч солдат! Только бейте большевиков, говорят. Что ж, хорошо. С этим можно согласиться. Плохо, правда, что под их командованием и вместе с нашими новыми союзниками. Ну, это еще не так страшно, а вот чтобы мы продвигались посередине между поляками и добровольцами — это хуже, поскольку свою власть мы можем устанавливать только там, где пройдет наша армия.

— Поляки, конечно, пойдут по Правобережью, — вставил профессор. — От можа до можа[5].

— Так оно и будет, а добровольцы — пожалуй, через Донбасс.

— А нам пускай остаются Золотоноша и Глухов? — спросила, нахмурив брови, Нина Георгиевна.

— Выходит!

— И вы думаете, что Директория пойдет на такие условия?

— Действие, пани, обусловливается всегда положением, — отозвался профессор. — Но большевики это разгласили, так что уже не секрет. Предварительное соглашение уже с месяц, как подписано с командованием союзников и деникинцев. А сейчас вы сами видите, какое создалось положение, приходится на все идти, чтобы спасти хотя бы Киев.

— Почему?

— А где мы возьмем пулеметы, орудия, даже простые винтовки? Только у Антанты. Они это хорошо понимают, вот и тянут, чтобы побольше выторговать.

— А когда они наконец признают правительство УНР? — спросил Лец-Атаманов, которого эта дипломатическая игра начинала раздражать.

— С этим они не очень торопятся. Подай им контроль. Контроль над финансами, над железными дорогами. До сих пор мы не соглашались.

— И напрасно! За право называться европейцами надо

платить, — буркнул Лец-Атаманов.

— Вот и я так говорю, — подхватил Загнибеда. — Ничего страшного. Годков пять — десять покряхтит Украина, а там, смотришь, договоримся с турками или шведами, как делали когда-то гетман Дорошенко или Мазепа, — и коленом под зад мусью.

— Украина, Панове, наилучшая база для наступления на Москву, наилучшее обеспечение фланга и тыла Донской и Добровольческой армий. Мы же хорошо понимаем, что Антанте особенно важно заручиться сотрудничеством с Украиной. Надо быть дураками, чтобы продешевить.

— Зато, если б подписали соглашение сразу, матери его черт, получили бы целых два мандата в Лигу наций. А там уже стоит вопрос о нашем признании.

— Еще только признание? — удивился Лец-Атаманов. — А почему же в газетах пишут об этом, как об уже совершившемся факте?

— Как подпишем соглашение, тогда и совершится. Пока еще торгуемся, хотя, конечно, приятнее было бы сейчас катить вместо Одессы в Женеву, но что поделаешь! Скачи, враже, как пан скажет. А главное, не хотят и слышать ни о каких гарантиях в отношении признания.

— Что же они говорят?

— Самое лучшее признание, говорят, — факт подписания такого соглашения.

— А границы с поляками?

— А что касается границ с поляками, так, будьте уверены, мы вас с ними помирим.

— Галицию уже пообещали полякам, — сказал редактор. — Водят за нос!

— Вот видите! А с добровольцами еще лучше придумали. «Об автономии вы, — говорят, — и сами сговоритесь…» — О какой автономии? — спрашиваю. Независимое государство… — Смеется, собака! «Вы, — говорит, — слишком маленькое государство, чтобы независимо существовать». Какого черта, говорю. Как же это так? О чем же мы толкуем? Тридцать пять миллионов народу, да ведь это побольше вашей Франции, говорю, а вы так с нами обходитесь. Так он кинулся успокаивать. Хотел было сграбастать его под себя, да думаю: еще задавлю одним духом. Чтоб он лопнул, еще за него грех на душу принимать!

Нина Георгиевна перестала уже терзать свой платочек и слушала напряженно. У нее даже изменилось выражение лица: исчезла детская наивность, наоборот, оно сразу словно постарело, черты заострились, лоб перерезала глубокая морщина, и казался

неуместным на этом лице даже легенький пушок пудры, как несвойственными — нарядная шапочка и муфта. В купе сидела уже пытливая, энергичная и смелая женщина, какие самоотверженно шли на баррикады, на смерть. Время от времени она посматривала на присутствующих и, казалось, удивлялась, что лица редактора и профессора оставались спокойными, когда речь шла о таких страшных вещах — Украина продавалась с молотка Франции, Англии, Америке. Распродавались недра, леса, железные дороги, народ, даже убеждения. Пан Тодось подпер голову ладонями и молчал, нагнувшись над столиком, сотник Лец-Атаманов растерянно обводил глазами дипломатов. Плечи у него опустились, лицо посерело. За окном седыми прядями металась вьюга. Нина Георгиевна тяжело вздохнула:

— Мне кажется, панове, такие переговоры — позор и для правительства, и для всей нации.

Профессор кисло улыбнулся, а редактор подтвердил:

— Больше того, по закону от 28 января Директория без санкции трудового конгресса не имела права заключать с другими государствами договоры, которые возлагали бы на украинский народ те или иные обязательства.

— И никто не протестовал?

— Разумеется, протестовали, — сказал профессор. — Все социалистические партии высказались за немедленное прекращение любых сношений с французами.

— И совершенно правильно, — подтвердил пан редактор. — Всегда этическая, определенная и неизменная, вообще единственная естественная ориентация — это на свою нацию.

— Будем говорить — на хохлов, — двинув подбородком, вставил пан Загнибеда.

— Да, — согласился и профессор, — это единственно правильный путь, на котором можно построить программу деятельности и создать верную перспективу на будущее.

— Но тут нужно уметь не столько везти, сколько погонять.

— Это понятно, ориентироваться на свою нацию можно только тогда, когда веришь в ее историческую миссию, в ее будущее, когда уверен в ее силах.

— И вы едете искать эту силу в Одессе? — спросила Нина Георгиевна.

Пан профессор заерзал, оглянулся на редактора и в замешательстве ответил:

— Видите ли, пани, Директория и представители ЦК партий все-таки надеются на великодушие Франции и других держав Согласия. Попробуем принять требования французского командования, даже попросим руководить Директорией в области

дипломатической, политической, экономической, финансовой, ну и судебной; но только до окончания войны с большевиками. Не больше. Тут уж мы будем непреклонны.

— Вот так и лисица думала, когда позволила волку положить одну лапу на санки. Я все-таки не понимаю, пан профессор, — пожала плечами Нина Георгиевна, — как можно быть и за и против в одном и том же вопросе.

— Э-э, пани, это хитрая арифметика, — вставил пан Загнибеда, — хитрая арифметика.

— Что же тут непонятного, большевики нашей Директории никогда не признают.

— А разве уже пробовали вести переговоры?

— Нечего и пробовать, — сказал редактор. — У них первое условие — Советы.

— Ответ, должно быть, будет такой же, как писал их нарком, — продолжал профессор, — никаких переговоров с Киевской радой Совет Народных Комиссаров не ведет и вести не собирается… Они решили вести с нами, по словам того же наркома, борьбу до полной победы большевистских Советов на Украине. Теперь понимаете? Нам нужно думать о сильных союзниках. Я думаю, что в Одессе нам удастся вступить в переговоры с Америкой, хотя французы и ставят условием, чтобы мы не имели с нею никаких дел: у Америки, мол, нет здесь своей зоны политического влияния.

— Ну, у Америки тоже голова на плечах, — сказал редактор, — и если она пускала сюда французов, то, должно быть, в уверенности, что эспаньолки обанкротятся. А тогда Америка будет тут как тут.

— Она уже обещает нам и броневики, и двадцать пять тысяч вагонов, и еще двадцать миллионов долларов.

— Надо брать! — с жадностью вставил Загнибеда.

— Это пока что орел в небе, а французы хотя и синица, да в руках, — сказал редактор. — А что касается переговоров с большевиками — это пустое дело. В одном пространстве не могут помещаться одновременно два тела. Этому нас еще в гимназии учили, значит, Директория, если хочет удержать власть, должна забыть о большевиках. Ну, а собственные силы, на которые мы должны были бы опираться, больше думают о федерации с Россией, чем о войне с Москвой.

— Это факт, — вставил Лец-Атаманов, — вот хотя бы наш дивизион, — что ни день, если не трое, так пятеро. Получают обмундирование — и будьте здоровы.

— Значит, на кого же тогда можно ориентироваться? Простая логика говорит: только на постороннее государство, у которого не

было бы, по крайней мере, явных агрессивных намерений.

— Правильно! — сказал Загнибеда. — Нужно только умеючи подмазать. А я на это дело мастак.

— Взятка в таком деле! — удивилась Нина Георгиевна.

— Э, пани, не подмажешь — не поедешь. Иначе для чего французы в своих френчах такие большие карманы придумали? Только это секрет, тайна, значит, по нашему, — пять миллионов, как одну копеечку выделили. Посмотрите, как заинтересуются и песней, и долей нашею, а всего больше…

— Нашей пшеничкой, — добавил редактор.

— Потому что самая лучшая в мире! Сразу пойдет по-другому. А нам что нужно — только была бы Украина. Какая ни на есть, а Украина!

— И большего не пожалеем, если это поможет достичь цели. Безразлично, как это после будут называть. «Цель оправдывает средства», твердил всегда мой учитель.

— А он не иезуит был? — спросила Нина Георгиевна.

Профессор нервно задергал своими худыми плечами, а Тодось, молча подпиравший спинку дивана, вдруг вздохнул и певучим голосом, нисколько не похожим на его предыдущее бормотание, проговорил:

— Как бедны мы, что так богаты. Проклятая доля! — и, пробормотав «извините», снова растянулся на диване.

Кооператор встрепенулся:

— Как, как, пан Тодось? Это нужно записать.

— Панове, — вдруг истерически завопил Тодось, — уберите его, уберите с моих глаз эту бочку, если не хотите, чтобы я выбросился в окно.

Все невольно подняли глаза на темное окно, где все еще проносилась назад белыми клочьями вьюга, и замерли смущенно. Кооператор, наоборот, подмигнул сотнику, как бы повторяя: «Ну и темперамент!» — и торжественно записал в свою толстую книжку слова Тодоси.

— Когда-нибудь припомню. Все это история, Панове, — и опустил книжку за пазуху. — Ну, я тоже, по примеру поэта, бай-бай, а может еще споем «Ой у лузі…»? Нет охоты? Ну, так я бай-бай. А машинист, видно, — большевик. Ишь как дергает, чтоб его за печенку так дергало.

Лец-Атаманов смотрел в окно, за которым в диких степях гуляла распоясавшаяся ночь, а в голове, тоже, казалось, распоясавшись, проносились целые стаи пробужденных этим разговором мыслей. Перед ним ярко вставало прошлое. Отец только-только начал выбиваться из мужиков, уже совсем было встал на ноги. Революция! За одну ночь все пошло прахом. Он

был самым младшим. Учился в сельской приходской школе. До школы знал, что он — малоросс, а в школе учитель сказал, что Лец-Атамановы — украинцы, да еще, пожалуй, не простого рода, если у них такая фамилия. Дал почитать Кащенка — все про казаков, про казацкую славу. «Вот, наверно, и твои, Лец-Атаманов, предки были когда-то славными атаманами на Сечи». Петька рос и все отчетливее представлял себе, какая это была Украина, и все сильнее проклинал царицу Екатерину, которая «ширь степную, край веселый вовсе разорила». Этот же учитель помог Петьке Лец-Атаманову поступить затем в сельскохозяйственную школу, где большинство было таких же, как Петр, которые тоже любили петь: «Катерина, вражья баба, что ты натворила?..» Славили гетмана Мазепу, читали и перечитывали Пантелеймона Кулиша и Михаила Грушевского. Сельскохозяйственную школу Лец-Атаманов окончил во время войны с немцами, надо было призываться, но он счел за благо поучиться еще в артиллерийском училище, в надежде, что к тому времени закончится война. Однако война тянулась еще год даже после того, как он надел на плечи погоны прапорщика.

Лец-Атаманов еще от отца научился почитать начальство. Эту черту в нем ценили, и он быстро начал продвигаться по службе. Перед ним открывался заманчивый путь добиться того, чего не добился отец. И вдруг революция перевернула все вверх дном. Идея самостийности Украины пришла на помощь. То, о чем когда-то мечталось, становилось реальностью, и он стал активным «самостийником». Поначалу, как и многие, увлекался казацкой романтикой, но вскоре понял, что время архаических атрибутов Запорожской Сечи миновало. Широкими казацкими шароварами легко запутаться в шестеренках машины, гетманскую булаву вручают теперь не победители на казацких радах, как некогда, а хитрые агенты монополистов вроде полковника Фрейденберга или капитана Ланжерона, который сам составил для Директории даже текст ноты. Хотела или не хотела Директория, но ее заставили не только согласиться, а еще и покорнейше просить протектората над политической, экономической и военной жизнью Украины. Не о казацких вольностях, а о крепком хозяине, на которого можно было бы опереться, о богатом покупателе природных богатств в земле и над землей, о ловком вожде не в жупане, а в кургузом пиджачке, зато с длинным титулом. Вот о чем думали теперь политики в Киеве. История выдвинула Симона Петлюру… После всей этой болтовни о назойливых Фрейденбергах и Ланжеронах ему впервые пришло в голову, что атаман Петлюра не совсем отвечает тем перспективам, какие развертываются перед Украиной.

Любопытно было услышать мнение дипломатов, и он спросил, как бы между прочим:

— Что вы думаете о нашем батьке атамане?

— Что же о нем можно сказать? — ответил профессор. — Говорят, что Петлюра — настоящий украинец, но это еще не аргумент для роли «вождя». Семинарская выучка наших головных атаманов, кадило и кропило — невысокий ценз для международной дипломатии.

— По правде говоря, — добавил редактор, — Украина заслужила более почтенного вожака, а Симону Васильевичу не хватает даже элементарной честности.

— То есть? — спросил Лец-Атаманов.

— Так ведь его выдвинули в конгресс от эсдеков, а он на следующий день переметнулся к социалистам-народникам и остался в Директории. А ежели завтра он станет монархистом? Такие деятели на все способны.

— Мол, вы как знаете, а я полевел, или, может, поправел. А кто же будет отвечать за политику, которую он проводил до этого времени?

— Не чувствуют у нас никакой ответственности перед обществом, — сказал раздраженно профессор, — никакой дисциплины перед историей. Хохлы — и все! Садятся в один вагон, а ехать хотят в разные стороны.

— А чего требует командование Добровольческой армии? — спросила Нина Георгиевна. Она уже снова стала наивной и боязливой.

— «Единой неделимой», — ответил редактор, — как хотелось полковнику Балбачану. К вашему сведению, он уже сегодня арестован.

— Значит, с добровольцами никаких переговоров не ведут?

— Напротив, есть надежда, что скоро договоримся.

Нина Георгиевна укоризненно покачала головой.

— Антанта, Добровольческая армия! А для Украины и места не остается.

— Еще останется, пани. Надо только уметь приспосабливаться. Вы куда едете?

— В Одессу! — ответил за нее сотник.

— Выходит, нам по дороге.

— Вы же меня не возьмете?

Профессор смешался.

— Понимаете….

— Понимаю, пан профессор, миссия. Не беспокойтесь.

— Нет, я хочу сказать, что нет свободного места. Остальная часть вагона занята санитарной миссией Красного Креста.

Нина Георгиевна криво улыбнулась:

— Не беспокойтесь, панове, я на ближайшей станции пересяду в свой поезд.

Наступило напряженное молчание. С верхней полки, где в такт движению поезда колыхалось круглое тело кооператора Загнибеды, вдруг разнеслось на все купе бульканье и свист с такой силой, будто кто-то внезапно выбил затычку в бочонке с квасом. И тут же донесся еле слышный, как бы захлебывающийся свисток паровоза. Нина Георгиевна и Лец-Атаманов заторопились и, поблагодарив, вышли в тамбур.

Поезд, вздрагивая на стыках, в белой снежной пене подползал к какому-то темному строению без малейших признаков света и жизни. Нина Георгиевна стояла в дверях впереди сотника и сдувала снежную пыль, которую ветер сердито и настойчиво швырял целыми пригоршнями в ее матовое лицо. Сотник Лец-Атаманов был возбужден. Он познакомился с такими значительными государственными деятелями, и это тешило его самолюбие. Он услышал из первых источников о самых секретных делах, а главное — из всей этой болтовни он сделал неожиданный вывод. Нина Георгиевна, оказавшаяся толковой женщиной, опечалена, а его распирает от радости. Украина еще может выйти на историческую арену!

— Слышали, Нина Георгиевна? Значит, «ще не вмерла Україна»!

— Это вы так думаете! — бросила она через плечо, — а мне кажется — от Украины остается одно название.

— Наивная вы! Глупые мотыльки летят на свет и… гибнут. Пускай те, кому хочется, летят на призрак казацких жупанов, мы их вперед выставим, а сами будем ковать такую Украину, которая выйдет на европейскую арену и сядет за один стол с Германией, Францией, Англией… Может, и дорогонько это обойдется, но у нас есть чем заплатить: леса и горы, Днепр и Черное море, степь и пшеница, уголь, руда. Где еще вы найдете вторую такую страну? Прямое сообщение Киев — Париж. Нина Георгиевна, — он фамильярно положил ей руки на плечи, — вы будете царицей в парижских салонах.

— А вы? — спросила она с иронией. — Уберите руки!

— Я буду послом Украинской народной республики. Посол пан Лец-Атаманов! Правда, недурно?

— Чистейший бред. Французские и английские акулы хотят нашими руками жар загребать, а мы и рады. Под столом мы будем, а не за столом.

Эти несколько слов, сказанных Ниной Георгиевной как бы между прочим, подействовали на сотника, как ведро холодной

воды. Его мозг с мужицкой практичностью начал оценивать реальное положение вещей. Действительность в самом деле была печальна. В голове проносились одна за другой картины последних дней, но больше всего поразил его бой под Крюковом. По засыпанному снегом железнодорожному полотну, как танки, надвигались бойцы с бесстрашными лицами, словно высеченными из камня. Черные кожанки, ватники и матросские бушлаты были перекрещены пулеметными лентами. На шапках алели звезды. Они шли в полный рост. И ничто не могло их остановить. Да и остановит ли? Французы больше месяца топчутся в Одессе, но дальше станции Раздельной не продвинулись и не продвинутся. Они боятся большевиков, как чумы. Кто же тогда? По соглашению, Директория обязалась выставить трехсоттысячную армию. И верно, это чистый бред. Территории осталось не больше двадцати уездов, и в тех уже вспыхивают восстания, а в Галиции ждут Красную Армию. В памяти возникли крестьянские волнения на Харьковщине в те дни, когда он был еще малышом. Тогда крестьяне громили помещичьи усадьбы, жгли скирды хлеба, но уже на следующий день явилась карательная экспедиция. Одних казаки погнали в тюрьму, других отстегали розгами. Пятнадцать лет после этого было тихо… «Может, вот так нужно было поступить и теперь, чтобы на целых тридцать лет запомнилось», — подумал он и вслух сказал:

— Либо пан, либо пропал, двум смертям не бывать!

Где-то там, в глубине, возникла мысль: «Значит, и разницы никакой нет?» Эта мысль породила глубокий вздох, но он подавил его.

В эту минуту тарелки буферов лязгнули, колеса завизжали — и поезд остановился. Нина Георгиевна осторожно соскочила на землю и почти по самые колени завязла в снегу. Она растерялась. Рядом уже стоял Лец-Атаманов и тоже растерянно смотрел на голову эшелона, — она терялась в белых облаках метели и в черной мгле, а нужно было добраться до своего вагона.

— Позвольте взять вас на руки, — сказал он вполголоса, — иначе мы не дойдем. Смотрите, снег по колено, и ваши боты могут потеряться в снегу.

— Я не такая уж легонькая! Сама дойду, — возразила Нина Георгиевна неуверенно.

Как долго простоит поезд, мог знать разве что начальник станции, и потому надо было спешить, чтобы опять не очутиться в чужом вагоне. Лец-Атаманов уже без слов подхватил на руки свою спутницу и побежал. Нина Георгиевна молчала, даже ради удобства обняла его за шею. И эта необычная близость, и жаркое дыхание у самой щеки, и нежный аромат духов опять, как крепкое

вино, зажгли сотника.

— Вы задушите меня, — проговорила она сдержанно.

— Возможно, возможно, Нина Георгиевна, возможно… — уже задыхаясь, повторял он и жадно приближался к ее губам.

— Оставьте, что вы, я закричу! — откидывая назад голову, продолжала она уже испуганно.

— Ни… Нина Георгиевна, я не могу. Я больше не могу-у…

Стройное женское тело извивалось в крепких объятиях сотника, но черная шапка с белым султаном уже наклонилась над шапкой с белой выпушкой.

В одно мгновение исчезли из глаз эшелоны, станции, фронты, даже сама земля. Нина Георгиевна, откинув назад голову и упершись руками в грудь, бессильно извивалась, как в обручах, пока над головой не загремела отодвигаемая дверь. Султан сотника рывком отделился от шапочки с белой выпушкой. Нина Георгиевна, услышав грохот двери, начала упираться еще сильнее. Из вагона послышалась грязная реплика. Сотник чувствовал себя вором. Он ничего не ответил на реплику и не мог ответить — ведь он сам строго боролся с присутствием женщин в эшелоне, — а потому уже бегом кинулся к классному вагону.

Нине Георгиевне пришлось еще крепче обнять его жилистую шею.

Возле классного вагона Лец-Атаманов, запыхавшийся, но еще более настойчивый, напоследок крепко стиснул Нину Георгиевну и опустил на снег. В стороне от эшелона темнела потонувшая в снежных сугробах станция. Чуть приметный желтый огонек мерцал только в одном окне.

В дверях вагона стоял полковник Забачта и щурил глаза на желтое окно. Увидев сотника с Ниной Георгиевной, он иронически удивленным голосом сказал:

— Выходит, я был прав, когда говорил, что вы отправились на рандеву, а ваши друзья говорят, что вы уже сбежали.

Лец-Атаманов обозлился; полковник издевался над ним и даже не считал нужным скрывать это. С каким нажимом он сказал: «Сбежали». Какое право у этого наемника контролировать поступки истинного украинца? И он с сарказмом возразил:

— Голодной куме хлеб на уме. Лучше смотрели бы за тем, что творится в эшелоне. Вы даже не знаете, чей вагон прицепили к нам. Нина Георгиевна, вам угодно в вагон?

— Я совсем застыла.

— Об этом должен заботиться комендант эшелона, — бросил полковник. — Вашу руку! — И он ловко поднял Нину Георгиевну в тамбур.

6

В купе Лец-Атаманова, к его великому удивлению, сидели трое командиров и пьянствовали. На поставленном торчком чемодане Нины Георгиевны находились тарелка с колбасой и банка консервов, а в руках Светлицы была бутылка. Чемодан слегка раскрылся, и из него, готовые выпасть, белели какие-то листки бумаги, о которые вытирал себе руки старший Карюк. Напротив него сидел со скрипкой в левой руке делопроизводитель Чижик. На грязном, давно не бритом, жирном лице Чижика видны были только маленькие и тоже как будто грязные, посоловевшие глазки. Он, весь коротенький, как улей-дуплянка, был в старом засаленном кителе, в валенках и умильно, по-собачьи, глядел на кусок мяса и на стакан в руках Карюка.

Карюк, отводя стакан в сторону, тоном хозяина говорил:

— Сыграй еще одну, такую, знаешь, старинную, малороссийскую, чтобы плясать захотелось, тогда дам. Черт с тобой! Толку с тебя все равно не будет целую неделю.

Лец-Атаманов рассвирепел. Всегда он сдерживался, даже когда Чижик начинал пить запоем, старался не замечать этого, но сейчас сотник был охвачен нестерпимым желанием остаться наедине с Ниной Георгиевной и сказать со всей откровенностью, что он очарован ею.

— Прошу прощения, панове, вам тут что — ресторан?

Чижик захлопал глазами, смычок запрыгал в руке, как при каком-то пассаже на струнах, а губы зашевелились, роняя какие-то нескладные слова. Карюк и Светлица виновато поднялись, Лец-Атаманов с грохотом отодвинул дверь и крикнул:

— Освободить купе! Мерзость!

Карюк обиженно выпятил губу и уже из коридора огрызнулся:

— Я вам не мальчик, и вы мне не начальство. Подумаешь, когда сам волокет, так ничего!

Лец-Атаманов вспыхнул и кинулся к двери, но тут же сдержался и запер ее на защелку.

Не меньше возмущена была и Нина Георгиевна. Войдя в купе, она испуганно бросилась к своему чемодану, стоявшему торчком. Из него выглядывал уголок большого пакета.

— Они лазили в чемоданы. — Но, убедившись, что на полу, кроме серой бумаги, ничего не было, закончила уже спокойнее: — Они могли растащить мои вещи.

— Нет, до этого они пока не дошли, — возразил все еще раздраженно сотник. — Но все-таки проверьте.

Его самого заинтересовали бумажки, выглядывавшие из чемодана.

Но Нина Георгиевна уже, казалось, успокоилась и, заперев чемодан, задвинула его под столик. Потом, как бы извиняясь, улыбнулась:

— В самом деле, на что им мои рубашки?

Пока Нина Георгиевна приводила в порядок свою полку и снимала шубку, паровоз свистнул, дернул, и поезд снова захромал по занесенному снегом пути. Мелькнуло желтое пятно, и еще одна украинская станция осталась позади, а спереди приближался Збруч, а за ним что-то загадочное и темное, как ночь за окном.

Дверь купе была заперта, а по коридору кто-то топал, бегая взад и вперед. Теперь он скажет ей прямо.

— Нина Георгиевна…

Она вопросительно подняла на него свои голубые глаза.

— Нина Георгиевна…

Она не должна заподозрить его в банальном ухаживании, — нет, не должна, он должен сказать ей, что он не просто «прапорщик армейский», у него специальное образование, а будет и высшее, и даже признается, что женат, но теперь стал одиноким бобылем, а она не девочка, чтобы не понять, какие чувства вызывают у него ее голубые с серой поволокой глаза, ее, такие манящие, губы, ее тонкий с горбинкой нос и чуть приметная ямочка на подбородке. Когда Нина Георгиевна улыбалась, такие же ямочки появлялись у нее и на матовых щеках. «Я должен сказать, что наши дни, быть может, уже сочтены, и потому она должна простить мое безумное желание…»

— Нина Георгиевна…

Она чуть заметно улыбнулась и перебила:

— Простите, который час? Может, пора уже дать вам покой?

Он взглянул на руку.

— Без четверти одиннадцать. Я сейчас уйду и пожелаю вам спокойной ночи, но я хотел сказать…

Он опять подумал: «Сейчас она будет укладываться спать. Одна вот здесь, в четырех стенах, и дверь на замке…»

В дверь кто-то постучал громче обычного, и послышался взволнованный голос Рекала:

— Петрусь, отвори!

— Что там?

— Скорей!

Лец-Атаманов закусил нижнюю губу и сердито отодвинул дверь. В купе вошел Рекало.

— Простите, пани, вы еще не спите?

— Чего тебе?

— Знаменку заняли большевики.

— А не Григорьев? — удивилась Нина Георгиевна.

— Сперва Григорьев.

— Красные уже захватили Знаменку? — воскликнула Нина Георгиевна и, как показалось Рекалу, даже улыбнулась, но спохватилась и уже сочувственно добавила: — Сколько же там эшелонов ваших пропало?

— Да если так будем воевать, то, пожалуй, ненадолго нас хватит.

— Не разводи паники! — буркнул Лец-Атаманов.

Нина Георгиевна с видом полного безразличия отвернулась к окну. Рекало замялся.

— Слушай, Лец, там того… адъютант этот, или… полковник… Да пойдем, сам увидишь.

Почувствовав, что его тревожно дергают за рукав, Лец-Атаманов вышел в коридор. Нина Георгиевна быстро закрыла за ними дверь. Лец-Атаманов кинулся было назад, но Рекало опять дернул его за рукав:

— Да слушай же. Тут серьезное дело, а он… Знаменку заняли большевики.

— Ну, слыхал уже, не глухой.

— Слыхал. А что в Елисаветграде рабочие захватили станцию, тоже слыхал?

Лец-Атаманов широко раскрыл глаза и окаменел.

— В Елисаветграде? Значит, мы отрезаны?!

— Так я тебе еще скажу: Одесский полк из Цветкова двинул на Помощную. Вот тебе еще одна застава, — и он грубо выругался. — Что ж это выходит?

Лец-Атаманов стоял как громом пораженный. У него вдруг словно что-то оборвалось внутри и сплелось в клубок, который теперь подступал к горлу. «Что это, конец? — думал он бессвязно. — Такой бесславный?» От острой боли он вздрогнул всем телом, и горькая гримаса исказила лицо. Куда нее теперь деваться? Такой вопрос уже неоднократно приходил ему в голову. Он, словно заразу, гнал его от себя, потому что была еще какая-то надежда, ноги ступали еще по родной земле, а конец еще не определился. И вдруг из этого хаоса, из заметенных дорог, из соломенного дыма конец этот выступил четко и неумолимо. Вверх тормашками летели не только планы на посольство в Париже, на отцовское добро, а уже шла речь даже о его жизни. Аморфная масса, какою он считал своих земляков, начала уже кристаллизоваться, выкристаллизовалась. Новая сила, доныне неизвестная, уже встала с земли, вышла из мазанок, из

задымленных заводов, разлилась вешним паводком по всей России, по всей Украине. Она гонит перед собой сотни эшелонов с остатками разбитого вдребезги старого мира. Их эшелон тоже бежит от этой грозной волны. Не таким представлялся ему этот день, когда он был еще студентом, когда с таким жаром распевал: «Ще не вмерла Україна…» А теперь его поезд мчится в глухой тупик. «Как это произошло? — спрашивал он себя, хватаясь за голову. — Ошиблись. Ошиблись! Не хватило нашим вожакам ума повернуть революцию на свои рельсы, и привели к… разбитому корыту. Не-ет, мы еще сила!» А перед глазами, как неумолимый рок, возникал образ рабочего в пулеметных лентах крест-накрест. Проклятье!

— Где полковник, где адъютант? Они знают уже?

— Знают.

— И что?

— Режутся в железку[6], а на прочее им наплевать. Может, даже рады нашему положению. Им что, их и за кордоном приютят. Слышишь, как хохочут?

Из соседнего купе действительно вырывались веселые выкрики и шлепки картами по столу.

— Тогда мы должны сами подумать, — сказал Лец-Атаманов, — надо в первую очередь среди казаков поднять дисциплину. Распущенность переходит границы. Часовых на месте — ни одного.

— Хорошо бы перевести на украинский язык устав внутренней службы по немецкому образцу.

— К чертовой матери твой устав! На первой же станции надо поднять казаков на ноги. Возможно, нам одним придется пробиваться через Елисаветград. А тут эта метель. И природа против нас! — Он рванул воротник жупана. — Дай водки!

— Так пошли к полковнику.

— Не хочу.

— Ну, тогда к Сокире. Он у себя.

Они вышли и, держась за поручни, перескочили в соседний вагон. На переходе, где под ногами лязгали, двигаясь, мостки, их, как ливнем, обсыпала вьюга, а студеный ветер пробился под одежду и заставил сотника зашипеть на манер паровоза. По тому, что перед глазами в желтой полосе света промелькнул только один телеграфный столб, Лец-Атаманов понял — поезд движется чересчур медленно, словно боясь приблизиться к Елисаветграду.

Из крайнего купе, перед которым они остановились, долетали мелодичные звуки скрипки. Рекало придержал Леца за рукав, но тот и сам остановился.

Знакомая мелодия песни, похожей на молитву, не раз

слышанная на концертах, сразу полоснула его как ножом по сердцу. Наверно, так же она подействовала и на Рекала. Он, казалось, уже ничего не видел и не слышал вокруг себя.

Наконец они отодвинули дверь. Хорунжий Сокира, коренастый парень с копной черных волос, дугами спадавших на лоб, сидел на диване, уронив голову на руки. Он только глянул исподлобья на вошедших, но позы не переменил. Чижик виновато опустил скрипку.

— Играй! — прикрикнул на него Сокира.

Чижик подбросил к подбородку скрипку, рассыпался глуповатым смешком и запиликал банальную полечку.

— Брось! «Ой, зійшла зоря вечеровая…»

С лица Чижика исчезла глупая ухмылка, он подошел к окну, зажмурился, положил смычок на струны, и в то же мгновенье даже лицо его изменилось. Круглые щеки как бы вытянулись, от носа к колючему подбородку подступили глубокие морщины, а свинцово-серые веки нервно задергались в такт смычку.

И снова звуки, раздиравшие сердце, наполнили купе.

— К черту! — заскрипел зубами Лец-Атаманов и в сердцах пнул ногой Чижика. — Нашли время нюни распускать. Никакая божья матерь не спасет нас, если не подоспеет на выручку Антанта! Огня, железа, а не молитв…

Чижик покорно опустил смычок, Сокира все еще тупо смотрел в пол. Молчал и Рекало. Лец-Атаманов раздраженно сделал несколько шагов между дверью и окном, каждый раз бесцеремонно тесня Чижика.

— Нам теперь не до сантиментов. На кол, в котлы этих предателей, этих равнодушных! Я бы их живьем закапывал в землю, как Ярема Вишневецкий… Чтобы и детям не повадно было…

Чувствуя себя виновником создавшегося настроения, Чижик снова вскинул смычок к скрипке. Рекало громко запел:

— Літа орел, літа сизий…

Лец-Атаманов сверкнул глазами; от раздольных, как степь, звуков у него вроде бы отлегло от сердца, даже подумалось: авось еще обойдется, они еще соберутся с силами, ударят на красных и добьются своего, еще будут властвовать. Но пока он витал в мечтах, под смычком Чижика опять тоскливо заплакала струна, и надежды начали таять, развеиваться, возвращалась реальная действительность, такая, что мороз подирал по коже. Хорошо, если они успеют вырваться, перескочить хотя бы Збруч, а если перехватят? И перед глазами опять возникли фигуры красных в кожаных куртках, перекрещенных пулеметными лентами.

Лец-Атаманов выхватил из сетки над диваном бутылку и

осушил ее до дна.

Чижик все еще стоял с закрытыми глазами, остальные сидели понурясь.

Переходя назад через площадку, Лец-Атаманов пошатнулся. Хмель ударил уже ему в голову, но от этого не стало легче на душе. Напротив, его разбирала мутная злоба.

Разве он не срывал царские портреты? Не выступал против великодержавного Временного правительства? Даже против гетмана Скоропадского… А перед глазами мелькают пятиконечные звездочки, жертвенные лица, воодушевленные сказочной идеей пересоздания мира на новый лад. А что нового могут создать Петлюры, Карюки, Загнибеды?

В коридоре он остановился перед своим купе и тупо уставился на дверь. Пьяный мозг разжигал воображение, К чертям всякие условности! Он не желает больше себя мучить, теперь над ним нет ни суда, ни расправы!

В соседних купе было тихо, а может быть, потрескиванье расхлябанного вагона и перестук колес на стыках заглушали шум в этих купе. Свечка в фонаре догорела и теперь мигала из последних сил, бросая желтый круг только на потолок вагона. Лец-Атаманов взглянул вверх и заметил там след от пули. Это опять напомнило ему о смерти, которая ходит за их плечами, и он сильнее нажал на ручку двери. В купе Нины Георгиевны было темно, но Лец-Атаманов мысленно видел, как она лежит, устроив теплое гнездышко из его полушубка, и как из чуть приоткрытых губ выходят клубочки легкого пара. Он это так четко представил себе, что невольно наклонился. Но перед носом словно каменная стена стояла дверь.

— Нина Георгиевна, — приглушенно позвал он и с опаской, как вор, посмотрел по сторонам.

В коридоре было тихо. Тогда Лец-Атаманов еще тише, крадучись, подошел к дверям полковничьего купе и приложил ухо. За дверью слышался только разноголосый храп. Сотник вернулся обратно, осторожно постучал и прислушался, но, кроме частых ударов колес, разобрать ничего не смог. Ноги подгибались в коленях, а голова, казалось, кружилась в каком-то тумане.

— Нина Георгиевна, — прохрипел он опять и постучал уже смелее. Но когда представил себе, что сейчас должны высунуться головы из всех купе, отскочил к крайнему окну и начал вглядываться в темноту.

Свеча мигнула напоследок, и ночь густым мраком надвинулась на узкий коридор. Теперь искры, часто летевшие от паровоза, мимо окна, вырисовывались еще четче, превращая ночь в феерическую сказку.

Если бы сейчас открылась дверь в купе Нины Георгиевны, он задушил бы ее в своих объятиях, зацеловал, загрыз. Кровь все сильнее стучала в виски. К чертовой матери честность, мораль, этику! Все должно покоряться единственному закону — я хочу. А если хочешь — бери.

Все что ни делается — все к лучшему. Это была его повседневная философия. Лец-Атаманов ездил на ней, как на послушном старом коне. Каждому заранее определена его судьба. К чему же ломать голову над проблемой честности, если поступками управляет высшая сила. Во рту пересохло, губы пылали. Пусть силой, но он возьмет Нину Георгиевну! За спиной послышался шорох, и медленно, беззвучно дверь в одном купе отодвинулась. Лец-Атаманов оглянулся на шум и увидел в дверях белую фигуру. Он готов был закричать от несказанной радости, упасть тут же на колени и шептать слова, полные страсти: «Нина Георгиевна! Нина!…» Лец-Атаманов уже протянул вперед руки, но тут фигура отделилась от двери и, не замечая его, вдоль стенки подошла к другому купе. По ее движению Лец-Атаманов сообразил, что она не вышла, а подошла к двери, в которую он стучал. Фигура прислушалась и тоже легонько постучала.

— Нина Георгиевна! — послышался вкрадчивый голос. — Нина Георгиевна.

Лец-Атаманов, как кошка, подкрался и стал за спиной фигуры.

— Нина Георгиевна, вы слышите?

— А для чего она вам, пан полковник?

Это было так неожиданно, что белая фигура вся вскинулась, как от прикосновения раскаленного железа, но в ту же минуту саркастически рассмеялась:

— А вы на страже? Простите, вы сегодня, кажется, дежурный по дивизиону. Вот вы мне и нужны.

— Так меня зовут не Ниной Георгиевной, а Петром Марковичем.

— А я разве сказал — Нина? У меня, видите ли, ваши образы уже начали сливаться в один. Вы не знаете, мы скоро доползем до Елисавета?

И полковник, пятясь к своему купе, снова саркастически рассмеялся. Лец-Атаманов подошел к нему почти вплотную и сердито сказал:

— В Елисаветграде восстание! Вы об этом знаете?

— Я больше удивился бы, если б вы сказали обратное. Где вас искать, благородный рыцарь?

— Я буду у Рекала. Нужно поднять людей.

— Привыкайте, пан сотник. Еще будет не одно восстание. А

сейчас, с вашего позволения, я еще немного посплю. Впереди нашего пошел эшелон с галичанами.

Полковник шмыгнул в купе, а сотник, понимая, что тот будет теперь прислушиваться, вышел в тамбур.

Откинув дверь, Лец-Атаманов посмотрел вперед. Вьюга уже не сыпала сверху снег, а только яростно выплясывала над эшелоном, металась через сугробы и стонала в щитах заграждения. На белом фоне черной массой вырисовывалась станция и какой-то длинный эшелон. Паровоз, сопя, попытался крикнуть, но подавился и через пять минут подошел к станции совсем молча.

Звонко зазвякали, перебегая от вагона к вагону, тарелки буферов.

7

Как и на предыдущей станции, свет мерцал только в одном окне. Из разбитых дверей вышел, как видно, дежурный по станции. В одном шаге от стены через весь перрон тянулся высокий сугроб. Дежурный по станции постоял перед сугробом, поочередно втягивая в воротник пальто то одно, то другое ухо, и, безнадежно махнув рукой, пошел назад. Из паровоза сердито зашипел пар и отогнал от колес назойливую метель. Потом от головы поезда отделилась черная фигура и, перепрыгнув через сугроб, скрылась в станционном здании. Лец-Атаманов, закурив за дверью папиросу, тоже соскочил в снег и, утопая по колени, направился к дежурному по станции.

Темные комнаты пронизывали тело холодом больше, чем сама вьюга. В кабинете начальника станции за грязным столом сидел сонный, взъерошенный дежурный и говорил машинисту:

— На каждой станции пробка. Вон какие-то комиссары путей уже с вечера стоят.

— А когда же вы расчистите? — спрашивал угрюмо машинист.

— Завтра, а может, и послезавтра. Как рабочие. А, пожалуй, скорее даже на третий день. Это ведь не от меня зависит — от ремонтного мастера.

— В чем дело? — спросил Лец-Атаманов, уже догадываясь и сам.

— Заносы, — ответил дежурный.

— А здесь хоть село какое-нибудь есть? — спросил машинист.

— Да, есть. Верстах в трех будет Графовка, а еще пять — и местечко.

— Ну, а телеграф работает?

— Куда там! Чтобы в такую метелицу да не повалило столбы. С обоих концов как обрезало.

— Ну, вы хоть знаете, что впереди, сзади? — допытывался Лец-Атаманов.

— Да мы и без телеграфа слышим. Уже от Знаменки наступают, а в Елисавете, говорят, бой и сейчас идет. Разве что метель чуть остановит, а может, и нет.

Желая, видимо, вызвать сочувствие, дежурный, поморгав на окно сонными глазами, добавил:

— Вот такая у нас служба. И служи — бьют, и не служи — бьют, бьют и денег не дают. Живи как хочешь.

— Ну, а Знаменку определенно заняли большевики?

— Говорю же, заняли; а может, и нет. Разве теперь может

быть что-нибудь определенное?

Лец-Атаманов вышел на перрон. У стены жалобно стонал колокол, раскачиваемый ветром. На западе из-за сплошных диких туч просиял на минуту седой месяц, и на белом поле четко вырисовались занесенные снегом голубые эшелоны. Никаких признаков жизни не подавали даже всегда бодрые паровозы. Эшелоны безнадежно примерзли к рельсам, и это, видимо, мало кого волновало. Да и было ли еще кому волноваться? Лец-Атаманов прошел в другой конец паровоза. Два казака за это время забежали на станцию и быстро возвратились в свои вагоны. Сотник, проваливаясь в снегу, тоже пошел вдоль состава. Уже когда он миновал классный вагон, позади послышался гомон. Лец-Атаманов оглянулся. В этот момент дверь классного вагона с грохотом распахнулась, оттуда показалась чубатая голова, за нею — пояс, сапоги, и все это шлепнулось и утонуло в снегу, а вдогонку прозвучал выстрел.

— Теперь будешь знать, кто из нас продажная шкура?

Кто-то, видимо, ухватил стрелявшего сзади и начал заламывать ему руки, приговаривая:

— Колька, задушу! Брось карабин!

Карабин стукнулся о ступеньку и упал на снег. Тогда из снега вынырнул чубатый, схватил карабин и кинулся бежать вдоль эшелона.

— Стой! — крикнул Лец-Атаманов.

— Это ты, Петя?

Перед ним стоял, весь в снегу, с искаженной физиономией Рекало.

— Что вы, мерзавцы, вытворяете? — прошипел Лец-Атаманов.

— Я его сейчас пристрелю! Какой-нибудь Пищимуха будет меня гонять по три раза на день. Я его сейчас решу.

Лец-Атаманов с силой вырвал карабин, взял Рекала за ворот и, толкая в спину, довел до самого купе.

— Ложись и спи! Скоро я сам начну вас учить, как бороться за самостийную Украину! Сволочь, пропивать начали? Лежи!

Рекало захныкал было, но спустя минуту уже захрапел, а Лец-Атаманов вышел в коридор. Он собрался уже опять идти на станцию, но непобедимая сила влекла его к купе. Затаив дыхание прислушался. Теперь ясно было слышно, как Нина Георгиевна дышит, а ветер, который, видимо, прорывался в щель под окном, шуршит сброшенными на пол газетами. Для Лец-Атаманова это могло послужить оправданием, и он опять постучался в дверь:

— Нина Георгиевна, Нина Георгиевна!

Дверь отодвинулась, но опять в том же соседнем купе, и оттуда высунулась, с усмешкой на лице, голова полковника.

— Ах, извините, — проговорил он, — мне послышалось, что это ко мне. Это все вы, пан сотник?

В голосе полковника явно звучала ирония. Это окончательно взбесило Лец-Атаманова. Он, весь закипая, стукнул в дверь и уже сердито сказал:

— Нина Георгиевна, слышите?

Из купе послышался сперва глубокий вздох, потом полусонный голос:

— Что такое?

— У вас, кажется, рама в окне осела, смотрите, не простудитесь. А почему стоим? Пути занесло.

Нина Георгиевна заволновалась:

— Значит, мне пора сходить? Я сейчас.

Лец-Атаманов заскрипел зубами:

— Вам этого никто не говорит. До утра и не думайте выходить, все равно через сугробы не пройти. Я хотел только, чтобы вы не простудились. Спите себе! — Он оглянулся на купе полковника. Дверь уже была закрыта, тогда он, не сдерживаясь уже, глубоко вздохнул.

Нина Георгиевна поблагодарила, подергала окно, и снова за дверью наступила тишина. Лец-Атаманов, в полном изнеможении, вышел наружу, чтобы еще раз проверить посты и остудить пылающий лоб.

В темных товарных вагонах звучно били о помост копытами лошади — они уже давно не ступали по земле, и их укачало.

Лец-Атаманов решил завтра же непременно выгрузить их и сделать проездку.

Откуда-то издалека ветром донесло пение петухов. Он присветил папиросой над циферблатом часов и увидел, что уже третий час. И оттого, что он узнал, сколько времени, вдруг захотелось спать. Чтобы поскорее закончить обход, Лец-Атаманов крикнул:

— Часовой!

Ветер подхватил его сердитый голос, вместе со снежной пылью перенес через застывшие орудия и, перебрасывая, покатил дальше, за станцию, в белое море.

— Часовой! — еще раз крикнул сотник и добавил круто замешанное многоэтажное ругательство. Снова никакого ответа, но в ближнем вагоне отодвинулась дверь, и из нее высунулась голова телефониста Березы.

— Вам часового? — спросил он. — Только что ходил здесь.

— Найди его и пошли ко мне.

Береза охотно спрыгнул в снег и побежал в конец эшелона, а Лец-Атаманов повернул обратно.

Обежав эшелон, Береза свистнул и выругался.

— Эй, ракалии, где же ваша стрёма?

Возле вагона с дверьми, перекрещенными белыми полосами, стояло трое казаков: Богиня, Смыцкий и Кавуля, и ломом выворачивали замок.

Четвертый, Водянка, с винтовкой стоял чуть подальше, прижавшись к стенке.

— Водянка, там сотник ищет тебя. Ступай сейчас же к нему, а то еще сюда припрется.

Водянка молча побрел к командиру, а остальные казаки, вывернув замок, влезли в вагон.

Минут через десять они снова задвинули дверь, приладили замок, а сами, согнувшись под тяжестью мешков, гуськом направились к своему вагону.

— А Лелека спит? — спросил шедший впереди Богиня.

— Спит, — ответил Береза, — а не станет спать, так и навеки заснет, ежели что.

— А ты слышал, откуда петухи кричат?

— Версты три будет.

— Сейчас пойдешь?

— А что же, ждать, пока наш гимназист проснется? Только нужно вдвоем. Пошли, Богиня.

Богиня согласился.

Закинув в вагон мешки, они при свечке засунули их под нары, а из последнего мешка вытащили добрый пласт розового сала и зашагали с ним через кусты прочь от станции.

8

В купе Рекала Лец-Атаманов вернулся только к рассвету, когда уже в занесенные снегом окна пробивалась серая муть. Такое же серое было и лицо Лец-Атаманова. Под глазами у него залегли свинцовые круги, оттеняя большие белки с багровыми жилками. Он весь был словно развинченный. Ноги ныли в коленях, к телу будто прикладывали то горячий песок, то холодный снег. Нина Георгиевна, хотя он стучался еще трижды, не ответила, и теперь он ни о чем больше думать не мог. Ему хотелось во что бы то ни стало увидеть ее, пусть на минутку, и он решил еще подождать.

Сотник Рекало с лицом, похожим на стертый медяк, спал, обнявшись с Пищимухой, на одной полке. Лец-Атаманов снял шапку, присел на свободный диван и бессильно откинулся в угол. Он решил спокойно обдумать, как действовать дальше, чтобы сохранить боеспособность части, иначе все к черту развалится. Пищимуха такой был славный парень, а уже и он начинает поднимать голову, уже с голоса Кудри начинает петь. А такой Кудря, может, по Центральной раде из «Арсенала» стрелял. Надо получше приглядеться к таким Кудрям, какой они масти. И галичане уже начинают распускаться. В местечке было не больше четырехсот польских солдат, а у нас почти тысяча стрельцов, и они четыре месяца не могли взять местечко? «Все вам дни коротки, не за что зацепиться? Ждали «хороших дней» — ну и дождались галлерчиков[7]. Так держитесь же теперь, как подобает стрельцам». Он заморгал глазами и удивленно уставился на офицера в дымчатой шинели австрийского покроя с «мазепинкой» на голове. Что это — вдруг почудилось или впрямь в купе сидит галицийский офицер? Лец-Атаманов снова закрыл глаза и сказал:

— Моя батарея стоит вон там, за селом, без всякого прикрытия.

— Пан товарищ, — ответил офицер, — как я могу за них ручаться: мобилизовали насильно, вот и бегут. Вы посмотрите только, что творится.

— Перехватывайте их! — крикнул Лец-Атаманов уже своим казакам.

— Пан сотник, — сказали они, почему-то посмеиваясь, — стрельцы через огороды убегают. В окопах, говорят, уже никого не осталось.

Дальнобойная батарея осталась за селом без пехоты. Его красавицы с длинными лебедиными шеями, гордо подняв головы, иронически поглядывали на желтые опустевшие окопы. Он

присмотрелся — нет, это не орудие, это Нина Георгиевна большими глазами грустно глядела в туманную даль, а единственный батарейный пулемет у ее ног сдерживал поляков.

В этот момент он и остановил двоих стрельцов, которые без памяти бежали уже прямо по улице.

— Вы куда?

— Пан офицер, — завопил один, порываясь бежать, — дозвольте мельдувать[8], тридцать хлопцев с машингвером[9] подбегают, убей меня бог, в плен заберут.

— Мы бы держались, — заспешил и второй стрелец, — а почему нам сбрехали, что придет Красная Армия…

— В окопы! — крикнул сотник. — Тут еще батарея… вашей маме, — и съездил стрельца по затылку. Второй стрелец подпрыгнул на стертой ноге и бросился назад. У самой дороги разорвалась граната, и Нина Георгиевна исчезла в дыму, а на том месте опять стояли, кашляя огнем, орудия с лебедиными шеями.

Под пулями, которые гуляли наперегонки с пчелами, батарея, напоследок харкнув ядерными орехами, взялась на передки и бегом стала отходить за местечко.

Оглянувшись, Лец-Атаманов увидел, как по долине, словно клопы по стене, беспорядочно ползает конница в австрийских кунтушах и галицких шапках-мазепинках. А позади колоннами идут сформированные Галлером во Франции польские легионы и стреляют из английских орудий.

За пригорком Лец-Атаманов опять нагнал двоих стрельцов. У них не было уже при себе ни патронов, ни винтовок. Стрельцы бежали и панически оглядывались назад.

— Стой! — крикнул вдогонку сотник.

Стрельцы точно прикипели на месте и часто заморгали главами.

— Пан офицер, — начал дрожащим голосом один, — дозвольте мельдувать. Тридцать хлопцев с машингвером…

Сотник Лец-Атаманов узнал тех же самых стрельцов, которых уже однажды вернул назад.

— Назад! — крикнул он. — С фронта бежите?

— Говорили — будут землю давать, а это брехня, — закричал второй стрелец. — Наши мужики все разбежались.

— Назад, в окопы, дезертиры! — и выхватил револьвер.

Откуда-то взялся Пищимуха и закричал:

— Хочешь чужими руками жар загребать?

— Бей его, продажную шкуру! — кричали уже казаки.

Лец-Атаманов упал на дорогу и пополз, а Кудря колол его штыком.

— Чего ты кричишь?

— Ей-ей, арсеналец, я узнал его!

— Что ты несешь? Да проснись же, завтракать пора!

Лец-Атаманов открыл глаза, перед ним стоял Пищимуха и всеми пальцами щекотал его под ребрами. Он зашевелился, наконец пришел в себя. В окно заглядывал хмурый день, а напротив него, на другом диване, сидел офицер галицийской армии и с характерным акцентом что-то рассказывал Рекалу.

— Новость! — сказал Рекало. — Вот пан офицер слышал, будто бы наш дивизион перебросят на польский фронт, в Галицию.

— А который час?

— Да уже четверть двенадцатого.

Лец-Атаманов вскочил на ноги и вышел в коридор. Возле его купе Нина Георгиевна оживленно спорила с полковником Забачтой, который кокетливо подкручивал черный ус. Увидев сотника, она сказала:

— Что это пан полковник возводит на вас поклеп, будто вы ночью несколько раз стучались ко мне?

Лец-Атаманов смешался, сердито ответил:

— Я забыл в купе свои папиросы.

— Отчего ж вы не вошли? Дверь была не заперта, а я всегда сплю как убитая. Или, может быть, вы боитесь меня?

Полковник Забачта, довольный, подкручивал кончик уса к самому глазу. Лец-Атаманов обиженно закусил нижнюю губу и отвернулся к Рекалу, стоявшему поодаль.

— Коней выводили?

— Коней — черт с ними. Ты еще не слышал? Андрюшка Карюк застрелил в Графовке мужика.

— С какой стати?

— Не хотел принимать петлюровские деньги за корову.

— Это правда?

Они обернулись. К ним подходила Нина Георгиевна, глаза у нее были широко раскрыты.

— Правда?

— Насмерть, — кивнул Рекало.

— Кретин! — сказал Лец-Атаманов, гримаса досады передернула его лицо.

— Но ведь крестьяне вам этого не простят.

— Мы не из пугливых! — И он пошел к выходу.

Бродя по путям, Лец-Атаманов зашел в вагон, в котором ехала миссия. Открыл одно купе, второе и третье и удивился: валялись обрывки газет, объедки колбасы, но людей — ни души. «В чем дело?» — недоумевал он, а встретив казака, спросил:

— Куда девались люди из этого вагона?

— Уехали на подводах, наняли сельских мужиков и еще с утра деру дали. Мы хотим туда перебраться.

— Хорошо, — ответил он равнодушно.

В тот же момент в голове у Лец-Атаманова сложился план, от которого глаза сразу стали масляными, хитрыми, и он чуть не бегом повернул назад к своему купе. Проходя мимо захваченного в Знаменке вагона с железными граблями, Лец-Атаманов заметил, что он уже пуст. Это его удивило. Удивил его и какой-то вертлявый штатский, который вышел от полковника.

— Об этом не беспокойтесь, мы понимаем, что нужно говорить, — сказал он на прощание, пряча какую-то бумажку.

Лец-Атаманов хотел было тут же выяснить, куда девались грабли и кто такой приходил к полковнику, но его гнала страсть, снова воспалившая его мозг.

Нину Георгиевну Лец-Атаманов застал одну. Она сидела, держа в руках какую-то листовку, и встретила его с виноватой улыбкой.

— Вы обиделись, пан сотник?

— Ну, что вы, Нина Георгиевна? — ответил он с деланным безразличием. — Это я спросонок. Хотите проведать наших дипломатов?

Нина Георгиевна охотно согласилась и попросила его подождать несколько минут в коридоре, пока она оденется потеплее.

— А пока что поглядите на эту прокламацию, которую я нашла на станции, — добавила она, передавая ему листовку. — Уж не из соседнего ли эшелона подбрасывают?

Лец-Атаманов с беспокойством взял узенький листок бумаги и начал у окна быстро пробегать глазами отдельные фразы.

> «…Фактически Директории уже нет: вместо нее создана военная диктатура во главе с Петлюрой при ближайшем участии Грекова и Коновальца. Вот до чего докатилась Директория… Советская социалистическая власть Украины… никогда не допустит и никому не позволит превращать украинских рабочих и крестьян в африканских рабов. Теперь очередь за вами показать Петлюре и его приспешникам, что вы поняли, что разницы между его политикой и политикой гетмана Скоропадского почти никакой нет. Если Скоропадского прогнал трудовой народ за то, что тот был лакеем германских генералов, то вы должны прогнать Петлюру, потому что он стал лакеем французских помещиков и капиталистов.

От имени украинских рабочих и крестьян, от имени украинской Красной Армии обращаюсь к вам… Товарищи, присоединяйтесь скорее к нам. Присоединяйтесь к нам и вы, сечевики из Галиции.

…Да здравствует Советская власть!

…Да здравствует…»

— Я уже готова!

Лец-Атаманов, растерянный, в недоумении моргал глазами.

— Неужели это правда? — сказала Нина Георгиевна и уже беззаботно добавила: — Ну, будьте же кавалером, дайте руку!

От шубки исходил тонкий аромат духов. Лец-Атаманов хмурился, пока не почувствовал сбоку ее локоть. Перед глазами опять вспыхнули багровые круги, тонкие пальцы, затянутые в лайку, казалось, жгли ему руку. Листовка с ее страшными словами покрылась туманом, расплывалась.

У вагона, где вчера была дипломатическая миссия, Лец-Атаманов быстро огляделся по сторонам. Вдалеке, по линии железной дороги, крестьяне расчищали снег, возле кустов стояли выпряженные лошади, от них после выездки шел едкий пар, на соседней колее дремал другой эшелон — комиссариата путей сообщения Директории, и никого вблизи не было. Лец-Атаманов ехидно усмехнулся своим мыслям. Его охватило прежнее чувство, и оттого, помогая Нине Георгиевне подняться на ступеньки, он прижал ее с такой силой, что она тревожно и вопросительно подняла на него глаза и приостановилась. Лец-Атаманов уже почти не владея собой. Он знал, что сейчас дверь скроет их от всего мира, и стремился приблизить этот миг.

— Умоляю вас, Нина Георгиевна, простите. — Судороги уже перехватывали его голос, в глазах мелькали горячие искры.

Нина Георгиевна вспыхнула.

— Я не пойду, если вы так будете вести себя.

Он снова попросил прощения, но, когда они вошли в тамбур, тайком запер за собой дверь.

Отворив купе, Лец-Атаманов попятился назад, как от какого-то наваждения. В купе было полно казаков, и они о чем-то оживленно совещались. Тут же сидел бунчужный. Лец-Атаманов остолбенел. Сперва он хотел попросту выгнать их, но их вещи были уже здесь.

Он растерялся. Казаки, словно пойманные на краже, молча расступились по сторонам. Нина Георгиевна, не понимая, что произошло, вопросительно водила глазами по купе. Среди присутствующих она узнала кареглазого казака в ватнике, помогшего ей в Знаменке внести вещи в вагон, и приветливо

улыбнулась. Лец-Атаманов с удивлением посмотрел на Кудрю, который ответил ей такой же улыбкой. Неужели они были знакомы? Слесарь Кудря ничем не выделялся среди казаков дивизиона, разве что по своему развитию: он интересовался газетами, был настоящим украинцем, только отчего-то стал избегать командиров, даже огрызаться. Это, должно быть, нравилось казакам, потому что его слушались больше, чем командиров. А может, еще и потому, что он был среди них самый старший и дружил с бунчужным, а бунчужный тоже попался не барабанная шкура — с казаками хорошо ладил. Но почему они оказались здесь? Сотник недоуменно поднял брови.

Разъяснил все бунчужный. Впрочем, Лец-Атаманов и без него вспомнил, что сам дал разрешение, и теперь весь кипел от злости. Он не проронил ни слова и повернул было назад, но Нина Георгиевна пожелала остаться.

— Я хочу еще раз послушать песню, которую вы на перроне пели. Не прогоните?

— Отчего же, места хватит, — ответил, помявшись, бунчужный, — и спеть можно.

— Ну, как вам угодно, — сказал Лец-Атаманов, саркастически усмехнувшись. — У меня нет времени, — и хлопнул дверью.

— Садитесь, пани, — по-хозяйски пригласил слесарь Кудря, ладонью смахнув крошки с дивана. — Песню мы вам споем после.

Нина Георгиевна заметила, что в вагоне были те самые казаки, которых она видела утром на перроне. Среди них тогда выделялся плечистый, с выразительными чертами лица и лукавыми глазами, уже знакомый ей слесарь Кудря. Он что-то рассказывал, и его внимательно слушали, а насмешливая ухмылка, какой они провожали командиров, говорила об общем к ним отношении. К их кружку, видимо, примкнул и бунчужный. Увидав опять всех вместе в вагоне, Нина Георгиевна поняла, что́ именно объединило их. Просьба послушать песню было первым, что пришло ей на ум, чтобы остаться среди этих казаков.

— Песню мы вам споем после, — повторил Кудря, — а вы сперва расскажите нам: что на белом свете творится? Вы же, наверно, читаете газеты, а мы здесь ни одной путной газеты не видим. Вы, может, слыхала, что там, в России?

Нина Георгиевна еще раз пытливо оглядела присутствующих: кроме Кудри и бунчужного, было человек пять — один с сорочьими глазами и в гимназической фуражке, другой с круглым, исклеванным оспой лицом, похожим на блин, остальные ничем не выделялись. Все они смотрели на нее с любопытством. Бунчужный тоже спросил:

— Как оно там с революцией в других землях-краях?

Нина Георгиевна виновато пожала плечами.

— Я, пожалуй, знаю не больше вас. Читала в газетах, что сперва только в Германии вспыхнула революция, а сейчас уже и в Австрии, и в Венгрии. А когда в Москве праздновали годовщину революции, их Ленин сказал, что мировая война приведет не только Россию, а всех к всемирной пролетарской революции…

— Значит, и нас не минет?

— Вы же, может быть, читали, что в Харькове уже давно образовалось советское правительство Украины. Уже будто бы и манифест объявило.

— О чем? — раздалось сразу несколько голосов.

— Что помещичья земля возвращается крестьянам…

У Лелеки загорелись глаза, и он весело подмигнул соседу.

— Рабочим — фабрики и заводы, — продолжала Нина Георгиевна, — восьмичасовой рабочий день… Но вы меня еще за большевичку примете.

— Кабы такие все большевики были, — вздохнул Лелека, — а то, сказывают, в портреты нашего Кобзаря стреляют.

Ему закивали головами и другие, только казак с сорочьими глазами сказал:

— Центральная рада тоже объявляла и про землю, и про заводы.

— На этот крючок не один из нашего брата поймался, — насмешливо согласился Кудря. — А хозяева не позволили: «Землицы — а гайдамаков не хотите?»

— А я так думаю — когда хозяевами будет сам народ, он и сделает то, что постановит. В России, говорят…

— Директория, может, тоже даст землю.

— Сказал пан, кожух дам. Словно в Директории не тот же самый Петлюра, что в Центральной раде был.

— Тогда немцы помешали.

— А теперь помешают Карюки. Найдутся охочие, пока они в силе. Вы смотрите в корень, какая у кого программа, на кого опирается? Ежели кулак, так продаст нас хоть черту, лишь бы ему была выгода.

— Я читала в русской газете, — сказала Нина Георгиевна, — нарком большевиков про Директорию писал, что старая самостийность на новый лад — самая удобная ширма для новой англо-французской оккупации Украины.

— О, я же говорил, вот и покупатель нашелся, — злорадно фыркнул Кудря. — Раз пишут, значит, соображение имеют. Такие кому попало на слово не поверят, хоть и кричи им, что мы социалисты. Говорят, многие из них по тюрьмам за революцию сидели. Имели время к нашим приглядеться. Так говорите, в

ихней газете? А нам, если и попадется какая газета, сейчас ее на курево. Да в наших про такое и не напечатают.

Беседа затянулась до самого обеда. Больше всех спорил казак в гимназической фуражке, но под конец и он начал соглашаться, что Петлюра и Винниченко своим пресмыкательством перед Антантой готовят почву для англо-французских оккупантов, и от этого на лице его все больше проступала растерянность.

Когда Нина Георгиевна осталась наедине с Кудрей, она сказала:

— Вот вы какой! Может быть, и в селах недовольны политикой нашей Директории?

— Сами, пани, видите, какими глазами смотрят на нас мужики. В самом деле, едим, пьем, у них же берем. А какая с нас польза? Вот, как подумаешь… — Он недоверчиво посмотрел на Нину Георгиевну и махнул рукой. — В Графовке, вот здесь рядом, если не нынче, так завтра тоже поднимется на нас народ. Я советовал бы вам, пани, перейти к начальнику станции, что ли.

9

Лец-Атаманов кипел от неудовлетворенного желания, голова у него шла кругом. Чтобы хоть как-нибудь развеять излишек бушующих сил, он приказал ординарцу седлать своего Аполлона.

Отъехав от станции на версту по дороге в село, Лец-Атаманов встретил крестьянские сани, в них сидели, кроме мужика, который правил, двое казаков и третий штатский. Казаки, заметив сотника, проворно выпихнули из саней штатского пассажира, и он в длинном и узком пальто теперь тяжело бежал за ними по снегу. В казаках Лец-Атаманов узнал своих телефонистов Березу и Богиню. В дивизионе эти имена стали уже одиозными, и он остановил сани.

— Куда ездили?

Богиня нахально поглядел в глаза сотнику и ткнул возницу в спину.

— Погоняй!

Лец-Атаманов крепче стиснул шпорами коня и уже крикнул:

— Стой! Я спрашиваю, куда и зачем вы ездили?

Богиня прищурил на сотника один глаз и, снова подтолкнув возницу, ответил:

— Говорю же вам — в разведку. Бунчужный посылал. Вот ночью мужики как дадут нам чесу, так язык сразу прикусите… Какой грозный! Мы тоже не из простых. Погоняй, чертов сын!

— Под арест! — крикнул Лец-Атаманов. — Я вам покажу! — и всадил шпоры в гладкие бока коня.

Конь рванулся и, распластавшись, полетел дальше над белыми снегами. Отступив в сторону, третий пассажир, черный как цыган, с вороватыми глазами, испуганно шарахнулся в сторону и только помотал головой.

Богиня нахально прикрикнул:

— Ну ты, гильдия дохлая, поскорей топай!

Третий пассажир, запыхавшись, наконец снова упал в сани.

— Чуть не задохнулся, — сказал он, утирая рукавом пот. — Сердитый! Видать, из тех, что палкой подгоняют нашего брата в атаку.

— А вашего брата много на войне?

— К чему гнаться за смертью, ежели она и сама не минует. У нас был один такой… А этот что за цаца?

— Подбоченился и думает, что пан, — сказал Береза. — Ты с санями останься пока за кустами.

Сани остались за купой боярышника, а казаки, озираясь, подошли к красному вагону с надписью «40 человек, 8 лошадей».

Двери вагона были отодвинуты, и на нарах из нетесаных досок сидели, спустив ноги, казаки. Посреди вагона дышала смрадом чугунная печка, а рядом, как рогатый жук, стоял пулемет «максим».

— Кавуля, ты здесь? — спросил Береза.

Вместо ответа рябой одноглазый казак выругался с нар и сплюнул на раскаленную печь.

— Ну, пошли. А где Смыцкий?

— А где вас до сих пор черти носили? — откликнулась в темном углу из-под шинели лохматая голова. С другого конца выпирали длинные и тощие ноги.

— А семь верст — тебе мало? Бунчужного не видали?

— В заднем вагоне что-то читает, и баба эта вчерашняя. Ух, брат, практикантка, видно!

— А что они читают?

— Ты не верти хвостом. Куда девал материю?

— Вот еще зануда! Говорю, отдам.

— Какую часть? — ответил хмуро Кавуля. — Пока не скажешь, и шагу не сделаю.

— Пес ты после этого… Знать, поджилки затряслись. Не хотите — не надо!

Трехэтажное ругательство, видимо, повлияло на казаков, потому что оба лениво подошли к дверям.

— Ну, гляди же, — сказал Кавуля, — я тебе не Лелека, меня нечего пугать шпалером. Держи!

Они передали один за другим пять тяжелых мешков, Богиня и Береза отнесли их за кусты боярышника к саням.

На все это глядел сорочьими глазами, полными затаенной злости, худощавый казак, сидевший верхом на пулемете. Он молчал, пока они не отнесли последний мешок, тогда чуть не со слезами проговорил:

— Зачем вы это делаете?

— А ты молчи, — вскинул на него свой единственный глаз Кавуля. — Тоже Христос нашелся! Дай ему, Богиня, конфетку, а то наш гимназистик еще заплачет.

— Вот моя конфетка, — ответил Богиня, хлопнув по кобуре. — Айда!

Но их остановил обозный казак Лелека с рябым, как гречневый блин, лицом.

— Куда это вы носите?

Богиня вытащил наган, ткнул ему под самый нос и спросил сквозь зубы:

— Нюхал?

От неожиданности обозник вытаращил глаза и разинул рот.

— И спросить уже нельзя?

— Нюхал, спрашиваю тебя, мать…? Так понюхаешь, если пикнешь хоть слово. Ступай себе, коням хвосты крути!

Обозник, как от привидения, попятился назад, а Богиня с остальными тремя телефонистами исчез за кустами.

Парень, которого пренебрежительно называли гимназистом, выглянул из вагона и плаксиво сказал:

— Слушай, Лелека, они продают наше сало. Что ж это творится?

— А ты почему молчишь? Почему ты не заявил полковнику?

— А ты нюхал револьвер? Нынче утром Чижик только кусок сала потянул у них, так и то чуть не убили насмерть. Я перейду в другой вагон, я не могу с ними.

Лелека задумался.

— Вагон не поможет. — Наконец на его крестьянском лице проступило решение: — Знаешь, что нужно сделать?

Но тут из-за кустов снова показались все четыре телефониста. Богиня что-то торопливо прятал за пазуху бекеши, Кавуля, вращая своим единственным глазом, держал его за рукав и сердито бормотал:

— А ты снова обдуришь?

— За онучу поднимать бучу? Там видно будет, — ответил Богиня. — А ты еще тут? — крикнул он Лелеке. — Живо ступай, позови мне Маркияна.

Лелека, оглядываясь на них, как на злых собак, отошел от вагона.

— Он по перрону гуляет с какой-то марухой, — сказал длинноногий Смыцкий, — я сейчас позову. И, глядя в просвет между вагонами, крикнул: — Эй, мальчонка, бегом сюда!

Старший разведчик Маркиан звякнул шпорами, козырнул своей восхищенной спутнице и под вагоном пролез на эту сторону.

— Маркиан, — сказал Богиня, — двух лошадей, мигом! И тащи сюда Ваньку Шкета. А ты, жлоб, все еще слюни пускаешь? — обратился он к казаку с сорочьими глазами. — Обожди малость — и ты подучишься.

— Вот это работа, хлопцы, не то, что в Знаменке. Животы надорвут со смеху. Вы только представьте себе, когда его накроют…

Парень с сорочьими глазами ничего не ответил. Он сидел на пулемете и о чем-то думал, наморщив узенький лоб, Может быть, перед ним разворачивались картины из романтических писаний Кащенка, а может, всего только жали новые казенные сапоги, сидевшие, как ступы, на его неуклюжих, как весь он, ногах.

Богиня подгонял хлопцев:

— Ну-ну, айда, айда! Ты, Маркиан, будешь за командира, а ты, Шкет, за ординарца, и сам не лезь, боже сохрани, а то я знаю тебя: сразу за манишку.

Шкет, с круглыми скулами, вздернутым носом и рассеченной бровью, хотя и неохотно, но согласился, и они верхом на лошадях скрылись вслед за санями.

Богиня подозрительно заглянул во все углы под нарами, потом командирским тоном приказал казаку в гимназической фуражке никуда не уходить и потащил за собой телефонистов в другой вагон.

— К Ваське, до того как вернется Маркиан.

— Ладно! Чего носы повесили, хлопцы, не дрефь, — сказал Береза, топая вдоль эшелона, — полковник нынче тоже загнал целый вагон грабель.

Они остановились у третьей двери. Вокруг чугунной печки кучкой сидели казаки.

— Ну что, хлопцы?

— Лезь сюда. Сказывают, замиренье скоро будет.

— Ну, пока будет замиренье, — вставил кто-то из казаков, — так большевики поспеют нам такого чесу дать, что и домой не доберешься.

— Ох и дают, ох и дают, — почесывая затылок, подхватил уже немолодой казак. — Сказать бы, обученные, а то ведь простые рабочие или наши же, сельские. А я не прочь, хоть бы и домой.

— Надоело, дядька Ничипор, что ли?

— Еще бы! Обратно же, сказывают, большевики будут землю давать.

— Сволочь вы, вот что! — вдруг сердито заорал на них казак в папахе с синим шлыком. — Недаром нам немцы говорили в лагерях, что мы темный народ. Они — и то заботятся о нашей матери-Украине, а вы только о своей хате думаете. Шкурники вы после этого, а не казаки!

— А мы хорошо знаем, как немцы заботятся о нашей матери-Украине. До сих пор ребра болят. Вот и расписку берегу за кабана, что забрали. Может, ты заплатишь?

Его перебил Богиня:

— Ша, хлопцы, сотник идет.

Телефонисты проворно юркнули под дощатые нары.

Сотник Лец-Атаманов соскочил с коня и, бросив адъютанту поводья, направился к перрону, но тут под ноги подвернулся делопроизводитель Чижик.

— Пан сотник, — угодливо заговорил он, — говорят, вы нынче дежурный?

— Опять клянчить пришел?

— Нет, я ничего, я так, от чистого сердца. Я сейчас отчет готовлю.

— И пришел чарку просить?

Чижик молча заморгал глазами над острым носиком.

— Я тебя, Чижик, в пехоту отправлю.

— Я ж только хотел вам сказать… Что же я хотел сказать? Ага, вас там дожидается один. Говорит, только к сотнику нужно.

Лец-Атаманов быстро зашагал в канцелярию, а Богиня и Береза вылезли из-под нар и кинулись к Чижику.

— Кто дожидается, слепота куриная?

Чижик апатически поглядел своими кроличьими глазками на встревоженного Богиню и, ничего не ответив, зашаркал валенками по снегу. Береза схватил его за плечо:

— Говори, Чижик чертов!

Чижик болезненно наморщил свое расписанное сизыми жилками лицо и бессильно ответил:

— Хоть бы одну рюмочку…

— Бутылку дам, говори!

— О, господи, я ж тебе говорю — черный весь, в пальте.

— Черный? Пошли к нам. Так что ж это, Маркиан промазал? Ну, я ему покажу.

10

Сотник Лец-Атаманов по дороге в канцелярию старался угадать, где может быть сейчас Нина Георгиевна. Если она в купе и одна, он нарочно не заглянет туда, а пойдет в канцелярию, а в канцелярию ему даже нужно зайти. Ведь там его кто-то ожидает. Но кто может здесь заявиться в их эшелон? Разве что поставщик какой-нибудь? Так завхоз и без него обошелся бы. А может, может?.. И Лец-Атаманов при этой мысли даже содрогнулся. Но почему ко мне, когда есть командир дивизиона. Или они знают, что я, по сути, такой же бедняк-пролетарий, как и они? Уж не перемирие ли? Сердце сжалось от радости. Может, в самом деле нас признает Антанта. Но, вспомнив беседу с дипломатической миссией, только горько вздохнул.

Занятый этими мыслями, Лец-Атаманов вспомнил наконец болтовню Богини об угрозах крестьян. Возможно, кто-нибудь пришел предупредить. Может, тот, что бежал за санями?

Но в канцелярии его дожидался человек, совсем не похожий на тех, о ком он думал. Этот тоже был в длинном пальто, у него тоже была густая борода, только уже седоватая, и на голове вместо шапки измятая шляпа.

В канцелярии с пулеметом «шоша» возился хорунжий Сокира. Он ткнул бородатого в бок стволом пулемета и сказал:

— Ну, показывай!

Бородатый отшатнулся от ствола и вытащил из-за пазухи или из бокового кармана замотанный в грязный платок листок бумаги, сложенный вчетверо.

— Вы будете командир? — спросил он с надеждой в голосе.

— Что вам нужно? — насупился Лец-Атаманов.

— Все говорят, что только вы и поможете. Вот нате, смотрите, кто я такой. Меня звать Самойло Беленький. А доля мне выпала совсем черная, — он криво усмехнулся. — На свою голову подрядился я закупить для кооперации вагон грабель и уже привез на Знаменку, только не успел сдать под расписку, а ваши казаки поинтересовались и прицепили вагон к своему эшелону. Скажите, кто мне поверит, что для войны нужны грабли? А теперь, Самойло, выкладывай денежки, какие доверила тебе кооперация.

— Так что вы хотите от меня?

— Пан старший командир, у меня там дома пятеро, как крупа. Разве они понимают, что сделали с их батькой? Им подавай есть. Я вскакиваю в другой поезд, нагоняю ваш, спрашиваю, где тут старший? А какой-то казак говорит: «Они

смотрят в карту на войну. Не мешай!» Жду день — не допускают. Наконец нашлась добрая душа, говорят — деловод, он к вам направил.

Сокира язвительно усмехнулся, но Лец-Атаманов взял у Беленького справки и перечитал их. Грабли действительно были закуплены для потребительской кооперации. Вспомнив, что вагон стоит уже пустой, он наморщил лоб и ответил:

— Убирайся к черту!

— Я жду уже два дня, а меня ждут дети, так я лучше вернусь к детям. А вам только сказать: «Господин машинист, выбросьте этот вагон», — и все.

— Говорю тебе — убирайся к черту! — уже угрожающе поднял голос Лец-Атаманов.

— Это мы и при царе слыхали. Я пойду себе на станцию. Раз вы не против, так и начальник станции скорее согласится, — и он, спотыкаясь на рельсах, побрел на перрон.

Чижик, довольно чмокая губами, уже с покрасневшим лицом, трусил в канцелярию. Заметив на перроне Самойлу Беленького, он остановился, поморгал кроличьими глазами и затрусил назад. В это время Богиня и Береза забрасывали в вагон, где стоял «максим», тяжелые мешки, которые двое других выносили из-за кустов боярышника. Маркиан и Ванька Шкет с видом победителей привязывали к вагонам своих лошадей, от которых шел едкий пар.

Чижик еще издали закричал:

— Он уже на перроне!

— Кто он?

— Тот, с бородой.

— Тот, да не тот, — спокойно возразил Береза, — наш не вернется. Верно, хлопцы?

Маркиан хватался за бока и сквозь смех выплевывал слова:

— Арестовать, говорю, и немедленно контрибуцию думскими или керенками. А Шкет как заорет: «Слушаюсь, — говорит, — ваше превосходительство». Как заревет тогда лавочник — и на колени… Еще пару керенок добавил. Только, говорит, чтобы по-хорошему. Так Шкет его с версту гнал до села. Теперь сюда нос показать побоится.

— Значит, ты, Чижик, убирайся к черту, — сказал Богиня.

— А деньги?

— Слыхал же, наш и десятому закажет, как скупать краденое!

— А ты что говорил? Только скажи, мол, когда выйдет, а там уже Шкет справится.

— Дай ему, Береза, один разок хлебнуть из бутылки, а второй раз — по затылку.

Чижик дрожащими руками, как младенец к соске, присосался к бутылке.

Парень в гимназической фуражке не сводил колючих глаз с телефонистов. Богиня наконец обозлился:

— А ты, жлоб, чего зенки выпялил? Сала захотел, что ли?

— Сами жрите его, бандюги! — сердито огрызнулся парень. — Называетесь — защитники Украины. Что подумают про нас крестьяне?

— Начхать нам на твоих мужиков. А ты разве не награбленное ешь? Думаешь, нас твои мужики по доброй воле снабжают? Поезди с фуражирами, послушай, как воют бабы по своим коровкам. А нам что — нынче здесь, завтра — там!

— Бандиты вы, а не казаки!

— Сам ты дерьмо! Разинул пасть. А ну, марш проверять телефон, пока твоя самостийная морда цела.

Парень с искаженным от бессильной злобы лицом вылез из вагона и пошел слоняться по путям.

Над далеким белым простором серым войлоком туманился тихий день. Кучка крестьян, как в глубокой траншее, расчищала железнодорожную колею от заносов. Белые швырки снега с лопат, как голуби, взлетали вверх и бесшумно падали на пухлые вороха снега. Вокруг стояла мертвая тишина, хотя на станции тоже топтались крестьяне в желтых кожухах и драных свитках. Они робко подходили к орудиям и как бы между делом спрашивали:

— Может, опять на немца?

— Они, пожалуй, сами за немца.

— А какая ваша армия?

Парень с сорочьими глазами, с нотками обиды в голосе, ответил:

— Такая же наша, как и ваша.

— Может, Петлюрина?

— Украинская, а не Петлюрина.

— А гетманская же какая была? Мутят народ, дармоеды. Старого прижима, видать, захотели? Хоть бы уж вас поскорей большевики выгнали!

— А ты разве не украинец? Пускай, значит, москаль правит!

— Сказывают, и пан Родзянко — украинец, да не нам родня.

К ним подошел Кудря, апатично лузгая семечки.

— Что, мужики, надоело панов возить на своих спинах?

— И вас с ними, — ответил тот же крестьянин.

— И дальше повезете, коли не поумнеете.

Мужик от удивления даже рот раскрыл.

— Хорошее дело, — сказал он уже в спину Кудре.

Парень с сорочьими глазами, как видно, все больше

убеждался, что идея реставрации былых гайдамацких вольностей и казацких обычаев, в жертву которым он принес свою молодость, свой пыл, была подорвана окончательно и никого уже не интересовала. Его армия была чужой для тех, чьим именем прикрывалась. Они ждали армию, которая прогоняла помещиков, раздавала крестьянам землю, а рабочим — фабрики и заводы. А будешь ли ты носить широкие штаны или в дудочку, это безразлично.

Он злобно поглядел на крестьян и повернул назад к своему вагону, но по дороге к нему как-то боком подошел крестьянин, весь точно обложенный истлевшими лохмотьями, а не одетый в свитку, и с надеждой спросил:

— А скоро ли красные придут, сынок?

Парень даже съежился и бегом кинулся к эшелону. Команда телефонистов с Богиней во главе, весело перекликаясь, шла по тропинке за станцию, где маячил в снегу домик сторожа. Каждый из них что-то нес под полой, стараясь, чтобы не было заметно.

У самого вагона нагнал его Лелека. Он оглянулся по сторонам и зашептал:

— Ну, а я обо всем рассказал Лец-Атаманову.

— О чем?

— О наших бандитах, и о том, как они в Знаменке забрали мануфактуру, и про сало, которое снова хотят продавать, про все их художества. Я больше не хочу терпеть. Мы будем тут страдать, а они, воры, будут наших отцов грабить? Если не обратят внимание, я, я…

Голос его задрожал, и он поспешно отвернулся.

— А что же сотник? — спросил, тоже взволнованный, парень с сорочьими глазами.

— Ну, что ж, говорит, проверим, разберемся. А они проведают, да еще пулю нам в спину всадят. Я не могу, я буду говорить с хлопцами. Ежели так, так нужно самим.

— Давай пойдем еще к полковнику.

— А полковнику разве болит? Говорят же, что вагон грабель продал, а записку взял, будто подарил для кооперации.

Из вагона высунулся слесарь Кудря в ватнике. Он, должно быть, слышал их разговор, потому что, когда они двинулись дальше, окликнул:

— Эй, хлопцы-молодцы, зайдите-ка сюда. — Заметив их смущение, добавил: — Да не бойтесь, я вам не сотник, из одного с вами теста слепленный. Мобилизованные?

— Ну да, — ответил Лелека, — говорили, против гетмана.

— На этот крючок Петлюры поймали не одного из нас. Здесь больше никого нет. Садитесь! В ваш вагон не подкинули такую

бумажку? — и он показал листовку, так испугавшую Лец-Атаманова. — А нам кто-то подкинул.

— Должно быть, из второго эшелона, — сказал Лелека. — Нам тоже. А что это такое?

— Большевистская прокламация, — сказал пренебрежительно парень в гимназической фуражке.

— Тебя Калембетом звать? — спросил Кудря.

— Калембет, а что?

— Панская какая-то фамилия. Батька что делает?

— Продавцом служит в украинском книжном магазине.

— Честно зарабатывает свой кусок хлеба?

— Понятно, честно.

— А те, у кого фабрики, заводы, шахты, — они тоже честно зарабатывают деньги?

— Ты думаешь, я не понимаю, что такое эксплуатация, капиталисты?

— И подставляешь за них свою голову.

— А ты?

Кудря покраснел до самых ушей.

— И я был такой же дурень.

— Я за Украину, а не за них.

— Ты вдумался в то, что написано в этой листовке?

— Ну?

— Выходит, есть две Украины, одна — это народ, твой батька, мой, Лелеки, которые живут со своего труда. Они знают, что и по ту сторону границы живут такие же труженики, как они сами, и никогда им даже в голову не придет воевать между собой. Зачем? Им нечего делить. А есть еще другая Украина — тех, кто нанимает Петлюр, чтобы они воевали за их фабрики и заводы. Таким, как Лец-Атаманов, «самостийная» мозги затуманила. Вот такие и нужны капиталистам. Сегодня он готов принести в жертву нас с вами, а завтра поведет на базар всю Украину ради своей мечты. Наша страна очень богата, а народ живет бедно. Почему? Выходит, все прибрали к рукам капиталисты разных мастей — и французские, и бельгийские, и английские, и наши. Пишут, и американские уже приценяются. А большевики им говорят: «Ступайте к чертовой матери! Довольно вам, чертовы буржуи, грабить народ!» А где вы видели, чтобы капиталист так легко поступился своими барышами? Вот тебе, Калембет, вот тебе, Лелека, оружие; вот вам пушки. Хотите «самостийную?» Нате вам гетмана с булавой. Не хотите гетмана, нате Петлюру, он еще похуже, только воюйте с Россией, бейте ихних и своих большевиков, разгоняйте Советы рабочих и крестьян. Не хотят честные идти против большевиков, выпускайте из тюрем Берез,

Богинь, Кавуль — лишь бы только воевали, не то плакали наши денежки!

— А ты? Ты тоже воюешь? — возразил Калембет, насупившись.

— Поумнеть, хлопец, никогда не поздно, — ответил несколько смущенный Кудря.

— Вот видите, куда оно идет, — почесал затылок Лелека. — А мы прочитать прочитали, а толком не разобрались. «Продает Петлюра!» Брехня, думаем, неужто мы не узнали бы, кабы это была правда. Вот когда полковник продал грабли, так мы знаем даже, за сколько. А оно вот что!..

Калембет больше ничего не сказал, а когда вышел из вагона, молча направился в канцелярию.

В канцелярии никого из командиров не было. Сидел только один Цацоха, прислуживавший в офицерском собрании. На вопрос Калембета, где пан полковник, он махнул рукой на окно:

— Все там, у начальника станции.

11

Лец-Атаманов пришел в домик за станцией, когда все остальные уже сидели за столом. Он был уверен, что Нина Георгиевна тоже здесь, но ошибся, — среди гостей начальника станции ее не было. Не было и в купе. Спрашивать же о ней у командиров он не решился и хотел уже повернуть назад. Но его схватили за руки и усадили за стол, ломившийся от всяческой снеди и напитков. За столом были все свои и еще двое посторонних. Один, в форме железнодорожника, видимо из соседнего эшелона, успел уже напиться, смотрел на командиров мутными глазами и с глупой улыбкой повторял: «Железяку на пузяку — гоп!» У другого был вид захудалого служащего. Оказалось, это был петлюровский уездный комиссар, приехавший на станцию за новостями. Усадили его рядом с полковником Забачтой. Уездный комиссар почел это за великую честь и то и дело обдергивал на себе пиджачок. Наконец попросил слова.

— Я не ожидал, панове, — начал комиссар, робея, — что сегодня мне доведется быть в компании наших славных рыцарей, которые не на словах, а на деле защищают от врагов нашу мать-Украину. Мне до слез радостно, что я нахожусь сейчас среди таких же истинных украинцев, как я сам.

Капитан с Георгиевским крестом на френче прикрыл ладонью рот и кашлянул в свою рюмку, а полковник Забачта поспешил закурить папиросу. Комиссар между тем перешел на славных гетманов, которых советовал брать теперь в пример. И когда наконец выкрикнул: «Душу, тело мы положим за мать-Украину…» — глаза его от волнения подозрительно заблестели.

Пьяный железнодорожник снова промычал:

— На пузяку, гоп!

Вторым слово взял сотник Рекало. Он откашлялся, попробовал голос и на манер проповеди произнес целую речь. Уездный комиссар слушал, набожно склонив голову, но, услыхав, что не только среди казаков, а и среди командиров довольно много неукраинцев, поспешно поднес рюмку к глазам и начал внимательно разглядывать содержимое, а Рекало торжественно поклонился полковнику Забачте и продолжал:

— Вот хотя бы и наш дорогой полковник. Он хоть и орловский, но, побывав в руках Красной Гвардии, готов поклясться, что с Директорией дело иметь лучше. Она не спрашивает, на каких фонарях вешал бы полковник самостийников, если бы возвратился любезный его сердцу царизм. Или вот лейб-гвардии его императорского величества

капитан Трюковский, — продолжал Рекало. Сухой, костистый капитан с бритым черепом и тонкими губами кольнул его острыми глазами и нервно задергался. — Этот тоже, если вернется «единая неделимая», не забудет нашей ласки и прежде всего заявит: «Не было, нет и не будет украинского языка…»

— Гоп! — буркнул, уже уткнувшись носом в тарелку, железнодорожник.

Кое-кто начал пожимать плечами и удивленно поглядывать то на железнодорожника, то на Рекала, а он уже перешел к адъютанту:

— Разве он виноват, что его славное войско гетманское, стерли с земли украинской, а в цыганские атаманы он еще не вышел. И только наша высокогуманная армия могла понять трагическое положение офицерства царской армии и без различия веры, пола и происхождения позволить им приложить свои руки к святому делу освобождения матери-Украины от… от их же ярма.

Комиссар успел рассмотреть рюмку со всех сторон, полковник Забачта закурил уже вторую папиросу, а адъютант Кованый уже дважды спросил:

— Ты что, по уху захотел?

Но Рекало продолжал:

— Я заканчиваю. Наш эшелон, панове, — это маленькая единица, и таких единиц бродит сейчас но Украине сотня, а может, и больше. Если сложить их вместе, то перед вами и будет национальная армия Директории. Единственное, что от нас требуется, — доказать, что мы казацкого рода, пьем горилочку, как воду…

Общее замешательство развеяла черная голова в шляпе — она осторожно просунулась в дверь и еще осторожнее спросила:

— Можно? Прошу прощения, мне два слова. Так, выходит, грабли…

Он не успел закончить, как Сокира молча схватил со стола стакан и швырнул ему прямо в голову. Стекло вдребезги разлетелось по эту сторону двери, а голова забормотала уже по ту сторону:

— Так я могу обождать.

Пищимуха с посоловевшими глазами бросился на хорунжего, но адъютант отдернул его и стукнул стаканом:

— Пей!

— Не буду! Вы хотите сделать из меня второго Чижика. Чтоб я убивал, не спрашивая? Не буду пить!

— Пей, все равно когда-нибудь повесят.

— Я еще сам тебя повешу!

После пятого тоста адъютант Кованый, растирая широкой ладонью по колючему подбородку масло, вытащил к столу хозяйку и насильно усадил к себе на колени.

Начальник станции, ошалевший поначалу при виде таких высоких гостей, а теперь — от ускоренного наступления на его супругу, с растерянной улыбкой пытался вырвать ее из пьяных рук.

— Вам бы девочку…

— Мы люди не требовательные, — возразил старший Карюк и ущипнул хозяйку за то место, под которое силился подсунуть и свое колено капитан Трюковский.

Комиссар, который все убеждал спеть «нашу холостяцкую», вдруг откинулся назад и, словно у него горло стиснуло клещами, завел: «Во Иордани крещается тебе, господи…» Не на тот глас! — И он помотал в отчаянии головой. — «Тяжела ты, безотрадна, доля бедняка», — и, наклонившись к старшему Карюку, чмокнул его в щеку.

Карюк стер поцелуй корочкой хлеба и тихо спросил:

— Неужто-таки никак нельзя вернуться домой?

— Всех сплошь режут. Раз ты украинец или увидали на стене Тараса Григорьевича — амба!

— Да, господи, какой из меня украинец? Ну, Андрюшка — это сынок мой — у себя там, в семинарии, нахватался мужицкого духу, а я разве что песен попеть…

— И за то, чтоб песен попеть, — к стенке.

Карюк вздохнул.

— Хуторка жалко. Без хозяина, сами знаете, расползется все.

— Были хуторки, теперь — амба! — замотал головой комиссар. — От земли возидоша, в землю изыдеши.

— Мы их с горлом вырвем! — выкрикнул молодой Карюк и брякнул стаканом о стол. — Бей большевиков!

— Стреляй их! — заорал хорунжий Сокира, черный, озверелый, и всадил пулю в самовар.

Пуля прошла сквозь кипяток и, как ошпаренная, пролетела по комнате. По дороге ей попался буфет, потом дверь и, наконец, в соседней комнате — колыбель с ребенком. Хозяйка завизжала не своим голосом. Кипяток через дырочки, струйками, исходя паром, лился на стол. Младший Карюк, восхищенный таким зрелищем, всадил в самовар еще одну пулю.

Пищимуха схватился за карабин.

— Черная смерть! — но его уже подмял под себя адъютант Кованый.

Пока под столом шла молчаливая борьба за карабин, в комнату ворвалась, как ураган, растрепанная, в растерзанной

кофте женщина и, кидаясь то к столу, то к окнам, закричала:

— Спасите, караул, убивают!.. Ой, людоньки, всю печь развалили, старику голову разбили, спасите!

Полковник схватил ее за руку.

— В чем дело, сударыня, чего ты кричишь?

— Режут! Ой, ваше благородие, я же пустила ваших солдат как людей, а они в печь накидали патронов. Слыхали? Да разве это порядок, анафемские вы души, чтоб в печь патроны?

— Спокойно, мадам!

— Какая я тебе мадама, у меня муж законный!

— Мы тоже законные. Садясь к столу…

— Какие вы законные, ежели ваши бандиты гоняются вон там за явреем по станции. Ой, людоньки, спасите! — И она, схватившись за голову, выскочила из комнаты с криком: — Караул, люди добрые, спасите!

Лец-Атаманов все время сидел молча. По мере того, как он пил, лицо его все больше кривилось, багровело и наливалось злой, раздраженной кровью. Когда женщина выскочила из комнаты, он встал, отбросил стул и молча вышел.

На дворе стояла уже зимняя ночь. В синем небе мерцали искрами звезды, а под ногами пронзительно скрипел мерзлый снег.

От Знаменки уже отчетливо доносилась канонада. Артиллерия могла теперь принимать участие в боях только с бронепоезда. У Лец-Атаманова мороз прошел по коже. Канонада настойчиво напоминала о безвыходном положении, в каком очутился не только их дивизион, а вся армия.

Вслед за сотником вышли из дома и другие командиры, наполнив тишину пьяными голосами. На станцию сбегались какие-то люди. Кое у кого за плечами торчала винтовка, другие были с кольями. Между ними толклись и некоторые казаки.

Лец-Атаманов понял: если не будут наказаны публично хулиганы и воры, может вспыхнуть восстание в окрестных селах, а то и в самом дивизионе. Полковник Забачта был пьян, да к тому же все ему было безразлично, и сотник решил действовать на свою ответственность. Вбежав в канцелярию, Лец-Атаманов вызвал младшего Карюка, который сегодня был дежурным по дивизиону, и приказал немедленно допросить всех, кто был у сторожа.

Отдав приказание, он немного успокоился. Вино еще бурлило в жилах, и Лец-Атаманов, представив себе, как будет удивлена Нина Георгиевна, злорадно усмехнулся. «Так и скажу: вы в этом виной. Я больше не могу. Ваши глаза, ваша улыбка, ваши белые руки, ваши пышные… Я должен ощутить их возле себя, в себе. Вы

это должны понять и не просить меня, не умолять, не кричать, все равно я завтра или послезавтра, может быть, сложу голову, но сегодня я хочу испытать наслаждение…»

— Дома Нина Георгиевна? — спросил он у Цацохи, который подметал коридор.

— Только что вышла куда-то с бунчужным, — ответил, облизываясь, Цацоха. — Ох и барынька, у-у-ух. Вот бы нам с вами такую!

Лец-Атаманов распалился еще больше. Казалось, повстречайся ему сейчас Нина Георгиевна, он бы просто раздавил ее в своих объятиях, затоптал ногами в снег и целовал каждую частичку этого белого, терпкого, как вино, тела, пока не упился бы до беспамятства.

«А бунчужный, пожалуй, песнями угощает», — подумал он, криво усмехаясь.

Все командиры прошли во второй вагон, откуда доносились звуки скрипки. Лец-Атаманов тоже направился, было туда, но его нагнал младший Карюк. Он был испуган и еще с порога закричал:

— Сам иди их допрашивай! Насилу убежал!

— В штаны наделал! Тоже мне вояка! Только пить умеете.

— А если они за пулемет схватились?!

Лец-Атаманов быстро вошел в командирское купе. Усевшись за стол, на котором стояла бутылка, командиры уже весело шлепали картами. Чижик играл что-то печальное и тревожное.

— Панове, — сказал Лец-Атаманов сердито, — мы так доиграемся до бунта. Казаки уже за пулеметы хватаются. Пан полковник, прикажите сейчас же арестовать зачинщиков!

Забачта пьяно ухмыльнулся.

— Вы же хозяин.

— К черту ваше кривляние!

— Арестовывайте хоть весь дивизион. А-а, позвольте, за что? Вам налить?

— Вы же слышали, за пулемет хватаются.

— Какой, где?

Лец-Атаманов раздраженно махнул рукой:

— Пошли, Карюк!

Они направились к вагону телефонистов. Возле него толпились казаки. Видимо, заметив сотника, из гурьбы вышла Нина Георгиевна. Она была встревожена, но старалась не показать этого.

— И вы здесь? — удивился Лец-Атаманов.

— Безобразие! — проговорила она, стрельнув сердитыми глазами на бунчужного.

Тут же топтался и Кудря. Оба они были озабочены и,

казалось, чувствовали себя в чем-то виноватыми. В вагоне, похабно ругаясь, возились с пулеметом Кавуля и Смыцкий. Теперь Нина Георгиевна с оскорбленным видом обратилась к сотнику:

— Возвращаюсь с прогулки, а они опять… Женщине здесь шага нельзя ступить. Такая армия?

— Кто?

— Те же самые. Если бы не ваш бунчужный, вряд ли и спаслась бы.

У Лец-Атаманова даже в глазах помутилось: какая-то босячня осмеливается наравне с ним ухаживать за такой женщиной, как Нина Георгиевна.

— Сейчас мы положим этому конец. Что вы делаете с пулеметом?

— Заело, — ответил бунчужный. — Дармоеды чертовы. Даже пулемет не могут содержать в исправности.

— А почему он здесь? Забери к себе в вагон!

— Нема дурных, — возразил Кавуля.

— Смирно! — громче, чем нужно, крикнул Лец-Атаманов и выхватил револьвер.

Громкая команда, подкрепленная револьвером, невольно подействовала на Кавулю, Березу, Богиню и Смыцкого, бывших в вагоне. Они оставили пулемет и вытянулись, Карюк воспользовался этим и проворно стащил пулемет на землю.

— Под арест! Бунчужный, удвоить караул! Ведите на станцию!

— Давно пора! — послышалось несколько голосов.

Арестованные уже не буянили, а, только криво усмехались, удивляясь, должно быть, тому, что против них сразу поднялся чуть ли не весь дивизион.

— Кто они? — спросила Нина Георгиевна, возвращаясь с сотником к своему вагону.

— Босячня! — коротко ответил Лец-Атаманов. Он тяжело дышал и, казалось, чего-то не мог понять. — Карюк, ты сам присмотри. Поведение бунчужного… Ни на кого нельзя полагаться. Понял?

Нина Георгиевна, видимо, почувствовала, что он при ней чего-то недоговаривает, укоризненно сказала:

— А зачем таких держать в армии? Ведь это просто уголовники, а не солдаты.

— Они и пришли к нам из тюрьмы, — ответил Карюк.

Лец-Атаманов сердито вскинул на него глаза:

— Ничего не бывает без «но».

Опять послышались далекие разрывы. Они становились с каждой минутой явственнее, из степи уже долетал скрип обозов,

которые тоже тянулись на запад, а эшелоны, казалось, навеки примерзли к рельсам.

— Мы когда-нибудь сдвинемся с этой проклятой станции? — спросила Нина Георгиевна, когда они вернулись в вагон. — Зачем я потратила день? Пан сотник, дайте лошадь съездить в село. Я найму там подводу.

— Нет, мы вас не отпустим, — игриво ответил сотник. — Завтра кончат расчищать путь.

— До завтра нас может нагнать бронепоезд.

Лец-Атаманов помрачнел.

— Пехота отходит с боем. У нас тоже есть орудия.

— Может, мне лучше в местечке переждать?

— До местечка, говорят, верст шесть.

— А вы придумайте какой-нибудь предлог и проводите меня.

Лец-Атаманов криво улыбнулся.

— Нина Георгиевна, дорогая, для вас я готов на все, но… Состав может двинуться в любой час.

— Все зависит от желания, дорогой… Простите, как вас зовут?

— Петр Маркович.

— От желания, дорогой Петр Маркович, — сказала она, прищурив глаза.

И этот взгляд, задержавшийся на нем, и ласковое обращение были для Лец-Атаманова неожиданностью. Он даже растерялся, но только было собрался перейти на интимный тон, как в коридор вбежал запыхавшийся младший Карюк и выкрикнул с удовлетворением:

— Арестовали! Заперли в ламповой на станции. Идемте. Сейчас совещание будет, что с ними делать?

— Расстрелять! — сказал Лец-Атаманов, обозленный тем, что из-за них он и сегодня вынужден покинуть Нину Георгиевну.

12

Полковнику Забачте все еще было безразлично — кого и за что арестовали. Совещание созвать он согласился только после настойчивых домогательств старшего Карюка, который боялся, что арестованные сбегут из-под ареста и прикончат сына.

Первым слово взял сотник Рекало.

— Я считаю, панове, — сказал он, — над бандитами мы должны устроить экстренный полевой суд. Поелику в нашей республике еще не выработаны надлежащие кодексы и даже самое положение о полевых судах, давайте придерживаться старинных национальных обычаев и современной техники. Суд, ввиду опасности, начать немедленно и о результатах довести постфактум до сведения штаба корпуса.

— Согласны! — закричали все.

— Согласен! — сказал и Лец-Атаманов. — Только поскорей. Наши отошли уже, пожалуй, к Казарной. Надо сейчас же и судей избрать.

В состав суда избрали Рекала, Лец-Атаманова и Кованого.

Толпы казаков и служащих из обоих эшелонов ходили по перрону и высказывали одни — восхищение, другие — возмущение. Все это смешивалось в один сплошной тревожный гул.

Опасаясь, что арестованные казаки не признают самочинно избранного суда, Лец-Атаманов предложил провести всю церемонию подчеркнуто официально, поэтому, когда началось заседание в кабинете начальника станции, первого арестованного — Березу — привели под конвоем четырех казаков с шашками наголо. Рекало, все в том же плане, начал задавать вопросы слишком издалека и так запутанно, что Береза, фамильярно закурив цигарку (суд растерялся: никто не знал, можно ли подсудимому курить?) и выпустив на стол дым, не выдержал и бесцеремонно перебил:

— Развел антимонию, вроде мы отпираемся. Я и сам скажу — брали, продавали. На других глядели и сами делали то же. Целые города, целые земли забирают… Или возьмем деньги. Вы расплачиваетесь гривнами, которые ничего не стоят: бумажка раскрашенная, и все, разве это не грабеж? Да еще человека застрелили… А три вагона, которые вы украли в Знаменке…

— Я вас призываю к порядку, — перебил Лец-Атаманов.

— Какой же это, к черту, порядок? Много — можно, а мало — грех? Полковник Забачта положил к себе в карман за грабли целую тысячу.

— Мы про вас спрашиваем…

— А коли хотите про нас знать, так мы всего за сто целковых продали. Вот те крест! А нашелся бы еще такой дурень, еще сотню взяли бы. Таких не жалко, сами хотят погреть руки на чужом. Так это бы вроде вор у вора, а вы у кооперации цапнули. Нам — и то совестно.

Рекало, обиженный, что его бесцеремонно перебили, снова начал задавать вопросы:

— Нет, вы скажите, поскольку я официально спрашиваю, где, с кем, что и сколько вы награбили?

— Чего там грабили? Брали, что плохо лежит. Ну, уж если вам так хочется знать, слушайте. В Полтаве мы больше барахолили по церковным чашам и дароносицам. Все равно бога теперь за штат вывели. В Кременчуге немножко мануфактурой поживились, в Кобеляках достали товара на сапоги, а в Потоках — каракуль. Вот и на вашей бекеше, пан Кованый, воротник из знакомого нам каракуля. Мы честно делимся, не так, как вы.

Лец-Атаманов закусил губу, остальные приняли это равнодушно.

Рекало уже не успевал записывать, а Береза с прежним цинизмом продолжал называть новые и новые города и местечки, где они грабили все, что только попадалось.

— И вам так легко уступали свое добро?

— Это как когда. Бывало, и придушить случалось.

— Вы знали, какая мера наказания за это бывает?

— Так ведь сейчас война. Вы же приказываете нам в противника стрелять, и стреляем, убиваем, а он мне, может, и не противник. Отчего же вы за это меня не судите? Еще и хвалите. А разве буржуй не противник? Торговый капиталист?

Рекало устал уже спрашивать и охотно уступил очередь Кованому. Адъютант спросил только, почему Береза и его приятели не подчинились, когда их хотел допросить Карюк, даже хотели оказать вооруженное сопротивление? С прыщеватой физиономии Березы понемногу сошло наглое выражение, он, прищурясь, поглядел в окно, потом пренебрежительно — на судей и, как бы пересиливая себя, ответил:

— Да! Если б не заклинило патрон в пулемете, может, за столом уже сидел бы кто-то другой, а вы стояли бы на моем месте.

— Что вы хотите этим сказать? — насторожился Лец-Атаманов.

— Да ничего особенного. Вы ведь сами видели, кто возле вагона вертелся. А я не доносчик. Задумано было хитро, и нам на

руку.

— Казаки хотели бунт поднять? Вы это хотите сказать?

— Это к нашему делу не относится. Это уж политика, пан сотник. Мы тоже в законах разбираемся. Раз вы против царя, значит, и против его законов, а своих еще не придумали. Вот и выходит — нет у вас права судить нас. Постращать — пожалуйста. Только мы уже пуганые.

— Кто вас подбивал? — допытывался Лец-Атаманов.

— Говорю же, это к нашему делу не относится.

Больше ни на какие вопросы Береза не захотел отвечать.

Не выдали никого и остальные арестованные, а от грабежей не отрекались, как и от того, что с пьяных глаз устроили погром в квартире станционного сторожа.

— Вы позорите нашу армию! — выкрикнул Лец-Атаманов.

— По Савке и свитка, — ответил Кавуля, которого допрашивали последним.

Наконец суд ушел совещаться. Виновность подсудимых во многочисленных грабежах и даже убийствах была доказана.

По поводу этого никаких споров не было.

— Какой же приговор?

В голову Лец-Атаманова назойливо лезли мысли о развале армии Директории, ради которой он столько выстрадал, к тому же из соседнего эшелона донеслась тоскливая песня: «…Вернись, сину, додомоньку, змию, зчешу головоньку…» Гнев, безвыходность, отчаяние обожгли ему мозг, и он истерически закричал:

— Расстрелять!

Остальные удивленно переглянулись, но возражать не стали. О поведении бунчужного и Кудри решили посоветоваться еще с командирами. Приговор над осужденными постановили привести в исполнение этой же ночью. Рекало заскреб в затылке.

— А кто же будет расстреливать?

— Как, кто? — раздраженно ответил Лец-Атаманов. — Казаки!

— А если откажутся?

— Тогда кто угодно, хоть бы и ты.

— А почему не ты?

— Может, спорить начнем?

— Даже спорить не желаю. Кто хочет — пускай стреляет, а я к такой работе не привычен.

— И тебя расстреляем!

Приговор подсудимым читал с каменным лицом Лец-Атаманов. Текст был пересыпан словечками вроде «понеже» и «поелику» и так уснащен упоминаниями о «запорожских

традициях», что мог, казалось, на любого произвести сильное впечатление. У младшего Карюка сразу глаза заблестели. Не произвел он никакого впечатления только на подсудимых. Даже услышав о мере наказания, они и тогда — кто презрительно сплюнул сквозь зубы, кто оттопырил губу.

Лец-Атаманов, ожидавший естественной в таких случаях реакции, растерялся, утратил торжественный вид, и, напутствовав осужденных грязным ругательством, отправил их назад в ламповую комнату.

Известие о приговоре быстро облетело весь эшелон, и казаки, как взбаламученное море, забушевали по всей станции.

— Чижик, что там болтают? — спросил Лец-Атаманов, позвав его к себе в купе.

— Да разве их разберешь? Одни говорят — в самом деле расстреляют, а другие говорят — черта с два.

— То есть?

— Никто не захочет.

— А ты?

— Что вы, пан сотник? Я не знаю даже, откуда винтовка заряжается.

— А если мы тебе будем давать по бутылке на день?

— Что вы, что вы, пан сотник? Да пускай она сгорит, я ее больше и в рот не возьму.

— А такую видал? — и сотник поболтал перед его носом бутылкой с янтарной калгановкой.

Чижик заморгал глазами, зачмокал губами и уже умоляющим голосом сказал:

— Пан сотник, что угодно, холуем буду, вором для вас стану, только не делайте из меня палача. Я через эту проклятую водку человеческий образ и подобие потерял, а ведь был когда-то человеком. Два факультета окончил.

— Врешь!

— Вот видите, я и сам уже перестаю в это верить. Что вы хотели сказать?

— Ты, конечно, видел прокламации, которые появились среди казаков?

Чижик закивал головой.

— А давно они появились?

— Кто?

— Прокламации.

— Да разве я их видел? Что вы, пан сотник, за дурака меня принимаете? Выспрашиваете и выспрашиваете. Никаких прокламаций я не видел и не знаю.

Лец-Атаманов налил стакан калгановки и отвел руку в

сторону.

— Ну, говори, у кого видел? Может, даже знаешь, кто их подкинул, тогда целую бутылку налью.

Чижик посмотрел больными кроличьими глазами на калгановку, потом на хищное, как-то заострившееся в каждой черте лицо сотника и, весь передернувшись, пошел из купе, тихо бросив:

— Не знаю.

— Ах ты ж…

И сотник, закончив крепким ругательством, с силой швырнул в спину Чижику стакан с калгановкой. Янтарные струйки потекли среди осколков стекла по полу, а Чижик, весь дрожа, с мокрой спиной, как побитый пес, поплелся за дверь.

13

Уже близилась полночь, когда командиры всего дивизиона снова сошлись на совещание. Дело с осужденными осложнялось, — как и думал Рекало, казаки дивизиона начисто отказались исполнить приговор, а среди командиров тоже не нашлось смельчака. Даже бывший пристав Светлица отрицательно качал головой. Розгами отстегать, даже на смерть забить — он соглашался. Все были уверены, что в крайнем случае приговор исполнит сотник Лец-Атаманов, однако он загадочно молчал. Даже почему-то улыбался про себя. В глазах у него заметно было какое-то нервное возбуждение, как перед сюрпризом, только ему известным. Адъютант Кованый напомнил о намеках Березы.

— Бунчужного тоже нужно арестовать, — категорически сказал Лец-Атаманов. — И Кудрю, слесаря! Мне сдается, это они мутят дивизион.

— Кто, Натура? — удивился полковник. — Вы еще не знаете этого служаки. Позвать его сюда!

Бунчужный Натура когда-то служил в артиллерийском полку вместе с Забачтой, который был еще только командиром взвода. Забачта его почти не помнил, но искренне обрадовался, узнав, что Натура — однополчанин. Пожалуй, это было единственным, что связывало его с молодостью, с беззаботным житьем офицеров царской армии. Ему уже казалось, что для Натуры он был тогда «отцом благодетелем» и что бунчужный об этом не забывает.

Бунчужный пришел настороженный. Когда он входил в коридор, в раскрытых дверях за ним показалось еще несколько голов. Заскрипел снег и под окнами вагона, но полковник этого не заметил.

— Здравия желаю, пан полковник! — четко проговорил бунчужный, вытянувшись в струнку. — Приказали явиться?

Полковника приятно поразили и «здравия желаю», и выправка казака. Он снисходительно улыбнулся.

— Не забыл еще? Молодчина!

— Рад стараться, ваше высокобла… пан полковник.

— Вот вам и большевик, — сказал полковник, с торжеством глядя на командиров. — А может, и вправду, ты, Натура, уже стал большевиком? Только ты, братец, говори правду.

— Рад стараться, ваше высокобла… пан полковник.

— То есть?

Бунчужный смешался.

— Ну, они все — пролетария, а мы еще слава богу…

— А вот сотник Лец-Атаманов говорит…

У бунчужного промелькнули в глазах тревожные огоньки, но в ту же минуту он удивленно поднял брови.

— Ваше высоко… пан полковник, дозвольте и мне спросить.

— Спрашивай, спрашивай.

— Если бы вы были большевиком, что бы вы сделали?

Полковник поморгал глазами, посмотрел вопросительно на командиров, но, видимо, и они не поняли такого вопроса. Наконец он просветлел.

— Ох, и хитрый же ты хохол! Слыхали, панове, как он заставляет меня сказать самому себе: глупый вопрос! Разумеется, если бы я, упаси боже, был большевиком, так служил бы в большевистской армии, а не, а не… Ну, что я вам говорил, пан Лец-Атаманов?

— Если бы вопрос решался так просто, пан полковник, так мы ехали бы на восток, а не на запад, — возразил Лец-Атаманов, раздраженный легковерием полковника. — А отчего возле тебя постоянно Кудря вертится?

— Да у нас, знаете, и поговорить не с кем такому, как слесарь. Человек городской, бывалый, а мы с ним еще когда-то вместе на заводе работали. Ну, и вспоминаем за чаркой.

— За чаркой можно, — сказал полковник, — а ты вот что посоветуй мне, братец, как нам с этими бандитами быть?

— Я уж думал, пан полковник. Не иначе, как в местечко надо съездить…

Лец-Атаманов даже подскочил.

— Вот это правильная мысль! В местечке наверняка имеется какая-нибудь команда.

— Идея, идея, — сказал полковник. — Может, ты сам и поедешь?

— Нет, — возразил тут же Лец-Атаманов. — Нужно поехать кому-нибудь более авторитетному. Ступай, Натура, мы тут сами решим.

Бунчужный звякнул шпорами, четко повернулся и вышел.

— Тогда будем вас просить, пан Лец-Атаманов, — сказал полковник. — И ехать нужно сейчас же, а то можете никого не застать.

Лец-Атаманов сделал вид, что морщится, но тут все заговорили в один голос, что должен ехать только он, и к тому же немедленно.

— Я пойду распоряжусь, чтобы заседлали коня, — сказал Рекало.

— Надо ехать на санях. Может, командира их придется подвезти.

Взволнованный Лец-Атаманов, даже не постучавшись, вбежал в свое купе.

— Я сейчас еду в местечко, Нина Георгиевна. Хотите?

Нина Георгиевна обрадовалась и даже не обиделась, когда Лец-Атаманов больно стиснул ее руку.

— Собирайтесь!

— Я готова.

Действительно, она была уже одета, а на диване стояли ее чемоданы.

— Тебе кучер нужен, Лец? — спросил из коридора Рекало.

Лец-Атаманов, как заговорщик, поглядел на Нину Георгиевну и ответил:

— Не нужно.

Нина Георгиевна удивилась:

— Посреди ночи?

— Именно поэтому, — и еще раз крикнул в коридор: — Не надо!

— Выдумываешь.

— Не нужно!

— Ну, как знаешь. Лошадь уже запрягли.

Полковник Забачта, увидев, что Нина Георгиевна выходит с чемоданами в руках, причмокнул и ехидно сказал:

— Свадебное путешествие, пан сотник, придется сократить до утра. Желаю счастья!

— Мерзавец! — процедил сквозь зубы Лец-Атаманов.

14

Лошадь, застоявшаяся у вагона, взяла с места размашистой рысью. Маленькие ковровые сани легко скользили по белой пушистой дороге, будто не касаясь земли, и, как в лодке, заметно укачивали путников.

Выехав за станцию, которая закрывала собой эшелон, Лец-Атаманов вдохнул полной грудью. В комендантскую сотню он не верил, но верил в свой успех у женщин. Ни о чем другом сейчас думать не хотелось. Возможно, красный поток зальет все просторы Украины и он захлебнется в нем. Но это будет завтра или послезавтра, а сейчас он хочет наслаждения. Он перебрал вожжи в одну руку, а другой обхватил ее стан и с силой прижал к себе. Нина Георгиевна, о чем-то задумавшаяся, упрямо отстранялась. Лец-Атаманов наклонился и горячими губами впился в ее матовую холодную щеку. Она кулаками уперлась ему в грудь и старалась отодвинуться как можно дальше, но сотник уже целовал глаза, лоб, уши и настойчиво ловил губы.

— Оставьте!

Сотник пьянел все больше. Чтобы развязать себе руки, он натянул вожжи, и лошадь замедлила бег. Нина Георгиевна закричала уже истерически:

— Перестаньте, слышите… Я выскочу, слышите… Хам!..

Лец-Атаманов отнял руки и хмыкнул:

— Вы серьезно?..

— Безобразие, — не переставала возмущаться Нина Георгиевна. — Пользуетесь моей беззащитностью. Нечестно с вашей стороны, славный рыцарь!

Сотник огрызнулся:

— Кто там будет вспоминать о чести таких, как мы.

— Тогда ради чего эта комедия с судом? Одного поля ягоды!

— Не комедия, а противоядие, дорогая пани. Профилактика!

— Блажен, кто верует.

— Аминь!

— А если комендантской сотни не окажется в местечке?

— Я в этом больше чем уверен.

— И вы вернетесь в эшелон, чтобы подставить свой лоб под пулю? Удивляюсь, неужели вы не видите, что ваша карта бита? Нет уже необходимости возвращаться.

Лец-Атаманов отрицательно покачал головой. Так могут поступить Забачта, Трюковский или Кованый — они наемники, а он — хозяин. Нет, карта еще не бита! Не хватит своих сил — заложим души черту, дьяволу, а своего добьемся. Другое дело,

если бы его невзначай захватили большевики, ну, тогда был бы вынужденный конец… Лец-Атаманов почувствовал, как где-то там, внутри, что-то неприятно заныло. В голову полезли предательские мысли. Их оборвали выстрелы на станции. Они оглянулись, но ничего уже нельзя было разглядеть. Нина Георгиевна вопросительно посмотрела на сотника.

— Не понимаю! — сказал он, пожав плечами.

— Может, бунт, может, крестьяне?..

— Не может быть, — но голос у него дрогнул. — Вернемся назад!

— Что вы?!

— Это, наверно, вражеская разведка.

— Гоните! Нас могут нагнать. У вас оружие есть?

— Хватит — вот карабин да еще браунинг. — Лец-Атаманов хлестнул вожжами лошадь.

— Здесь где-то должен быть поворот, говорили.

— Я вижу, он дальше.

Свернув с большака, они поехали по еле приметной проселочной дороге.

Версты через три после поворота, как говорил начальник станции, должно было показаться местечко, но лошадь, вся в мыле, проскакала, наверно, уже больше пяти верст, а не было видно хотя бы даже хутора.

— Мы заблудились! — сказала Нина Георгиевна раздраженно.

— Не может этого быть. До местечка семь верст с гаком, значит, не меньше десяти. Скоро выглянет, — успокаивал сотник, сам растерянно поглядывая по сторонам.

Из черной бездны неба начал тихо падать пушистый снег, и из глаз исчезли даже близкие очертания дороги, до этого еще заметные.

Неожиданно в стороне, совсем близко, залаяли, точно пулемет «шоша», собаки. Лец-Атаманов привстал на санях и сквозь седую мглу заметил слева что-то темное на снегу.

— Там внизу какой-то хутор.

— Может, погреемся и дорогу проверим, — сказала Нина Георгиевна, вся дрожа от холода. — Я замерзла.

Лец-Атаманов сразу же поворотил лошадь напрямик, через поле.

В балке лежала усадьба — возле круглого пруда над крутыми берегами в плакучих ивах. Такие же ивы в белом инее, как в парче, склонялись с обеих сторон над плотиной, которая вела к усадьбе. Все это выглядело как в сказке.

— Как тут хорошо! — вырвалось даже у встревоженной Нины

Георгиевны.

За мостиком показался темный дом и еще несколько строений. Из дома сквозь щели в ставнях полосами вырывался свет и манил из холода в теплую комнату.

Добравшись до двора, Лец-Атаманов удивился. У ворот в каком-то хаотическом беспорядке стояли артиллерийские запряжки, — одни лишь передки со снарядными ящиками. Нетрудно было понять, что разбитая батарея потеряла не только обоз, но и свои орудия. В темноте возле лошадей возились какие-то фигуры, вворачивая после каждого слова злобную, раздраженную ругань. Над запряжками столбами стоял пар, и на весь двор разносился едкий запах лошадиного пота.

— В чем дело, панове, какой вы части?

Один грубо выругался, другой злобно передразнил: «Панове, панове», но Лец-Атаманов все же выяснил, что это была легкая батарея из отряда «Запорожская Сечь» и что часа два назад их разбила Красная Армия верстах в десяти отсюда.

Зрелище было жалкое. Растрепанные казаки садились на лошадей, чтобы снова бежать дальше под прикрытием темной ночи.

Нина Георгиевна тоже обошла почти все запряжки. Заглянула даже в тачанку с пулеметом, стоявшую поодаль.

15

В доме, куда они вошли, был подлинный разгром.

В дверях гостиной столкнулись с командирами батареи — они, нагруженные кульками с продуктами, прощались с хозяином. Высокий, осанистый, с сединой в волосах и с коротко подстриженной бородкой, хозяин озабоченно пожимал им руки и, оглядываясь назад, бросал:

— Маша, успокойся, ну, успокойся. Сейчас и мы поедем.

Заметив на шапке Лец-Атаманова белый султан, хозяин сразу определил его чин в армии и искренне обрадовался:

— Очень приятно, очень приятно. Вот видишь, Маша, к нам еще гости пожаловали, а ты говоришь, что нас все покинули. Мы тут как на острове.

Маша, полная дама с мокрым платком у глаз, лежала в столовой на диване. На столе в беспорядке стояли недопитые бутылки старых вин и холодная закуска.

Дама истерически всхлипывала и монотонно причитала:

— Боже, боже мой…

— Успокойся, Маша! Боится, как бы не захватили большевики, — пояснил хозяин, приглашая присесть к столу. — Достал из погреба самые старые вина. Все равно думаю бежать.

— Куда?

— Да куда же, если не за границу: там не достанут.

— А разве нельзя остаться на месте? — спросила Нина Георгиевна.

— Пока свои были — сидел. Меня мужики прямо на руках носили, а этой зимой я еще отдал им почти задаром десятин сто земли.

— Всю отдали?

— Да десятин триста и себе оставил. Надо же с чего-то жить. Как они узнают, что их пан уехал, будут жалеть, сердечные. Маша, ты бы все-таки присмотрела, как там девчата укладывают вещи. Этим скотам сколько ни угождай…

Дама, монотонно причитая «боже, боже мой…» — вышла в соседнюю комнату, где второпях ворочали сундуки.

— Ну как же там батька Петлюра? — спросил хозяин, присев к столу. — Ведь это мой воспитанник. Я вам сейчас покажу.

Из груды книг, уже лежавших возле библиотечного шкафа, он вытащил синюю школьную тетрадь и показал Лец-Атаманову.

— Собственной рукой переписывал Симон Васильевич. Еще когда моим учеником в духовной семинарии был. Видите, еще тогда он увлекался песнями.

Лец-Атаманов развернул тетрадку. На отдельных страницах четким круглым почерком были старательно переписаны песни. В глаза бросились «А в Києві на риночку», «Приїхали три козаки», «Ой, час, пора до куреня», «Із-за горы сніжок летить» — всего в одной тетради до сорока. Хозяин набожно прижал тетрадь к груди и сказал:

— Берегу как память. И кто бы мог подумать, что из Симона… Петлюра выйдет. Ну, помогай ему бог.

Из разговора выяснилось, что Лец-Атаманов действительно заблудился. Местечко лежало далеко в сторону, и отсюда до него было еще верст семь, и то если перебраться за рощей через овраг.

— Но что же вы застанете в местечке? Комендант собирался выезжать еще вчера.

— А может, там какая-нибудь пехотная часть осталась?

— Куда там! Они от железной дороги и на версту не отходят. На той неделе здесь, возле усадьбы, почему-то сел самолет. Вкатили его во двор, а летчики как уехали, так только их и видели. Я звонил уже и на станцию. Ведь целехонький аэроплан — и бросили.

— А где он? — спросила поспешно Нина Георгиевна.

— Стоит у коровника.

— Так мы, может, еще застанем все-таки кого-нибудь в местечке и пошлем забрать. Вы его не ломайте.

Вдруг под самым окном раздались выстрелы: один, второй.

Все переглянулись, Лец-Атаманов и хозяин заметно побледнели, а дама в другой комнате снова забилась в истерике.

— Боже, боже… поехали…

— Что это значит? — спросил Лец-Атаманов.

— Да, что это такое? — проговорил и хозяин. — Ружей вроде бы ни у кого из прислуги не было, а сечевики уже выехали.

Лец-Атаманов побледнел еще сильнее. Две пары глаз смотрели на него с вопросом и с надеждой. Он не выдержал, схватил карабин и кинулся на крыльцо. Нина Георгиевна с каким-то особым любопытством подбежала к окну. Сквозь расписанные тонкими ледяными узорами стекла она не могла ничего разобрать и начала часто дышать на стекло. Опять послышался выстрел.

Нина Георгиевна начала дышать еще чаще. Лед темнел, слезился, и она уже увидела Лец-Атаманова — озираясь по сторонам, он бежал назад.

— Что там? — спросила Нина Георгиевна, едва он переступил порог.

Лец-Атаманов пожал плечами:

— Поскакало двое верхом на лошадях.

Нина Георгиевна засуетилась и начала собираться с таким видом, словно торопилась домой.

— Скорее нужно в местечко. Я же говорила, это уже их разведка!

— А куда они поскакали? — спросил хозяин.

— К оврагу.

— О, там целая рота может укрыться.

Еще раз проверив маршрут и приняв от хозяина банку с вареньем, они через минуту снова очутились в поле.

Пушистый снег уже прикрыл ровной пеленой все дороги и тропинки. Хозяин сказал, что сразу должен быть поворот направо, но на снегу никаких признаков этого не было.

— Овраг должен быть правее, — сказала Нина Георгиевна, — поезжайте напрямик!

— Попробуем, — ответил Лец-Атаманов виновато.

Было уже почти три часа ночи, и Нина Георгиевна все больше сердилась. Она пробовала даже подгонять лошадь. Лошадь, немного отдохнув в усадьбе, неслась по полю с новой силой. Полозья саней то и дело ударялись о кочки, и по этому можно было судить, что они уже едут по вспаханному полю. Лец-Атаманов, чтобы отогнать назойливую мысль о том, что он сбился с пути, снова попробовал обнять Нину Георгиевну.

Нина Георгиевна, вся погруженная в какие-то мысли, раздраженно сняла его руку. Потом нетерпеливо спросила:

— Мы долго еще будем блуждать?

Лец-Атаманов пожал плечами.

— Овражек есть, а рощи вовсе не видно.

— Давайте здесь переберемся.

— А не вернуться ли на хутор? Комнату нам отведут и…

— Поворачивайте, здесь уже неглубоко, — перебила его Нина Георгиевна властно. — А то мы этак всю ночь проблуждаем.

Чем дальше, тем больше Лец-Атаманов подчинялся ее воле и теперь послушно повернул лошадь прямо на овраг.

— А теперь держитесь!

Но Нина Георгиевна не успела еще схватиться за поручни, как лошадь вдруг по самые уши нырнула в снег, оглобли подбросили сани кверху, и они оба покатились на дно глубокого оврага. Вслед за ними наперегонки прыгали чемодан и банка с вареньем.

Нина Георгиевна остановилась на половине дороги. Рядом лежал карабин. Она поспешно затоптала его в снег, потом, весело смеясь, сбежала вниз к сотнику. Он без шапки, весь белый, как снежная баба, растерянно вытряхивал из рукавов своего бешмета снег, а рядом лежал раскрытый чемодан, из которого выпала целая охапка бумаг. Они лежали вокруг сотника рябыми

заплатками, как пестрый ковер. Нина Георгиевна бросилась сгребать их, точно кленовые листья в саду, а сотнику сказала раздраженно:

— А вы чего стоите столбом?

Лец-Атаманов — он недоуменно глядел на рассыпанные бумаги — протянул было к ним руку, но Нина Георгиевна резко отстранила его.

— Без вас обойдусь! Вон лошадь бьется.

Сотник сделал уже шаг, чтобы все-таки обойти ее, и вдруг даже вскрикнул от острой боли.

— Я, кажется, ногу вывихнул. И руку искалечил.

— Вы сами больше людей искалечили.

— Оказывается, вы и злой можете быть, — заметил Лец-Атаманов, почувствовав обиду от того, что она так равнодушно отнеслась к его поврежденной ноге.

— Смотря с кем, — ответила Нина Георгиевна, все еще согнувшись над бумагами.

— Что это у вас такое?

— Не будьте любопытны, — и она защелкнула чемодан. — Никогда не видели рекламы «Олеомаргарин»?

— Зачем вам столько? Вы шутите.

— Самое время для шуток!

Нине Георгиевне и в самом деле было не до шуток. ПОАРМ 13 послал ее и товарища, который отстал от поезда в Знаменке, на подпольную работу в Одессу. Кроме того, они должны были доставить Одесскому подпольному ревкому какое-то важное поручение Реввоенсовета за тремя сургучными печатями и политическую литературу. Пакет она спрятала среди своих юбок, а газетами и листовками был набит второй чемодан. Именно эти листовки и взбудоражили казаков артиллерийского дивизиона.

В этот дивизион Нина Георгиевна попала случайно, чтобы замести следы. От самого Киева за нею следил какой-то подозрительный субъект в сером пальто. В Раздельной ей предстояло пересесть на пассажирский поезд и встретиться с третьим товарищем, который тоже ехал на подпольную работу. Неожиданная задержка эшелона разрушала ее планы. Самообладание Нины Георгиевны подверглось серьезному испытанию.

— Ступайте вытаскивайте лошадь, — повторила она тем же тоном.

Лец-Атаманов, припадая на одну ногу, сделал было несколько шагов и остановился.

— Погодите, кажется, я браунинг потерял. — Он обшарил себя. — Нет!

Нина Георгиевна при этих словах встрепенулась.

— Сперва голову, а теперь и браунинг потеряли, — сказала она язвительно.

— Серьезно. Ищите!

Она потыкала рукой в одну, вторую ямку, но в таком снегу мог утонуть не только куцый пистолет, а даже целый пулемет, и Нина Георгиевна выпрямилась.

— Весной найдете, пан сотник. От лошади и то одни уши торчат. Вытаскивайте сани, а я на ту сторону и пешком взберусь.

— Нина Георгиевна, постойте!

Но она, не оглядываясь, уже осиливала склон оврага. Сбитый с толку Лец-Атаманов только пожал плечами и начал сам нашаривать в истоптанном снегу браунинг. Полагая, что револьвер мог выпасть возле саней, он вскарабкался наверх, но и там не нашел. Еще неприятнее поразило его то, что и карабина в санях тоже не оказалось. Нина Георгиевна не могла взять его с собой. Он поглядел ей вслед. Она уже вышла из оврага и направлялась в поле, исчезая за белой завесой пушистого снега.

— Нина Георгиевна! — позвал он с нотками раздражения в голосе, но она не отозвалась.

Лец-Атаманов не мог понять такой резкой перемены в ее поведении: ведь, кажется, он ничем ее не обидел, даже сам поражался своей выдержке, а ее будто подменили. Капризная особа! Он опять сошел на дно оврага и начал обшаривать снег руками. Браунинга не было, но рука нащупала затоптанный в снег листок, один из тех, какие выпали из чемодана Нины Георгиевны. Лец-Атаманов даже в темноте разобрал, что листок нисколько не похож на рекламу маргарина. Он вынул коробок спичек и присветил. В глаза бросилось знакомое уже воззвание Реввоенсовета к казакам.

Спичка уже погасла, а Лец-Атаманов все еще смотрел широко раскрытыми глазами на листовку. В голове каруселью закружились события последних двух дней. Всякий раз, когда Нина Георгиевна выходила на прогулку, он потом натыкался на следы работы какого-то подпольщика. Теперь понятно, почему ей так хотелось послушать украинские песни. Значит, в отношении бунчужного и Кудри он не ошибся. Вспомнив о посещении дипломатической миссии, Лец-Атаманов почувствовал, как его бросило в жар. Дипломаты были больше чем следует откровенны.

— Эй ты! — вдруг закричал он яростно и бросился было вдогонку за Ниной Георгиевной. Рука машинально потянулась к поясу, но оружия на привычном месте не было. Лец-Атаманов упал на снег и начал уже беспорядочно разгребать его. «Браунинг, браунинг!» — рычал он с перекошенным лицом. Пистолета нигде

не было. Сотник бессильно упал на локти и заскрипел зубами, потом вскочил на ноги и побежал по следу Нины Георгиевны, но, прохромав несколько шагов, понял, что пешком он не осилит теперь даже склона оврага, и повернул назад.

Лошадь, провалившись в яму, сломала оглоблю и порвала шлею. Лец-Атаманов, трясясь, как в лихорадке, вытащил ее из оглобель и вскочил верхом. Вторично он не захотел рисковать и погнал теперь в объезд оврага. Нины Георгиевны уже не было видно, но он во что бы то ни стало нагонит ее. В нем бушевала злоба. Так позволить себя обмануть! За дивизион он не боялся — в нем были еще настоящие украинцы, а таких, как Кудря, он быстро выведет. Но где же были его глаза? Выходит, он сам помотал большевикам разлагать казаков! От бессильной злобы его прямо судороги брали, и острые шпоры все сильнее ранили бока лошади. Наконец вырисовалась темной шапкой рощица, где нужно было свернуть.

За рощицей снова было ровное поле, и на нем замаячила какая-то фигура. Лец-Атаманов припал к гриве лошади, фигура все увеличивалась, еще немного — и он уже разглядел Нину Георгиевну. Она, должно быть, тоже заметила его и бросилась бежать.

— Не уйдешь, голубка! — злорадно процедил сквозь зубы Лец-Атаманов. — Теперь уже не стану с тобой цацкаться… — он изо всех сил сжал лошадь шпорами и в этот момент увидел двух всадников — они тоже скакали к Нине Георгиевне.

Лец-Атаманов круто осадил свою лошадь. Нина Георгиевна бежала навстречу всадникам. Добежав, она, видно, что-то сказала, потому что один всадник сразу же отделился от нее и поскакал к Лец-Атаманову. Сотник по привычке засунул руку за пояс. Не найдя браунинга, он повернул коня и изо всех сил погнал назад, время от времени оглядываясь на погоню.

Всадник, должно быть, увидел, что расстояние между ними не уменьшается, и пустил вдогонку одну за другой две пули. Они прозвенели, как потревоженная струна, над самым ухом, но Лец-Атаманова не задели. Он снова оглянулся — всадник поворотил назад.

16

Уже начало светать, когда Лец-Атаманов наконец увидел станцию. Даже услышал гудок паровоза. От этого гудка, которому он был бы несказанно рад, находясь в эшелоне, теперь по телу поползли мурашки. Из-за станции показался сперва паровоз, укрытый густой шапкой дыма, а за ним вагоны. Лец-Атаманов бессильно упал на лошадиную гриву, но, подняв опять глаза, увидел, что весь поезд состоял только из классных вагонов. Отъезжал эшелон комиссариата путей сообщения, стоявший рядом с их составом. Наверно, вслед за ним пойдет и его эшелон. Он пришпорил лошадь.

О том, кем оказалась Нина Георгиевна и что произошло с ним в овраге, Лец-Атаманов решил никому не говорить. Иначе дело это может закончиться для него скверно. А куда девались сани, это легко придумать. Из этого он выйдет даже героем. Только вот не удалось, скажет, отбить бедную Нину Георгиевну. А бунчужного и слесаря он решил арестовать немедленно.

До станции оставалось меньше, чем полверсты, Лец-Атаманов даже видел уже свой эшелон, когда донеслись выстрелы, сперва разрозненные, потом уже целыми залпами. Догадка бросила Лец-Атаманова в пот. Начинался уже пристанционный поселок. Вдруг из одного двора выбежал какой-то мужик в свитке, из-под которой выглядывали зеленые диагоналевые брюки. Он был в страшном испуге.

— Светлица! — крикнул пораженный Лец-Атаманов. — Что это значит?

— Беги! — прохрипел Светлица, силясь обойти коня.

— Что случилось, черт подери?

— Восстание! Беги!

— Какое восстание, где? — загораживая ему дорогу, допытывался Лец-Атаманов. — Мужики?

— Полковник арестовал Кудрю, этого слесаря. Большевик, анафема! И бунчужный! Гимназист их раскрыл, а они тогда подняли казаков.

— Ночью! Я слыхал выстрелы.

— Это сбежали те четверо бандитов. А вот сейчас началось. Собирались уже отправлять эшелон… — Светлица все больше отступал к плетню. — Говорю тебе — беги, коли хочешь спасти голову!

Лец-Атаманов растерянно огляделся по сторонам: белел снег, вдали чернело на снегу село. И тут глаза его расширились: по дороге от Графовки к станции шла большая толпа, у нескольких,

кто шел впереди, виднелись за спиной винтовки. Светлица тоже уже заметил толпу, заметил и то, как побледнел Лец-Атаманов, и проворно перепрыгнул через плетень.

— Стой, назад! — крикнул сотник.

— Нема дурных! — отозвался уже из сада Светлица.

Лец-Атаманов, доскакав до станции, бросил лошадь и выглянул из-за угла на пути. У последних вагонов делали перебежку казаки, падали за случайные прикрытия и стреляли вдоль классного вагона. Из-за состава высунулась голова бунчужного, выкрикнула какую-то команду и снова исчезла. Двое казаков выбросили из вагона и пути пулемет и сами упали за его щиток. За ними выпрыгнул Пищимуха и тоже лег за пулемет. Лец-Атаманов в изумлении только моргал глазами. В это время из классного вагона выглянул хорунжий Сокира и пустил наудачу очередь из ручного пулемета «шоша». В ответ зататакал «максим» от задних вагонов. Что-то зашуршало рядом. Лец-Атаманов испуганно оглянулся. Вдоль стенки крался с винтовкой в руках казак в гимназической фуражке.

— Калембет?

— Я, пан сотник. — Он был бледен, испуган и весь дергался.

— Где сотник Рекало?

— Сотник Рекало сбежал. Видели, как он вскочил в первый эшелон.

— А где остальные?

— В вагоне.

— А из казаков ты один?

— Еще в вагоне есть…

— Идиоты! От одной гранаты они взлетят на воздух. На станцию надо перебегать. Дай сюда винтовку!

Выждав, когда замолчал «максим», Лец-Атаманов кинулся к своему вагону. Несколько пуль просвистело мимо него, но он уже схватился за поручни площадки. В это время во весь рост поднялся с земли слесарь Кудря и прицелился из винтовки.

— Ага, ты-то мне и нужен! — проговорил злорадно Лец-Атаманов и вскинул к глазу винтовку. В то же мгновенье впереди сверкнул огонек, и он почувствовал, как что-то остро кольнуло его под сердце.

Лец-Атаманов пошатнулся, выронил винтовку и съехал на полотно. Перед глазами пошли багровые круги, как после камня, брошенного в воду. Опять затарахтел над головой «шоша», а в ответ поднялся многоголосый крик казаков. Он все нарастал и нарастал, словно двинулся паводок. От шума стало больно в ушах. Вдруг ему послышался голос Нины Георгиевны. Лец-Атаманов напряг все силы, чтобы достать винтовку, но колени

подломились, рука, которая уже примерзла к поручню, сорвалась, и он упал лицом в снег у стенки вагона.

Харьков, 1927 г.

АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО

Перевод П. Киселева (редакция Б. Турганова).

На улице Карла Маркса стоит полукружием памятник. Над гранитной колоннадой серебряными буквами выбита надпись: «Слава героям обороны Луганска — борцам за дело пролетарской революции». За колоннадой на мраморных досках, словно на белых полотнищах, высечены их имена.

Этот печальный список начинается с А. Я. Пархоменко, за ним следует еще двести имен и фамилий.

Отлитый из бронзы Пархоменко стоит на правом крыле памятника. Сбоку у него маузер, в правой руке бинокль, а левой он поддерживает саблю. Готовый каждый миг двинуться вперед, солдат революции бесстрашно смотрит на запад. Он весь полон безграничной отваги и глубокой веры в победу рабочего класса. Смерть, которая оборвала ему жизнь, уже не осмеливается заглянуть в его бронзовые глаза.

1

Над Луганском опускалась ночь. Жители давно уже спали, только в маленьком домике на Преображенской улице все еще горел свет. За окнами играл граммофон. Тень от его трубы, похожая на колокол, четко вырисовывалась на белой занавеске.

Услышав звуки вальса или польки, запоздалые прохожие на минуту останавливались под окнами и потом как бы растворялись в темноте февральской ночи. Было холодно. В застывших ветках деревьев шелестела снежная крупка. Паренек, стоя на углу улицы, осторожно посматривал на освещенный дом. Чтобы согреть ноги, он постукивал застывшими сапогами или быстро шагал до следующего угла квартала. Отсюда также хорошо были видны освещенные окна и на занавеске тень граммофона.

Когда граммофон перестал играть, из дома вышли двое и, надвинув на глаза шапки, быстро направились в сторону Гусиновки. Немного погодя показались еще двое и, так же как и те, исчезли в темных переулках. Наконец вышел один в пальто с поднятым воротником. Прежде чем выйти на свет, он внимательно оглядел улицу. Это был Клим Ворошилов. На улице маячила только фигура парня в смушковой шапке, который двинулся ему навстречу.

— Это ты, Лавруша? — спросил шепотом Клим. — Можно идти!

Они направились к освещенному вокзалу, за которым расплывался в воздухе розовый столб пара, а на рельсах звякали тарелки буферов.

Парень был моложе Ворошилова, но ростом на целую голову выше его. Из-под островерхой шапки выбивался вороной чуб, припорошенный снегом, а на молодом лице под прямым носом чернели маленькие усики. По тому, как он сдерживал свои длинные шаги, стараясь не обгонять спутника, видно было, что он относится к Ворошилову с уважением. Это объяснялось не разницей в рангах: оба они были рабочими паровозостроительного завода Гартмана, но про большевика Володю, как называли Ворошилова в подполье, знали уже не только в Луганске, а Лавруша вступил в партию лишь в прошлом году и пока что выполнял мелкие поручения. У него были крепкие кулаки, и он был уверен, что ими и без агитации можно в чем угодно переубедить своих противников.

Настоящее имя парня в островерхой шапке было Александр Пархоменко, Лаврушей его звали только в подполье.

— Ты мотор сможешь остановить? — нарушив долгое молчание, охрипшим голосом спросил Ворошилов.

Александр с готовностью и словно извиняясь ответил:

— Не пробовал.

— Завтра тебе покажут, а вечером зайдешь в парикмахерскую, возьмешь листовки, и чтоб перед началом смены были в каждом ящике.

— Решили. На когда?

— На третье! А теперь будь здоров. — Он пожал руку. — Ты что, замерз? Дрожишь, как цуцик. Спокойной ночи!

Александр не отпускал его руку.

— И те согласились?

— Меньшевики? Нас было больше.

— А я уж решил: не согласятся, пойду в их лавочку, сковырну гадов бомбой — и точка! Чтоб не возиться больше с ними.

— Здоров! А ну-ка пройдем чуть подальше. Ну хорошо, допустим, ты сковырнешь какую-нибудь там четверку из них, а остальные поднимут шум на весь мир: «Большевики не лучше эсеров». Додумался! Этих слизняков нужно бить фактами, а не делать из них мучеников. Они только того и желают, а ты покажи рабочим их существо, чем они дышат, о чем думают, а не бомбами.

Возле переезда распрощались. При свете фонаря Александр уловил на строгом лице Ворошилова укоризненную улыбку и обескураженно заскреб под шапкой: вот и это не в лад, а как можно бить меньшевиков словами, еще не знал. Он совсем сдвинул шапку на затылок и повернул к себе домой, на Конюшенную улицу. «Ну, ничего, Лавруша еще покажет себя!» — вдруг крикнул он на всю улицу и оглянулся на переезд, но Ворошилова там уже не было, колыхалась только тень от столба.

В феврале 1905 года на заводе Гартмана все еще не стихали волнения, вызванные расстрелом рабочих перед царским дворцом. Причины, которые вывели тысячи трудящихся на Александровскую площадь в Петербурге, были теми же, что и в Луганске, и о них говорили все чаще и чаще.

Не находя никакого выхода, рабочие глухо волновались. Встревоженная администрация усилила наблюдение, а третьего февраля даже выставила на подходах к заводу и возле цехов полицию.

Никто из посторонних не мог пройти незамеченным мимо полицейских, они проверяли каждого входящего. Даже свои рабочие не могли пронести на завод ничего, кроме завтрака.

Заметив полицию, рабочие шли к цехам нахмуренные и

красноречиво переглядывались.

Возле верстаков они долго скручивали цигарки, не спеша приступать к работе, как будто ждали появления какого-то вестника.

Гнетущую тишину в механической мастерской нарушил коренастый слесарь в железных очках на кончике сизого носа. Слесарь полез в свой ящик за инструментом, а вытащил оттуда белую бумажку. Поднес ее к носу и, словно обжегшись, бросил обратно.

Оглянувшись вокруг, слесарь встретился с растерянным взглядом соседа.

— И у тебя? — спросил он шепотом.

— А у тебя тоже?

— Когда же она сюда попала? Ведь полиция стоит.

— Прокламация! — уже во весь голос кричал кто-то в другом конце мастерской. — К нам, к рабочим завода Гартмана!

Листовки забелели, как носовые платки, почти у каждого в руках. Теперь уже спокойно достал свою и слесарь в железных очках и принялся читать, шевеля губами, как кролик. Читали все, в мастерской стоял шум, похожий на шелест сухих листьев. Слесарь в железных очках взглянул исподлобья на своего соседа.

— Куда хватили — увеличить заработок на целых двадцать процентов! Хоть бы на десять. И восьмичасовой рабочий день!

— И правильно. И обращение чтобы было повежливей.

— А я разве против, только кто на это согласится!

В мастерскую вошел вальцовщик из ночной смены. Увидев прокламации, попросил дать ему посмотреть.

— Да их и там уже полон цех, — сказал другой, вошедший вслед за ним. — Какой-то парень стал у ворот, прямо под носом у городового, и только фьюить — как сквозняк подхватил листочки и понес в цех. Городовой, как коршун, за ними, а парнишка побежал к другим воротам, бросил еще одну пачку прокламаций и словно сквозь землю провалился.

В мастерскую вбежал запыхавшийся Александр. Рассказчик вытаращил глаза.

— Это не ты случаем? Шапка такая же.

Александр вместо ответа крикнул:

— Читали? Значит, будем бросать работу или как?

— А может, это Япония подкупила? — спросил кто-то несмело. — Чтобы паровозов у нас не хватило.

— Еще что выдумаешь, — буркнул старый слесарь в железных очках. — Тут, если говорить, другое страшно: а что, как увольнять начнут?

Вокруг слесаря уже собралась толпа возбужденных рабочих,

все старались перекричать друг друга.

— Неужто и дальше терпеть? Не осточертели еще штрафы? Даже умыться после работы негде. Все шестнадцать пунктов правильно записаны!

— Конечно, правильно, — согласился старый слесарь. — Вот только не вмешивали бы сюда политику. Видишь, тут про свободы всякие понаписали и про народных представителей. А раз политика, тут уже надо характер иметь. — И он незаметно включил мотор. В другом конце пролета тоже загудели машины.

— Глухари чертовы! — выругался Александр и сам взялся за резец, но только для виду — чтобы выждать, пока его старший брат Иван, также работавший в этой мастерской, не подаст ему условный знак.

Ивана он заметил в пролете ровно в полдень. Брат кивнул на моторы. Александр и еще несколько молодых парней тут же исчезли, и через какую-нибудь минуту все моторы остановились. Тогда Александр тоже вышел в проход, сбил шапку на затылок и крикнул:

— Точка! Бросай работу!

Но моторы загудели снова. Александр увидел у распределительной доски механика, включавшего рубильники.

— Ты что, гайки захотел в голову? — спросил юноша, показывая кулак. — Сказано, точка!

Но механик делал свое.

В ворота вбежали четверо молодых рабочих и закричали на весь пролет:

— Товарищи, выходи на собрание! Кузнецы уже горны загасили, варку оставили, пусть хозяин сам ее и кончает. Выходите, товарищи! А ты иди с нами! — крикнули они Александру.

Слово «товарищ» произносилось до сих пор только шепотом: оно звучало как пароль, как сигнал к борьбе, и, услышав его, все возбужденно заговорили.

В мастерской поднялся шум: одни уже вытирали руки, другие еще огрызались и продолжали работать. Александр охотно побежал за теми, кто кричал, и через некоторое время над заводом раздался пронзительный, тревожный гудок.

Рабочие двинулись на площадь, заваленную металлическим ломом и исчерченную рельсами заводской железной дороги.

Александр шел от электростанции, над которой гудел гудок, и удовлетворенно усмехался. Из окон главной конторы выглядывали перепуганные лица конторщиков. Перед ними вся площадь была как на ладони: здесь собралось уже более семи тысяч рабочих. Они внимательно слушали ораторов, которые

выступали со штабелей досок. На досках наконец появился крепкий и подвижной, с веселыми глазами крановщик литейного цеха. Его уже не раз видели на митингах. Толпа плотнее сгрудилась возле оратора.

Александр влез на платформу с ржавыми отливками. Сильным голосом, который, наверное, был слышен даже в главной конторе, крановщик говорил про царя — защитника капиталистов. Толкнув локтем своего приятеля, Александр кивнул в сторону крановщика:

— Этот скажет, этот и тюрьмы не испугается, — и вдруг громко закричал: — Правильно, Клим, правильно! Их надо фактами! — От возбуждения он даже вскочил на ноги и захлопал в ладоши.

Завод стал, а на другой день забастовка охватила весь город. Прекратили работу железнодорожные мастерские, эмалировочный завод, костыльный и даже военный.

Магазины закрылись, и приказчики, и парикмахеры вместе с рабочими шли по улицам с революционными песнями. Демонстрация затопила весь город, и администрация завода, которая еще вчера не хотела разговаривать со стачечным комитетом, принуждена была признать уполномоченных «депутатского рабочего собрания», чего и добивались рабочие. Председателем был избран Ворошилов.

2

В праздник трудно было застать кого-либо дома, но, несомненно, можно было встретить на Петербургской улице. Сюда шел каждый, кто хотел прогуляться или услышать последние новости. Толпа запруживала улицу от стены до стены, здесь гуляли с утра до позднего вечера, покрывая мостовую толстым слоем шелухи от семечек.

Александр в белой сатиновой рубашке, подпоясанной шелковым шнурком с кистями, и в новой кепке, пришел на Петербургскую улицу повидаться с членами своего десятка боевиков и известить их о том, что сегодня в Вергунском лесу будет очередное занятие. На улице он нашел почти всех, кто ему был нужен.

Боковыми улицами, заросшими лебедой, они двинулись к лесу. Их карманы провисли от тяжести револьверов смит-и-вессон.

— Сегодня Бондарь обещал показать бомбу, — сказал Александр возбужденно.

Его друг и приятель Гусаров, одновременно с ним принятый в партию, только снисходительно ухмыльнулся. Он уже знал, как обращаться с бомбами, знал даже, что бомбы мастерили тайком тут же, в Луганске.

На зеленой полянке уже сидели и лежали в пахучей траве несколько десятков рабочих, входивших в состав отряда боевиков. Перед ними была развешаны на палках обрывки газет или фуражки. Начальник отряда — рабочий котельного цеха Бондарь, бывший унтер-офицер, — показывал новые патроны. Их тоже тайно делали на заводе. Когда все собрались, Бондарь отмерил тридцать шагов от мишеней и приказал лечь на траву первым пяти человекам.

— Каждый должен попасть в пуговицу на кепке либо в кружок на газете, — пояснил он, — а целиться надо вот так: револьвер держишь стволом вверх и начинаешь поворачивать к цели…

— Только не думайте, что это забава, — вставил Ворошилов, — он лежал первым в ряду. — Нам нужно готовиться к настоящим боям, — и он выстрелил в свою мишень.

Александр тоже выстрелил, целясь в листок газеты, но не заметил, чтобы газета вздрогнула, не видно было и дырочки, а на кепке Ворошилова она чернела на самой середине. Выстрелил вторично, и пуля только чиркнула по бумаге. В третий раз пуля снова полетела «за молоком», а Ворошилов смущенно сказал:

— Там дырки, как же я надену кепку?

Все три пули его легли около пуговки. Начальник отряда довольно расправил усы:

— Вот такой сразу бы на унтера выслужился.

Когда и остальные пули легли вокруг пуговицы, Бондарь обвел рабочих восторженными глазами:

— Герой!

— А ты что думал! — сказал рабочий, которого звали Кумом. — У него на все талант. Мы тебя, Клим, красным генералом назначим.

— Ого, куда хватил, — ответил Ворошилов, сам довольный результатами стрельбы.

Александр смотрел на кепку Ворошилова завистливыми глазами. Ведь он так хорошо целился битком, когда мальчишкой играл в бабки, да и в городки никто не мог ударить лучше его. Может, попался такой револьвер? Юноша одним глазом заглянул в ствол, но начальник отряда из-за этого поднял крик. Александр даже покраснел и проворчал:

— Что он тебе так страшен? Я его могу в кулаке раздавить.

Снова прицелился, но теперь уже так, как ему показывал Бондарь. Пуля пробила дырочку возле кружка, обведенного чернилами, последняя легла рядом. Теперь он знал, как целиться, и передал револьвер другому, нетерпеливо ожидавшему своей очереди.

После стрельбы и изучения устройства бомбы начальник отряда стал показывать, как строить баррикады, потом — как охранять трибуну, отбиваться от полиции, как вести встречный бой. Все это могло понадобиться в любой момент, и Александру предстояло обучать еще и свой десяток. Как обращаться с полицией, он знал твердо: в любом случае ее нужно бить смертным боем, так же как и черную сотню. Еще в январе он показал черносотенцам несколько приемов «встречного боя»: Тогда рабочие провели на улицах Луганска демонстрацию протеста против Кровавого воскресенья. Впереди колонны несли красное знамя. На Казанской улице колонну встретила толпа черносотенцев с дубинками и бросилась на рабочих. Демонстранты смешались, начали было разбегаться. Александр шел в первых рядах. Выше других на целую голову, он издали увидел, как толстый торговец с толкучки вырвал у молодого парня красный флаг, швырнул его на снег и начал топтать. Александр раздвинул локтями соседей, поднял с мостовой поломанное древко и огрел им торговца по затылку. Другого он ударил по ногам, а третий от одного вида Александра, не оглядываясь, побежал в переулок. Другие рабочие тоже начали засучивать рукава. Тогда Александр поднял красное знамя над

головой и во весь голос закричал: «Вперед, товарищи, за правое дело!»

Демонстранты снова собрались и двинулись дальше.

— Это был встречный бой, я так думаю, — сказал Александр, — ну, а ночного еще не пробовал. Разве только на Каменном Броде! Так ведь то из-за девчат. Пришли как-то Рыжов Ванька и Калновский Федя, ну мы и застукали их. Раз так, мол, лезьте, голубчики, на забор, пойте петухом! Спели. А теперь, голубчики, поползайте в пыли. Чтобы знали, как заигрывать с нашими…

Ворошилов стоял в стороне. Заметив, что он только сжал губы, в то время, как другие весело смеялись, Александр растерялся и оборвал на полуслове.

— Хорошо ты агитацию проводишь, — покачал головой Ворошилов. — Этих хлопцев давно уже в партию втянуть надо, а ты гоняешь их, как соленых зайцев.

— Я ж агитировал потом, — пробормотал обескураженный Александр. — Вот, ей-ей! Спросите Гусарева, разве я не говорил им про «Царскую казну и народный карман»?

Все громко захохотали, и Пархоменко еще больше смутился.

Тень упала уже на всю поляну, сильнее запахли цветы, и в кустах защелкал соловей. Кто-то вспомнил, что на одиннадцать часов вечера в Александровском овраге назначена массовка. Решили идти туда прямо со стрельбища, а пока что потолковать об этой самой книжечке — «Царская казна и народный карман». Сейчас она ходила по рукам рабочих и вызывала много вопросов.

— Вот есть еще такая книжка — «Царь-последыш», — осмелев, сказал Александр. — Я только не совсем разобрал, в чем там толк.

Ворошилов сел в середине кружка, достал из бокового кармана потертую уже газетку — сверху на ней стоял заголовок, напечатанный мелкими латинскими буквами, а чуть пониже большими, по-русски: «Вперед» — и, разворачивая ее, сказал:

— Об этих книжках поговорим в другой раз, а сейчас послушайте про «Самодержавие и пролетариат»: наверно, товарищ Ленин писал.

Когда на небе зажглись первые звезды, рабочие по одному, по двое направились к Александровскому оврагу.

Еще совсем недавно на массовки собиралось не больше пятидесяти человек. Этой ночью собралось не менее пятисот. В овраге уже совсем стемнело, и различить друг друга можно было разве лишь по голосу. Многие попали сюда впервые, добирались кручеными тропками, и чуть ли не на каждом повороте у них спрашивали пароль. Оказавшись в глубоком овраге, где стояла

настороженная тишина, все начинали говорить шепотом, чувствовали себя как бы в заколдованном кругу.

— Лавруша, — услышал Пархоменко знакомый голос Ворошилова, — не отходи, держись ближе к середине.

— Будешь выступать? Хорошо, только жару надо побольше.

— А разве что не так?

— Да этот нудно говорит. А народ сколько верст сюда топал!

Говорил, будто резину жевал, профессиональный оратор Сергей, но его почти никто не слушал. Потом в темноте раздался голос Ворошилова, и все сразу повернули головы в его сторону. Послышались голоса: «Володя выступает, тише!» Ворошилов сразу заговорил о революции, о том, что она уже назревает и что необходимо готовиться. Надо учиться руководить массами и не забывать, что во время революции массы должны быть вооружены.

— А раз будет своя вооруженная сила, надо иметь и своих командиров, — он говорил вполголоса, и в темноте казалось, что это говорит кто-то издали. Когда он окончил, послышался голос Кума:

— Вот мы тебя и назначим красным генералом!

— Какой из меня к черту генерал, — ответил Ворошилов. — Я в военных делах ничего не смыслю. Подумайте, товарищи!

«А в кепку, вишь, все пять пуль всадил», — с завистью подумал Александр.

Кто-то начал декламировать: «Пора, терпенью есть предел», потом несколько человек тихо запели: «Вихри враждебные веют над нами», и начали расходиться по домам. Песню знали еще немногие, большинство мурлыкало ее без слов, но петь хотелось всем.

— Ты какой дорогой пойдешь? — спросил Александр, дергая Ворошилова за пиджак.

Ворошилов взбирался наверх из оврага и, не останавливаясь, ответил:

— Никогда, Лавруша, не возвращайся тем путем, по какому пришел. Теперь, если хочешь ночевать дома, иди в обход, мимо Красной мельницы.

За ним пошли еще несколько человек. Предосторожность оказалась нелишней. Уже на полдороге их догнали двое запыхавшихся рабочих. У одного была разорвана рубаха, другой держался за щеку.

— Казаки! — выкрикнули они вместе, с испугом всматриваясь в темную степь.

— Где? — спокойно спросил Ворошилов.

— Мы пошли мимо Красной Мельницы, а они уже там.

Проклятый, как врезал — рубаху распорол. Кажется, кого-то схватили.

— А вы не держитесь протоптанных дорог, — поучительно сказал им Александр. — Я никогда не возвращаюсь тем же самым путем, — но, вспомнив, что рядом идет Ворошилов, сразу закашлялся и замолчал, однако вытащил из кармана револьвер.

3

По улицам текли мутные ручьи, а узкие и горбатые тротуары блестели от грязи. Приближалась весна 1906 года. Александр шел, не замечая луж под ногами. За эти полгода он возмужал, стал еще шире в плечах, твердый подбородок уже покрылся черным пушком, а вдумчивые круглые глаза стали сосредоточенными и утратили беззаботность подростка. Год этот тоже не был похож на минувший: в Донбассе, как и везде, начиналась реакция. На заборах еще виднелись кое-где обрывки манифеста 17 октября, а вожаки многих партийных организаций уже сидели за решеткой.

Уцелела пока что луганская организация, у которой был свой боевой отряд. Его боялись и полиция, и казаки. Городом, даже целым районом, фактически руководил Совет депутатов, как начали называть «Рабочее собрание». В него входили преимущественно большевики.

В Совет приходили искать правды не только обиженные рабочие и мещане, но даже крестьяне из дальних сел, и решения его выполнялись, как распоряжения официальной власти.

Администрация завода, которой также не раз приходилось выполнять распоряжения Совета, отвечала на это увольнением неугодных ей рабочих. Среди них оказался и Александр Пархоменко. Он жил вместе со старшим братом Иваном, но за советом решил пойти к Ворошилову, которого чаще всего можно было застать в Совете депутатов.

В комнате с двумя расшатанными столами, полной разноголосого гомона и махорочного дыма, Александр увидел Григория из Макарова Яра. В этом селе Александр родился и жил мальчиком, а не так давно и жену взял оттуда. Григорий должен был ее знать: соседи ведь! Наверно, еще вчера ее видел, ведь она осталась у родителей. И Александр обрадовался этой встрече.

— Ты чего тут, Гриша?

— Здорово, парень, — ответил Григорий. Лицо у него было обветренное, глаза, полные солнца, блестели, как стеклышки. — Вот приехали, от общества, за правдой. Слышим, кругом люди землю у панов отбирают, а у нас, ты сам знаешь, курицу некуда выпустить. Разве мы хуже других? Так что же нам насчет этого рабочие товарищи скажут?

— Берите и сейте, нечего смотреть Ильенкову в зубы. Земля ваша.

— Так надо, чтобы какая-нибудь помощь и от товарищей была. Мы еще люди темные! Один говорит: «Сейчас», другой:

«Подождем, власть, может, сама что скажет». Кабы у нас пан был, как у людей, а то этот дьявол Ильенков власть большую забрал: предводителем у них, у дворян. Одних медалей целый иконостас: только тронь его, а он сразу стражников да казаков напустит. Вот мы и хотим просить, чтобы закон такой выдали рабочие, чтобы казаки не защищали помещиков, не служили в стражниках. Тогда бы мы сразу покончили с паном.

— А пан и до сих пор держит казаков?

— Да разве ему нечем заплатить?

— Совет запретил им служить у панов.

И Александр рассказал Григорию, как Совет депутатов собрал на заводе станичников — их у одного только Гартмана работало больше тысячи — и поставил условие: либо они пойдут к себе в станицу и уговорят казаков больше не служить помещикам, либо их всех выгонят с завода. И никого из станицы не будут допускать на луганский базар.

— И послушались? — спросил Григорий, пораженный такой силой Совета депутатов.

— Говорят, уже все казаки покинули помещиков.

— Вот теперь, если б рабочие и нам помогли, мужик бы осмелел. Всех бы на ноги подняли.

— А как там мои родичи? — сменил разговор Александр в надежде услышать что-нибудь про свою Тину.

— До весны засеяли бы, — продолжал Григорий, увлеченный своими планами. — А земля-то какая! Хватило бы на всех, батька твой не лепил бы горшки. Видал я, поехал куда-то по селам, наверно, повез горшки менять. А тесть новую конюшню кладет. А на беса та новая конюшня, когда он клячу соломой с крыши кормит?

Александр показал Григорию, к кому ему обратиться, а сам снова пошел искать Ворошилова.

В партийном комитете он застал своего брата и Голого — усатого рабочего с гартмановского завода. Разговор шел на злободневную тему: о бойкоте выборов в Первую Государственную думу. Александр, подавленный увольнением с завода, тяжело опустился на свободный стул и бессильно уронил руки на стол.

— Что такой невеселый, Лаврушa? — спросил его Голый, подтолкнув согнутым пальцем усы.

— Уволили, — ответил Александр, не сводя глаз со своих больших кулаков.

— К тому нам не привыкать.

— Стукнул, видать, какого-нибудь инженера? — спросил брат укоризненно, поглядев на кулаки Александра.

Александр медленно повернул голову.

— За неблагонадежность.

Голый задержал руку возле усов.

— Это уже тактика. Одного тебя?

— Троих! А завтра, наверно, еще добавят, если не вмешается Совет.

— Если б не военный завод, — сказал Голый, ухватив кончик уса, — тогда бы другой разговор был.

Пархоменко перешел на военный завод еще осенью, после очередной схватки с черносотенцами и погромщиками. Во время столкновения торговца, который нес портрет царя, подстрелили. Хотя прямых доказательств против Александра не было, его все же с завода Гартмана уволили. Тогда он устроился на военный завод, выпускавший снаряды. Мастер у Александра оказался зажиточный, имел свой собственный домик, корову и откармливал кабана. Такие не любят смутьянов. Он хорошо относился к Александру, пока не узнал, что этот опытный рабочий — также и опытный начальник боевого отряда, а в Луганске как раз в это время была сожжена старая тюрьма и убит городовой возле дома терпимости. Мастер в своем воображении все это приписал своему страшному подручному, и Александра уволили.

Устроиться на работу в Луганске с такой аттестацией нечего было и думать. Приходилось уезжать куда-нибудь подальше и снова искать работу. И Александр с кривой усмешкой сказал:

— Вот такие наши дела пролетарские.

— А ты знаешь, я вот что думаю, — встрепенулся Голый. — Тут земляки ваши были, — и он взглянул на Ивана. — Мы с Климом думали, кого бы послать, а вот вам и кандидат.

Александр не сразу понял, о чем идет речь, и ответил:

— Я тоже видел одного земляка. Помнишь, Иван, возчика Григория?

— Крестьяне уже за вилы берутся, — продолжал Голый. — Клим так считает: надо им помочь, чтобы паны почувствовали мужицкую силу. Говорит, месяц-другой у них поработаешь, а тогда — пришлем на подмогу агитаторов; может, что и выйдет.

Дальше Александр уже сам дорисовал картину, как восстанет село, волость, затем уезд. Такая сила сможет поставить перед помещиком какие угодно условия. От возбуждения у него даже глаза заблестели.

— Я поехал бы, только бы мне помогли. Агитаторов надо таких, чтобы село знали.

— И чтобы линию партию знали, — добавил Ворошилов, появившись в дверях. — Я слышу, вы про село говорите.

— Кандидата нашли, — сказал Голый, — хотя я все-таки думаю, что это не наше дело.

— Значит, пускай эсеры продолжают втирать людям очки? — Ворошилов присел к столу. — Недооцениваете вы, товарищи, силы, какая может пригодиться. Крестьян надо готовить к социалистической революции.

— Землю надо отобрать у панов — и точка, — решительно заявил Александр.

— Надо, молодой человек, сначала свалить их власть, тогда будет и точка. Крестьянин, товарищи, должен понять, что ему самому, без помощи рабочих, никогда не вырваться из-под гнета помещиков и кулаков. За тесный союз нужно агитировать, тогда и земля, и заводы будут нашими. Так-то, Лавруша! — И он потряс его за плечо. — В неблагонадежные попал? Неплохая рекомендация!

Александр — он понял, что и на этот раз «перегнул палку», — слушал с виноватым видом.

Когда он возвращался домой, на дворе уже была ночь. По небу летели рыхлые облачка, освещенные серебряным сиянием месяца. Влажный ветер отдавал землей и прошлогодними травами.

4

На широких полях дозревала рожь. Через неделю должна начаться косовица, а пока крестьяне не заняты работой, и это самое подходящее время, чтобы собрать сходку. За три месяца Александр успел пересказать сельчанам не одну книжку и прокламацию, наладил связи и с другими селами, где тоже волновался народ. Некоторые знали и о том, что Белокуренков Сашко, как называли Пархоменко соседи, муштрует в лесу молодых хлопцев, обучая их стрельбе из настоящих револьверов.

Слух о том, что на сходку приедут рабочие из города, еще больше расшевелил крестьян. Наступило воскресенье. Александр приказал своему отряду собраться в условленном месте в лесу.

В отряде числилось пока восемь человек, это были хлопцы, с которыми он провел свое детство, потом работал, как и они, землекопом при прокладке железнодорожной линии на Миллерово. Некоторые из них сейчас батрачили в поместье Ильенкова. Оружия у отряда было маловато: один револьвер носил при себе Александр, другой — его приятель Федька Кривосын, были еще два дробовика. Остальные парни обзавелись дубинками с заостренными железными наконечниками.

Лес, где они собрались, чтобы еще раз посоветоваться, как охранять сходку, находился за Донцом, на землях Митякинской станицы. Обитатели убогого села Макаров Яр иногда пасли в этом лесу волов, перегоняя их вброд через речку. В этом же лесу, когда Александру было десять лет, казаки избили его мать за то, что она собирала хворост. Мать слегла в постель и после того уже не встала.

Если бы не умерла мать, может быть, отец и не взял бы его из школы, в которую он ходил уже две зимы, и не отдал бы его в погонщики к грабарям. Александр работал у грабарей два года за одни только харчи да сапоги, потом из Луганска приехал его дед и взял с собой в город.

С того дня, как Александр выехал на Красную Гору, у него началась новая жизнь. Дед отдал его в «мальчики» к колбаснику.

С корзиной, полной колбас, Александр выходил с утра на толкучку либо шел к заводским воротам, где всегда кишмя кишел народ, и до самого вечера тонким голоском расхваливал свои колбасы, похожие на сухие коренья. Ему нравилось по целым дням шататься среди пестрой толпы людей. Ежедневно на базаре что-нибудь случалось: как всегда, смешно бранились перекупщицы, а то и драли друг друга за косы, ржали лошади, хрипела шарманка, на ней пищал зеленый попугай, вытаскивая за

пятак «счастье» тем, кто никогда его не видел. Оборванные и завшивевшие бродяги валялись в пыли у лавок, их часто ловили на краже и тогда били смертным боем. Они ругались страшными словами, и сами часто заводили поножовщину.

Александр с детским любопытством вбирал в себя весь этот новый для него мир. Быстро и сам научился ругаться и драться. Его уже начинали бояться такие же, как он, ребята, особенно если Александр затевал с ними игру на пуговицы. Корзину с колбасой он спокойно ставил где-нибудь в сторонке, уверенный в том, что никто не осмелится вытащить из нее кольцо колбасы, хотя у запаршивевших и всегда голодных ребят от одного только запаха чеснока сводило скулы.

Острый запах колбас привлекал к себе не только ребят. За корзиной всегда бегала целая свора кривых, облезлых и лохматых собак. Расположившись поодаль, они не спускали с нее голодных глаз и, повизгивая, ожидали удобного случая. И он настал однажды, когда Александр завел драку с мальчишками. Пока он колотил одного, загнав в канаву, собаки растащили из корзины почти все колбасы и, поджав хвосты, разбежались.

Хозяин решил, что парень присвоил деньги, нарочно выдумав историю с собаками. Обиженный, Александр ушел от колбасника и стал помогать своему деду, работавшему водовозом. Теперь он разносил по городу воду, по копейке за ведро, а вечерами рассказывал, как вкусно пахнут у господ на кухне разные яства, и долго, голодный, не мог заснуть. Дед наконец подыскал ему место дворника у одного купца. Пригожий и сметливый дворник понравился зятю хозяина — инженеру, и тот взял его к себе на шахту прислуживать.

Сразу же шахтеры, ненавидевшие инженера, начали насмехаться и над его служителем. Хотя на Александре теперь были начищенные сапоги, белый воротничок, даже медное кольцо на правой руке, девушки все же предпочитали гулять с оборванными и замусоленными коногонами, а не с ним. Это очень обижало Александра, и он начал стыдиться своего положения. Случай помог ему устроиться на этой же шахте в мастерскую, а вскоре он снова переехал в Луганск и поступил на завод Гартмана…

Все это пришло на память Александру, пока он со своими хлопцами поджидал в условном месте «гостей». С опушки леса село Макаров Яр было видно как на ладони. По площади, где стояла церковь и памятник «царю-освободителю», бродили люди. Возле волостного правления на ступеньках сидели хуторяне. К помещичьему подворью, напротив волостного правления, подъехал запряженный парой лошадей фаэтон. Взбитая копытами

пыль стояла высоким столбом, закрывая весь дом.

— Видать, земский начальник приехал, — сказал Федька Кривосын.

У земского начальника Филатова, женатого на дочери Ильенкова, были в Макаровоярской волости свои большие имения.

— А наши, видно, не приедут, — сказал Александр, взглянув из-под ладони на солнце, — оно стояло уже высоко над головой. — Народ только взбудоражили.

Как раз в это время к волостному правлению быстро подъехали на велосипедах двое людей. Следом за ними скакал пристав с конными стражниками. Один велосипедист успел вскочить в правление, другого стражник догнал у самого крыльца, и велосипед жалобно зазвенел под лошадиными копытами.

— Ты кто таков? — прошипел пристав, обозленный тем, что прозевал велосипедистов на дороге, где он выставил засаду.

Запыхавшийся велосипедист поднялся на ноги и, нахмурившись, ответил:

— Рабочий! — Это был Иван Пархоменко. — Что же, уж и домой нельзя ездить? — спросил он сердито и увидел прямо перед глазами револьвер. Иван схватил коня за уздечку и одновременно отшатнулся в другую сторону: пуля пролетела у самого его уха и попала в шину велосипеда, из нее с шипеньем вырвался воздух.

Пристав выстрелил три раза, и каждый раз морда лошади спасала Ивана. На выстрелы начали сбегаться крестьяне, но стражники встречали их нагайками. Однако в четвертый раз выстрелить приставу не дали. Чья-то рука изо всей силы рванула его за шашку. Он опешил, увидев себя и стражников в тесном кольце возбужденных, с горящими злобой глазами мужиков с кольями и вилами в руках.

Пристав еще больше оторопел, когда увидел группу вооруженных парней. Впереди, с револьвером в руке, бежал Александр. Его отряд взял стражников в кольцо. Александр подошел к приставу и насмешливо сказал:

— Точка! Будет тебе играться. Тоже мне кабардинец! Снимай оружие и ступай к черту в пекло!

То же самое на все лады кричали крестьяне, а один даже подпрыгнул и ловко вырвал из рук пристава револьвер. Пристав растерялся: его уже начали толкать, и он, сжав зубы, снял через голову шашку и швырнул на землю.

— Вот так бы и давно. Все сдавайте оружие и убирайтесь ко всем чертям! — торжествовали крестьяне.

Обезоруженные стражники поплелись обратно, опустив головы, украшенные синяками и шишками.

— Кто еще приехал? — спросил Александр брата, с торжеством надев на себя шашку пристава.

— Василь Шайба, — ответил Иван, растирая помятые бока.

Шайба, работавший когда-то вместе с Александром на заводе, уже протягивал ему руку.

— Что же ты нас в штыки встречаешь?

— Это они, видно, не знали, как нам оружие отдать, — смеялся в толпе Григорий. — Теперь пусть товарищи рабочие отдохнут с дороги, а мы еще кое-кого оповестим, они тоже хотят послушать.

Тут же договорились провести сходку на следующий день, чтобы успеть оповестить и другие села.

На другой день все улицы Макарова Яра была запружены подводами и людьми, съехавшимися из Суходола, Подгорной, Новобожедаровки и Хрящевской. Площадь перед волостью кипела, как ярмарка. Но дубовые ворота усадьбы Ильенкова были на запоре, только из окон дома выглядывали испуганные лица. Под окнами ходил часовой с дробовиком за плечами, поставленный сюда Александром. Часовые были выставлены и за околицей села.

Сходка началась после обеда. На крыльцо волостного правления вышел старшина, а за ним Григорий, Александр и двое луганских рабочих, которые приехали на велосипедах… Старшина беспомощно поглядывал на людей, как бы пытаясь сказать: «Вы сами видите, как я хочу говорить, — принуждают», но Александр подтолкнул его локтем, и он выкрикнул:

— Теперь я вижу, чья возьмет! Может, не сегодня и не завтра, а землица таки вернется к нам. Заскучали мы по ней, люди милые, ой, заскучали, детки! Спасибо вам, что наставили нас на путь истины.

Говорили до самого вечера, до хрипоты, и каждый махал кулаками в сторону усадьбы, где притаились Ильенков с Филатовым.

— И я так думаю, — сказал под конец Григорий, — оставить надо помещику столько земли, сколько он сам выкосит, а его барыне столько коров, сколько сама выдоит. Остальное отобрать — и точка, как говорит Яковлевич. — Александр наклонился к нему и что-то прошептал. — И еще вот что, — добавил Григорий, — нынче же забрать из усадьбы всех наемных рабочих, батраков и всю прислугу. Пусть паны сами на себя работают.

Волна удовлетворения, смеха и острых шуток покатилась от

крыльца во все концы площади. Каждый представлял себе круглого, как арбуз, одутловатого лицом Ильенкова с косой в поле, а его жену с подойником возле коровы, и снова хватались за животы. На такое зрелище стоило посмотреть, и поэтому наутро, когда возобновилась сходка, народу на площади не уменьшилось, а даже прибавилось.

В усадьбе никого уже не осталось из батраков, и из длинных свинарников доносилось голодное хрюканье свиней, лошади вытаптывали посевы, коровы мычали, а пан Ильенков, разморенный духотой и страхом, задыхался на веранде от злости.

В полдень на сходку пришел из усадьбы Филатов, одетый в форму земского начальника. Насупив брови, он окинул злым взглядом организаторов сходки и бледного от страха старшину и тоном, каким привык обычно разговаривать с крестьянами, коротко спросил:

— Что это, бунт?

— Нет, господин земский начальник, — ответил Александр, подмигивая окружающим. — Мы совещаемся тут, что с вами сделать.

— Посадить в каталажку, в арестантскую! — крикнули из толпы. — Туда, куда нас сажал, чтобы знал, как пороть мужиков.

— Я пришел от господина Ильенкова, — сразу переменил тон Филатов: перед ним было море рассерженных голов. — Я пришел сказать, что помещик требует вернуть хотя бы часть наемных рабочих.

Но Филатову не дали закончить и под общий крик отвели в арестантскую. Старшина мелко крестил лоб и то и дело пил из ведра воду.

Один за другим снова выходили на крыльцо крестьяне и рассказывали о своем бедственном положении. У пана были бескрайние поля, табуны коней, стада свиней, он платил гроши наемным рабочим, а за аренду одной десятины сдирал по двадцать пять рублей. И если крестьянин не мог заплатить и пану, и за подати, земский распродавал с торгов последние его пожитки.

— Пусть он об этом послушает, — сказал Александр.

Земского снова вывели на крыльцо. Он стоял, понурившись, а на его голову, как камни с неба, сыпались проклятия и укоры. Потом кто-то предложил его разжаловать — пусть снимает форму. Филатов скривил губы и молча снял с себя белый китель и фуражку с гербом. Но этим собрание не удовольствовалось: он должен отречься навсегда от своей позорной службы. Филатов закусил до крови нижнюю губу и молчал. На площади тоже наступила могильная тишина. Только слышно было, как где-то на

соседнем дворе пищали цыплята. Наконец земский начальник едва слышно проговорил:

— Хорошо, я отрекаюсь.

— Честное слово? — спросил, обрадовавшись, Александр. — Значит, точка. Можно поверить на слово?

— Я дворянин, этого достаточно, — с обидой ответил Филатов.

На площади воцарилось такое веселье, как будто люди неожиданно самым лучшим образом решили все дела.

— Думаю, теперь можно вам передохнуть, — также повеселев, сказав Филатов, нагнувшись к Александру, — ведь такая жара! Пойдемте ко мне, пообедаем, искупаемся и разрешим остальные вопросы без ссоры.

Александр так и подскочил.

— Мы тебя и тут выкупаем! Слышите, — обратился он уже к собранию, — барин хочет меня подкупить.

Сквозь толпу насильно протискивалась какая-то женщина. Когда она оказалась перед крыльцом, Александр узнал жену Филатова. Она была взволнована, а увидев своего мужа без кителя, раскрыла в удивлении глаза.

— Тебя били, Нил? — воскликнула она испуганно.

— Я только в холодной посидел, Маша!

— Но папа сидит голодный! — Она, засверкав глазами, обратилась к собранию: — Вы что, не можете этого понять? Это… это издевательство! Кто вам позволил забрать кухарку от предводителя дворянства? Вы будете за это отвечать! А ты, Нил, напиши папе, что тебя не отпускают мужики.

Появление барыни и ее решительное наступление смутили Григория, который служил в усадьбе батраком. Он растерялся и, глядя на Пархоменко, заморгал глазами. Александр перегнулся через стол.

— Вам никто не давал слова, барыня. У нас порядок.

Филатова теперь уставилась на Александра и завопила так, словно кто-то дернул ее за косу:

— Тебя первого посадят, чтоб не бунтовал мужиков, забастовщик!

Тем временем Филатов написал что-то на клочке бумаги и через старика, который стоял рядом, передал записку жене. Она быстро пробежала ее глазами и повернулась было, чтобы идти назад, но Александр загородил ей дорогу.

— Записочку надо показать собранию, раз муж арестованный.

Барыня быстро опустила бумажку за корсаж и вызывающе посмотрела на Александра. Филатов стоял бледный, видимо, боясь, что станет известно содержание записки. В толпе, как ветер

прошелестели слова: «В пазуху спрятала». Александр покраснел, как мак.

— Вы не хотите отдать записку? — спросил он, еще сильнее покраснев и не решаясь заглянуть туда, где исчезла записка.

Барыня молча, с крепко сжатыми губами, отрицательно покачала головой.

— Доставай, доставай, — зашумели в толпе.

— А то я полезу. Дело общественное, а баба не в обиде будет на молодого, да еще и чернявого!

В записке, которую пришлось взять у барыни силой, Филатов советовал тестю вызвать из Митякинской станицы казаков, «ибо крестьян можно умиротворить только оружием».

— Вот такое ваше дворянское слово! — покачал головой Григорий. — Сказано, что потайная собака — что пан: коли не укусит, так залает. Ну, как общество думает, что с ним делать?

— Пусть дает подписку!

Филатов даже позеленел от злости, но все же дал письменное обязательство, что больше никогда не будет служить земским начальником. Но перед тем как отпустить его домой, к Ильенкову послали делегацию для переговоров.

Ильенков, словно выброшенный на берег сом, задыхался на веранде от астмы и злобы: мужики, которые прежде не смели пискнуть, позволяют себе не только митинговать, но и оскорблять его самого, зятя и даже дочь! Вместо записки жена Филатова передала ее содержание на словах и еще добавила: «Надо сейчас же послать, пусть дадут полсотни казаков!».

Местный кулак Моргун, который пришел тайком и теперь стоял возле дверей, утвердительно кивал головой:

— Как же, разумеется!

— Сотню, две! — кричал Ильенков. — Чтобы село под метлу вымести. Я их перевешаю, я их… — Приступ астмы перехватил ему горло. Дочка подала стакан воды. Он застучал об него зубами. — Завтра тут снова будет тихо, как на кладбище. Кто там? — Ильенков схватил в обе руки по револьверу.

Моргун, узнав прибывших, боязливо ступил за дверь.

— Это только делегация, — сказал, стоя на ступеньках, Александр и насмешливо улыбнулся, заметив перекошенное от страха лицо помещика. — Оружие и у нас есть, барин!

В кармане у Александра был револьвер, а через плечо висела шашка пристава.

Ильенков плаксивым голосом начал:

— А, с тобой ораторы? Не буду разговаривать: они не крестьяне.

— Да, только скот у вас пасли, — сказал Иван Пархоменко.

— Вы тоже, кажется, только сегодня стали крестьянином. Много накосили? Не буду с вами разговаривать!

— Не хотите? — спросил Александр, пощипывая усики. — Сожалеем, что пришли. Мы от общества посланы.

Ильенков вскипел и схватился за грудь.

— Вот до чего вы своего пана довели. С тобой я еще могу разговаривать, тебя я помню, ты, кажется, пастухом был у меня.

— А теперь я не хочу с тобой разговаривать. Точка. Так и доложим собранию.

Под Ильенковым жалобно заскрипел стул, однако делегация, не оглядываясь, пошла обратно. По двору с дробовиком за плечами ходил Савка, сухой и злой одноглазый казак, который за рюмку водки мог продать кого угодно. Он и сейчас был пьян, но, не выдержав взгляда Александра, съежился и чертыхнулся.

Крестьяне понимали, на что надеялся и чем себя тешил Ильенков. Они с тревогой поглядывали на улицу, спускавшуюся к Донцу. Еще больше волновался Александр. Нужно было выбить у Ильенкова и эту надежду, тогда он не выдержит. Площадь, как и в первый день, все еще чернела от толпы, а дело не подвигалось. И Александр теперь не отрывал глаз от реки, которая серебряной чешуей поблескивала на солнце.

С полсотни казаков переправились на лодках через Донец. Но только они вошли в село, как неожиданно со всех сторон их окружили крестьяне с кольями и вилами. Казаки привыкли полагаться на острые сабли, а еще больше на быстрые ноги лошадей, тогда они могли бы нагнать страху своим диким гиканьем и свистом, а сейчас они плелись пешком и за плечами были только дробовики. Кто-то несмело попробовал защищаться, но Федька Кривосын, с револьвером в руке, закричал:

— Будете нахальничать — сироты по вас будут плакать. Берите у них ружья.

Обескураженных и перепуганных казаков привели на сходку. Их встретили таким градом ругани, что казаки не смели и глаз поднять.

— Продажные вы души, — сказал Александр, — зачем вас принесло? Мы ссоримся с помещиком, с капиталистом, а вы чего вмешиваетесь?

— Разве ж мы знали? — проговорил чуть ли не сквозь слезы самый молодой казак.

— Вам пан — брат, или сват, или за свой стол посадит?

— Вот крест святой, не пошли бы, кабы знали, зачем, — перекрестился старый казак.

— Или не хотите, чтобы вам красного петуха подпустили?

Теперь уже начала клясться вся полсотня казаков, что больше никогда не будут заступаться за пана.

Ильенков видел с веранды, как вели через площадь обезоруженных казаков и как потом они, понурившись, шли обратно, а кое-кто из них даже погрозил на окна кулаком. Теперь уже никакой надежды не оставалось. Пока прибудет из Славяносербска полиция, подохнут свиньи, коровы и лошади, да наступало время и за косовицу браться, а делегация от собрания больше не приходила. Ильенков хотел было послать за нею одноглазого Савку, но тот был совсем пьян и даже пробовал целиться из дробовика в помещика. Может, и он уже перешел на сторону мужиков? А больше послать было некого. Филатов и его жена боялись теперь высунуть нос из дому. Можно с ума сойти! Хоть сам предводитель дворянства иди и проси к себе делегацию, которую выгнал. Новый приступ астмы сдавил Ильенкову грудь.

Теперь собрание могло выжидать спокойно. Помещику больше ничего не оставалось, как самому начать переговоры, а тогда уж они выложат свои условия.

На четвертый день с поручением от Ильенкова в волостное правление явился нотариус. Уж одно то, как вкрадчиво пожимал он руки всем присутствующим, показывало, что победа крестьян была полной, — и действительно вскоре договорились по всем пунктам. Тут же подписали условие, по которому Ильенков, до тех пор, пока на то будет воля общества, сдает свою землю в аренду безземельным крестьянам не по двадцать пять рублей, а по одному рублю девяносто копеек за десятину, повышает заработок батракам и оплачивает все убытки, причиненные крестьянам стражниками.

Когда подписи на договоре были скреплены печатями волостного правления и нотариуса, Александр облегченно вздохнул, потянулся и, хлопнув по спине Григория, сказал:

— Точка, дядька! Вот что значит организация. Теперь можно и искупаться.

Крестьяне медленно расходились с площади, сбитой за четыре дня в порошок. Поднятая пыль висела над селом, как розовый туман.

Вместе с Александром пошел купаться на Донец Федька Кривосын, а Иван со своими товарищами отправился к отцу. Его хату было видно с берега. Александр уже собрался прыгнуть в воду, но еще раз оглянулся на отцовское подворье. Там почему-то забегали люди, потом кого-то вывели из хаты, на них набросились сразу несколько человек, и все сбилось в кучу.

— Федька, ты видишь? — спросил Александр взволнованно.

— Полиция!

У ворот собралась толпа. Видно было, как люди размахивали руками, наверно, и кричали что-то, но здесь не было слышно. В толпу кто-то ворвался верхом на лошади и тоже замахал руками, вероятно, уговаривал.

— Надо бежать! Одевайся, Федя.

— Полиции в руки? Разве теперь соберешь людей? Прыгай в лодку!

К берегу с горы бежала какая-то женщина. На солнце ее волосы, казалось, пылали огнем. Александр узнал свою жену и побежал ей навстречу.

— Что там случилось? — закричал он еще издали.

Жена, бледная и испуганная, держалась за сердце.

— Исправник с полицией. Тебя ищут. Ивана и Василя арестовали. Хотели бить, а дядьки за колья… Теперь все пропало!

— Договор уже подписан, и печать поставлена, — растерянно сказал Александр и как-то по-детски сморщился, наверно, поняв пустоту этих слов.

На околице села показался всадник. Он скакал к реке.

— Возвращайся, Тина, а я в лесу перебуду. Не беспокойся: господин исправник опоздал. — Александр прыгнул в лодку, где Федька уже держал над водой весла.

Смущенно улыбаясь жене, которая грустно смотрела ему вслед, Пархоменко словно впервые заметил, что она скоро станет матерью, и виновато проговорил:

— Не волнуйся, тебе нельзя, а я не пропаду.

5

Приближался вечер. Тина, покормив ребенка, носила его по комнате и, щекоча розовое тельце, приговаривала: «Агу, маленькая, агу». Дитя сморщилось, а затем улыбнулось. Материнское сердце забилось от радости. Вот придет муж, и она ему покажет, какая у них уже большая дочка.

Тина невольно посмотрела в окно на улицу, по которой всегда в это время возвращался с завода ее Александр. Вместо мужа она увидела на противоположной стороне какого-то длинноногого, с тараканьими усами, субъекта — тот быстро отвел пронзительные глаза и равнодушно зашагал вдоль забора. Тина почувствовала, как у нее похолодело внутри.

За четыре года жизни с Александром Пархоменко она уже научилась угадывать среди прохожих подозрительных людей, — когда они начинали вертеться возле их жилья, это всегда приводило к аресту Александра.

Так было в Ольховой, когда он в девятьсот шестом году был вынужден в течение трех месяцев прятаться и только после этого смог наконец поступить на литейный завод. Тина вспоминает эти дни и невольно прижимает ребенка к груди. Теперь она по-другому относится к этим арестам и к тому, что делает Александр, но тогда, когда он, отсидев за макаровоярский бунт, вышел из тюрьмы, она подумала, что ей уже не будет проходу. Муж-«арестант», и Тина боялась смотреть в глаза своим подругам. Но Александр чувствовал себя так, словно это его возвеличивало, он только посмеивался, когда его робкая жена вздыхала про себя. Потом Тина поняла, что разные бывают арестанты, и, когда к ним снова пришли с обыском, уже не плачем, а пренебрежением встретила пристава. Где-то на дне сердца ворошился страх, что снова могут взять от нее мужа, но теперь она смотрела на него, как на героя, и согласна была молча претерпеть любые невзгоды, какие придется испытать.

Когда Александра забрали в девятьсот девятом году и посадили за решетку на целый год, она увидела, что на заводе рабочие относятся к ней с необычной теплотой, что каждый пытается чем-то помочь. Тогда она впервые по-настоящему осознала свой путь. Заберут царские палачи Александра — она знает, что ей делать на воле: будет помогать, как сумеет, его товарищам.

Внесенного в «черные списки» Пархоменко нигде не принимали на работу. Он возвращался домой и, глубоко пряча свое настроение, говорил, усмехаясь: «Не пришлось мне в школе

учить географию, так будем догонять теперь. Поедем в Дебальцево, может, туда еще не доскакали «черные списки». И они поехали в Дебальцево. Вот уже третий месяц, как Александр работает на механическом заводе.

Тина смотрит в спину длинноногому субъекту, который неохотно отходит от их жилища, и вспоминает, что в день обыска, месяц тому назад, точно такая же длинноногая фигура промелькнула перед окнами. В памяти запечатлелась эта острая спина, узкие плечи, длинные ноги и развинченная походка. Значит, сегодня опять надо ждать какой-нибудь неприятности.

Первый страх уже рассеялся, и она почти спокойно — только руки слегка дрожали — начала перелистывать книжки, которые вчера еще читал Александр. В. Либкнехт. «Пауки и мухи», — это какая-то новая книжка. Тина взглянула на вторую страничку. Цензурного разрешения не было. Она отложила ее в сторону. Брошюра Ленина «Что делать?» вложена между страницами «Нашего журнала». Тина усмехнулась такой немудреной конспирации, отложила и эту книжку. «Господа Головлевы» Салтыкова-Щедрина. Приложение к «Ниве». Это, пожалуй, можно оставить. «Кобзарь» Тараса Шевченко она повертела в руках, раскрыла наудачу и, прочитав только одну строчку: «Людей у ярма запрягли пани лукавії», покачала головой и тоже отложила в сторону. Там же оказался какой-то список — может быть, это члены революционного кружка? Газета «Звезда» выходила, как и другие, и она ее оставила на столе.

Кучку отложенных книжек надо было где-то спрятать. В комнате, которую они снимали, были лишь голые стены, кровать у стены, расшатанный стол под окном да колыбель для младенца; даже маленького Ванюшку, которому уже было четыре года, негде было положить спать. Бежать сейчас в хлев небезопасно: кто-нибудь может заметить. На чердаке прятать нельзя, она не раз слышала, как там кто-то топчется по ночам, особенно когда у Александра собираются его товарищи.

В это время Тина услышала со стороны огорода отчаянный крик Ванюшки. Распахнув дверь, она увидела гусака, который, вытянув шею, гнался за малышом. Тина обернула книжки тряпкой и побежала с ними выручать сынка. Вытирая слезы на личике сына, она положила сверток в бурьян, да там его и оставила.

Уже стемнело, но Александр все еще не возвращался. Ванюшка капризничал и не хотел спать, пока не придет отец и не расскажет ему сказку.

— Какая тебе нужна сказка? — спросила Тина, начиная сердиться.

— Про Ивасика-Телесика, как его взяли гуси на крылышки и

подняли высоко-высоко, выше хаты, выше ворот, и ему все было видно: и наша хата, и станция, и завод. А дед и баба думали, что его нету.

— Ты же знаешь сказку.

— Я хочу еще раз послушать. А почему наш гусак не дает садиться на него?

Мечтая о полетах в небе, Ванюшка, не дождавшись отца, заснул поперек кровати, в изножье. Тина, не зажигая лампы, сидела в темноте и ждала. Под самым окном промелькнула какая-то тень и, перейдя на другую сторону улицы, остановилась под забором — наверно, шпик! Затем прошел городовой и тоже как будто где-то невдалеке остановился. Прошло еще двое пьяных, а может, они только прикидывались пьяными, потому что, как только прошли мимо окна, замолчали. Тина была уже ко всему готова. Она не позволит себе плакать и даже не побледнеет, если эти злодеи появятся на пороге.

На дворе уже светало, а Александр все еще не возвращался. Исчезли под окнами и шпики. Теперь уже не было сомнения — его взяли где-то по дороге. Тина горько вздохнула и начала собирать мужу передачу. Дождавшись утра, она завязала в узелок пару белья, краюшку хлеба, печеной картошки, полдесятка яиц и с ребенком на руках вышла на улицу.

Она пойдет сначала в полицию: там должны сказать, куда забрали ее мужа.

На полдороге ее догнал товарищ Александра.

— А я бежал к тебе, — проговорил он смущенно, заметив печальное и суровое, похудевшее за ночь лицо Тины, — Куда это ты собралась?

— Александру передачу несу в тюрьму.

Товарищ смутился еще больше.

— Вот ведь беда! Я еще вчера должен был предупредить тебя. Александр выезжал на сходку. Верст за тридцать отсюда. Только утром вернулся и прямо пошел на завод, а ты передачу…

Тина насупила брови, но глаза под бровями заиграли веселым блеском.

— И не позавтракал? Вот это и передай ему. — Потом, смутившись, добавила: — Только про передачу не говори. Лучше скажи, дочка уже смеется.

Александр возвратился только поздно вечером. Он был весел, подвижен и словоохотлив. На сходку, которую здесь собрали впервые, явилось много рабочих, настроение у всех было боевое, а главное — отлично провели полицию. Про сходку, наверно, никто и не догадывался. Тина, напрасно промаявшаяся целую ночь, хотя и рада была возвращению мужа, но не удержалась, чтобы не

упрекнуть его.

— Хоть бы предупредил! А тут еще сыщики весь день лазят, вынюхивают.

— За это они деньги получают, Тина. Это даже приятно: охраняют, как губернатора. Дочка уже спит? — И он с ласковой улыбкой наклонился над колыбелью. — А предупредить не успел. Прости.

Ванюшка ревниво потянул его за палец.

— Папка, почему наш гусак не хочет взять меня на крылья?

— Потому что он живой, сынок, не из сказки, он хозяйский. Как вырастешь, садись на настоящие крылья, будет надежнее. Хочешь, я тебе расскажу, что в лесу видел?

Ванюшка взобрался к отцу на колени и после первых же его слов заявил:

— А я не боюсь волка, я его топором.

Пархоменко лег на кровать и по привычке потянулся за журналом. Раскрыв его, он с тревогой взглянул на жену:

— Это ты вытряхнула или кто чужой был?

— Книжки? — спросила Тина, подняв голову над шитьем. — Я их вынесла. Ты такой неосторожный, а к нам даже в окна заглядывают.

— Волков бояться… Захотят, так и без этого возьмут. Принеси, я дочитаю.

Тина вздохнула и укоризненно покачала головой. Из лежавшего в бурьяне узелка она вытащила список и спрятала его под комьями земли, книжки принесла Александру и взволнованно сказала:

— Опять длинноногий ходит по той стороне.

— Значит, можно не закрывать окна на всю ночь, — шутливо ответил Александр, — хоть какая-нибудь польза будет от шпика.

Около полуночи, когда Александр уже собирался лечь спать, послышался стук в дверь, одновременно под окном появилась круглая и словно взнузданная усами морда городового. Тина окинула долгим взглядом Александра, и на глаза набежали слезы.

Полицейские заполнили маленькую комнату. Околоточный надзиратель сразу же бросился к кровати и засунул руки под подушку. Никакого оружия там не оказалось, в карманах брюк тоже ничего не нашли, тогда жандарм присел к столу и начал перелистывать книжки. Увидев брошюру Ленина, которая выпала из журнала, он, играя темляком, спросил:

— Вы эту книжку читали на сходке?

— Нет, другую, — ответил Пархоменко задорно.

— Одевайтесь.

Александр надел кепку, поцеловал детей и пошел намеренно бодро. С женой попрощался у калитки.

6

На перроне вокзала, под июльским солнцем, голосили женщины, повиснув на шеях у своих мужей. Их окружали заплаканные дети. Бородатые воины, с кокардами на измятых фуражках, целовали в последний раз родных и, перебраниваясь с конвоирами, прыгали в товарное вагоны. Их отправляли на фронт. И строже, чем когда-либо прежде, жандармы следили за тем, чтобы кто-нибудь случайно не выкрикнул громко, что их гонят на смерть. Мировая война шла уже второй год, в городах и селах уже было полно калек, а на фронт посылались все новые и новые маршевые роты.

Из Луганска отправляли партию больше чем в сто человек. Почти все это были рабочие, которых высылали на фронт за участие в забастовке на гартмановском заводе. Летом 1916 года около пяти тысяч рабочих, доведенных до голода, бросили станки и заявили, что будут бастовать до конца, какие бы ни были последствия. Они добивались повышения заработной платы: жизнь подорожала в полтора раза. Однако в ответ на забастовку администрация завода объявила локаут и уволила всех, а полиция арестовала стачечный комитет и около сотни наиболее активных рабочих.

Чтобы не попадаться лишний раз на глаза жандармам, Александр Пархоменко забрался в самый угол на верхние нары и оттуда, через головы других, с грустью смотрел в окошко на жену с ребенком на руках. Ванюшка стоял возле матери и кулачками размазывал по щекам слезы. Жандармы бесцеремонно выгоняли их с перрона. Пархоменко схватил лежавшее у него под головой полено и по пояс высунулся из окна.

— Ты кого это так гонишь, разбойник? Солдаток? Еще мужья не успели отъехать, душа из тебя вон, а ты уже нахальничаешь? Ты сюда подойди, меня тронь!

Жандарм зачмокал толстыми губами.

— Ишь какой бравый! А ну, убери голову внутрь вагона, коли приказываю, а жена пусть идет и в грамотку тебя запишет[10].

К вагонам приближался жандармский ротмистр, и Пархоменко, погрозив кулаком, снова спрятался в вагон. Встречаться с жандармами, которые могли его узнать, было небезопасно. За забастовку Пархоменко должны были арестовать в первую очередь, потом, закованного в кандалы, отправили бы к воинскому начальнику, а оттуда немедленно на фронт. Александр Пархоменко скрывался несколько дней и затем сам явился в воинское присутствие. Теперь его как добровольца

посылали не на фронт, а для начала в запасный батальон, в Воронеж.

Поезд уже стучал колесами, но в вагоне все еще стояла тишина, нарушаемая только тяжелыми вздохами. Мокрые от слез глаза невидящим взглядом смотрели куда-то вдаль, и странно было увидеть одно лицо, которое чему-то улыбалось. Тщедушный человечек, в измятой гимнастерке и обвисших штанах на узких бедрах, не мог усидеть на месте.

— Не дождешься смерти? — спросил Пархоменко, раздраженный его бессмысленной улыбкой.

— Угадал, друг, — обрадовался тот, что наконец можно поговорить. — Уже сколько раз думал о ней, о смерти, но и тут деньги нужны, а на фронте ее даром раздают — и прямо в царство небесное.

— Скотина, и та ревет перед убоем.

— Жизни жалко. Даже кошку, и ту хозяин кормит, а трудящиеся везде голодают. Теперь говорят: «Защищай, Василий Макогон, веру и царя», — а я голодовал до войны…

— Будешь голодовать и после войны, — закончил за него Пархоменко. — Это такая война, товарищ Макогон.

— Так за что же мы воюем?

— Одни воюют за то, чтобы удержать награбленное, а другие — чтобы еще больше награбить. А ты неси им свою голову.

— По-вашему, значит, не надо защищать Россию? — вызывающе бросил кто-то с нижней полки.

Пархоменко заглянул под нары и встретился с колючими глазами какого-то тонкогубого парня.

— Россия, товарищ, — это народ, а народу чужие земли не нужны. Это капиталисты спят и во сне видят новые колонии.

— Зачем же ты идешь тогда воевать, да еще добровольно? — ехидно спросил тонкогубый и подмигнул тщедушному человечку, который тоже добавил:

— Вот верный вопрос, скажи насчет себя.

— Воевать надо, только надо знать — с кем, — ответил Пархоменко и обратился к Макогону: — Ты смерти ищешь, а я не хочу умирать, я хочу бороться. Воевать есть с кем и кроме фронта. Вот хотя бы взять такой пример: на паровозостроительном заводе чистая прибыль против мирного времени увеличилась на семьдесят пять процентов, а рабочим не хотели прибавить пятака. Что ж нам — с голоду подыхать, ежели на базаре все подорожало вдвое? Если б я мог жить по-человечески, разве допустил бы, чтобы у меня дочка от малокровия умерла? Ну и забастовали. А я что, должен ждать, пока меня опять посадят? От Воронежа до фронта путь далекий. А ты вот, тонкогубый, — добавил

Пархоменко, повернувшись в его сторону, — наверно, испугался, что я «Георгия» раньше тебя получу? Я тебе все крестики оставлю, даже деревянный.

Тщедушный человечек уже не усмехался, а, уставив в землю глаза, только качал головой.

— А говорят, мастеровым легче. Ну тогда, Василь, сядь и молчи. — Он присел на край полки и задумался.

Тонкогубый с оскорбленным видом свертывал цигарку, Другие тихонько переговаривались каждый о своем. Солдат с перевязанной рукой, у самых дверей, сперва закачал головой в такт какой-то мелодии, а потом запел грустно, с надрывом:

Эх, пойду ли я, сиротинушка,
С горя в темный лес,
В темный лес пойду,
Я с винтовочкой.
Сам охотою пойду,
Три беды изделаю:
Уж как первую беду —
Командира уведу,
А вторую ли беду —
Я винтовку наведу,
Уж я третью беду —
Прямо в сердце попаду…

Заложив руки под голову, Пархоменко слушал песню и думал: что ему делать, когда он очутился среди этих приговоренных к смерти «солдатушек», которые ненавидели войну, но молча несли свои головы под пули?

Последующие дни промелькнули для Пархоменко, как странички скупого дневника, написанного человеком, с головой окунувшимся в события.

Новый год — 1917-й — он встречал в Москве. Из запасного батальона в Воронеже, где Пархоменко успел разагитировать солдат, читая им про наши «победы» на фронте, его охотно выпроводили в Москву на медицинский осмотр. Командир батальона, вероятно, был рад, что наконец избавился от беспокойного солдата. Комиссия послала Пархоменко в экскаваторную роту, стоявшую под Москвой. Военный партийный комитет поручил ему вести в роте пропаганду.

Двадцать четвертого февраля по Москве пошел слух, что в Петрограде начались выступления рабочих. Начало положили женщины, они с криками: «Долой войну!», «Хлеба!» — снимали мужей с работы. С Выборгской стороны волнение перебросилось

на другие районы. Идут стычки с полицией.

Двадцать пятого февраля Пархоменко наведался в партийный комитет. Общее мнение товарищей было такое: в Петрограде начинается революция. Экономические условия уже отошли на задний план, на митингах кричат: «Долой царя, да здравствует Временное правительство, учредительное собрание, восьмичасовой рабочий день, долой империалистическую войну!..» На улицах в Москве было полно народу. Солдаты в роте день и ночь спорили. Кое-кто еще верил, что царь заботится о народе, а министры прячут от него правду. Войну все ненавидели, но не знали, как можно с нею покончить.

Двадцать восьмого февраля в Москве получили с нарочным манифест социал-демократической партии большевиков ко всем гражданам России — в нем сообщалось, что твердыня русского царизма пала. «Благоденствие» царской шайки, построенное на костях народа, рухнуло. Столица в руках восставшего народа, части революционных войск перешли на сторону восставших. Центральный Комитет призывал по всей России брать дело свободы в свои руки, сбрасывать царских холопов, звать солдат на борьбу! Услышав об этом, Пархоменко вскоре уже шагал со своей командой по улицам Москвы. За ним пошло восемнадцать человек.

На площади перед Большим театром начался митинг, на прилегающих улицах полно народу, полиция, пешая и конная, мечется всюду, но военных частей не видно. На местный гарнизон командование не полагается и боится выводить солдат из казарм.

К вечеру Пархоменко со своим отрядом пробился к городской думе, куда его избрали делегатом от солдат. В думе шло заседание в связи с забастовками на заводах и пекарнях, в городе уже второй день не выпекали хлеба. Городской голова говорил с Петроградом по прямому проводу: в Петрограде на улицах бой. Рабочие разбили арсенал. Объявлено осадное положение, но войска переходят на сторону рабочих. Государственная дума по царскому указу распущена, избран временный комитет. Улица перед Таврическим дворцом, где заседала дума, запружена восставшими, вооруженные рабочие и солдаты заполнили весь дворец.

— Ну, теперь точка, — сказал Пархоменко растерянному члену думы, похожему в своем сюртучке на черного жучка, — теперь царю амба! — Жучок побледнел и театрально схватился руками за голову.

Такими же перепуганными выглядели и другие члены думы: за окнами уже слышались выстрелы, а на площади загорались костры, возле них плясали и грелись солдаты. В зал входили все

новые делегаты, в пулеметных лентах накрест, и заявляли, что их части также становятся на сторону революции.

В президиуме от каждого смелого слова у всех начинались колики, а когда Пархоменко зачитал манифест большевиков и крикнул: «Да здравствует демократическая республика!», — в зале поднялась буря. Одни кричали: «Ура!» — и бросали вверх шапки, другие кричали: «Полицию!» Купцы и дворяне еще надеялись на «фараонов», которые засели в участках и на чердаках с пулеметами. Надо бы с этим кончать, а в думе теряли время на болтовню. От речей уже пухла голова.

Первого марта в районе Марьиной рощи городовые сбежали со своих постов. Часть из них переоделась и скрылась, остальные забаррикадировались в участках. Вскоре Александр Пархоменко со своим отрядом выкурил оттуда и этих. Теперь прибавилось еще полсотни наганов и сабель, и он принялся за организацию милиции. Рабочие и гимназисты, которые днем срывали с вывесок царских орлов, охотно навешивали на себя наганы с красными шнурами. У них был опереточный вид, но пока что с этим приходилось мириться. Вечером обезоружили полицию еще в двух участках.

Утром стало известно, что царь прислал из Ставки петроградскому градоначальнику телеграмму:

> «Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией».

Пархоменко слушал сообщение и качал головой:

— Для дурака гор не бывает, ему везде ровно! От этих «беспорядков» ты, Николай, сам полетишь вверх тормашками. Нет, царь, народ восстал за мир, за хлеб, за настоящую свободу! Точка! Рабочие и солдаты уже создали свой орган власти — Совет рабочих и солдатских депутатов!

Второго марта царь отрекся от престола. Для подавления революции он послал с фронта в столицу лучшие части, но и они перешли на сторону восставших, тогда он сам поехал из Ставки в Петроград. Но дальше станции Дно железнодорожники его поезд не пропустили. «Я же говорил, — смеялся Пархоменко, — что будет царю аминь!».

Проходили первые дни, напоенные терпким духом революционной борьбы, и постепенно из тумана выступало истинное лицо революции. Меньшевики передали власть Временному правительству милюковых, коноваловых и тучковых.

Значит, и дальше война «до победного конца»?

В конце марта Пархоменко получил письмо из Луганска и

очень обрадовался. Партийный комитет звал его домой.

В Луганске в Совете депутатов и в доме тоже верховодили меньшевики и явные черносотенцы, перекрасившиеся в «революционеров». Но Пархоменко знал, что на луганских заводах — двадцать тысяч рабочих. Именно им должна принадлежать власть, а не кадетам. Ворошилова, еще не было, но в письме товарищи сообщали, что и он уже собирался вернуться назад. Пархоменко решил ехать в Луганск немедленно. Донбасс так легко не сдаст революцию.

7

Был ясный день конца сентября. Усталый и пропыленный Пархоменко, в военной форме, возвращался из станицы Луганской, где был выставлен на мосту через Донец заслон против казаков. За Донцом начиналась область Войска Донского. После неудачного мятежа Корнилова вся контрреволюция стягивалась теперь на Дон, к генералу Каледину. Соглашательская тактика эсеров и меньшевиков давала уже свои плоды — буржуазия с генералами спокойно сорганизовалась, чтобы захватить власть в свои руки и залить революцию кровью рабочих и крестьян.

Это ясно видели большевики, и во всех городах возникали комитеты спасения революции. В Луганске он был создан на другой же день после начала корниловского заговора. В ту же ночь из города исчез уездный комиссар Временного правительства. Рабочие, видя поведение меньшевиков, гнали их теперь из Совета депутатов, а когда наступили перевыборы, председателем Совета избрали Клима Ворошилова.

Власть в городе перешла в руки большевиков.

Ожидая нападения с Дона на Луганск, где был военный завод с огромными запасами патронов, комитет создал Комиссию по обороне города и штаб Красной гвардии, которые возглавил Пархоменко. Красная гвардия составилась из отдельных рабочих отрядов. Ежедневно после работы они шли на базарную площадь или к собору и с кольями в руках делали перебежки либо бросались с криками, «ура» на воображаемого врага. Вокруг стояли жены, которые, не дождавшись своих мужей с работы, приносили им сюда пищу. Они не меньше, чем сами красногвардейцы, переживали все перипетии боя и помогали им то криком, то смехом.

Пархоменко слез с дрожек и, разминая отсиженные ноги, подошел к отряду гартмановцев. В отряде за время его отсутствия бойцов стало заметно больше.

— Откуда это? — кивнул он в их сторону.

Начальник отряда из фронтовиков приложил руку к фуражке и отрапортовал:

— К отряду присоединилось еще тридцать два человека, товарищ начштаба. Увидели сами, чем пахнет. Защищать революцию хотят, а у нас на шестьсот пятьдесят человек — восемьдесят две винтовки. Разве это дело, Александр Яковлевич, на фронт идти с палками? Гайдамакам небось нашлось оружие.

— Про каких гайдамаков ты говоришь? — не поняв его,

спросил Пархоменко.

— Ты еще не слышал? Двадцать пятый украинский полк прибыл и два эскадрона. Уже и караул несут. Самостийники ходят теперь как индюки.

До сих пор в городе гарнизон составляли запасный батальон да команды выздоравливающих, но они заявили комитету о своей преданности революции. Переспросив товарища про гайдамаков, Пархоменко задумчиво покрутил свои длинные казацкие усы и ответил:

— Оружие будет, товарищи. А на ученье надо налегать, раз такие соседи завелись.

На Петроградской улице он увидел кучку казаков в папахах. Это и были те самые гайдамаки, о которых ему только что говорили. Тут же с пьяными выкриками расхаживали мещане, похожие на тех, какие когда-то шествовали по улицам с портретами царя. Вероятно, гайдамаки захватили винный склад и теперь спаивали черносотенцев. Смотря на давно не виденных в городе пьяных, Пархоменко подумал: «Сядут на голову, если не будет у нас оружия, обязательно сядут», и направился в партийный комитет.

— Как вы могли допустить, чтобы хозяйничали гайдамаки? — с сердцем спросил он у первого же, кто встретился ему в партийном комитете, хотя и сам понимал, что без оружия даже большие отряды Красной гвардии ничего не стоят.

В тот же день партийный комитет решил послать за оружием в Харьков, где Ворошилов уже раньше раздобыл немного винтовок.

Центральная рада, зная о настроениях донецких рабочих, тщательно следила за грузами, которые направлялись в Донбасс. Поэтому приходилось прибегать к хитрости. На этот раз на вагоне, груженном винтовками и четырьмя пулеметами, на стенке, чтобы усыпить бдительность гайдамаков, вывели мелом: «Военный завод. Стружка».

Может быть, благодаря такой надписи вагон без всяких приключений дошел до станции Нырково. Узнав об этом, Александр Пархоменко с телеграфистом Ивановым, захватив с собой пятнадцать красногвардейцев, выехали навстречу.

Товарищи в Луганске ждали на железнодорожном телеграфе уведомления, чтобы заранее выслать на пути красногвардейцев, а на стрелку паровоз.

На станции Нырково вагон со «стружкой» прицепили к пассажирскому поезду. Оставалось проехать четыре станции, а главное, уведомить Луганск так, чтобы никто не узнал, так как на железной дороге уже повсюду были агенты Центральной рады.

Раздумывая, как поступить, Пархоменко с Ивановым ходили по перрону и украдкой поглядывали на окно, у которого сладко позевывал над аппаратом заспанный телеграфист. Прозвучал второй звонок, телеграфист хотел выглянуть в окно, но позади себя услышал грозную команду: «Руки вверх!».

Пока ошеломленный телеграфист, подняв руки, пытался понять, чего от него хотят, Иванов настукал уведомление в Луганск о вагоне с оружием и еще раз напомнил насчет паровоза — чтобы немедленно отправить вагон на патронный завод. Когда они выбежали на перрон, их поезд уже поблескивал окнами.

Все еще ничего не понимая, телеграфист продолжал стоять с поднятыми руками, пока высокая фигура Пархоменко не прыгнула в задний вагон. Только теперь телеграфист набрался смелости и, высунувшись в окно, истерически закричал: «Экспроприаторы! Экспроприаторы!». Из последнего вагона ему махали рукой и смеялись.

Через два часа поезд подходил к станции Луганск. На условленном месте уже стоял под парами маневровый паровоз, стрелки охраняли часовые красногвардейцы, но, кроме них, Пархоменко увидел еще цепь гайдамаков, — они начали окружать поезд. Гайдамаков вел сухой и горбоносый полковник в папахе.

Пархоменко взобрался на тендер маневрового паровоза, к которому уже прицепили вагон, и крикнул:

— Вы лучше отойдите. Оружие необходимо для революции, и рабочие никому его не отдадут. Вот, смотрите!

Цепь остановилась: по рельсам, прямо на гайдамаков, бежали красногвардейцы, угрожающе стуча затворами. От толчка паровоза Пархоменко едва удержался на ногах и в ту же минуту услышал команду полковника: «Огонь!». Пули просвистели над ухом. Пархоменко продолжал стоять на куче угля, но в поднятой руке теперь была граната.

— Сволочи, я умру за революцию, а вы издохнете как негодяи! — И он замахнулся гранатой. Это был условный знак. Тут же двери вагона раскрылись, и из него застучали, как пневматические молотки, пулеметы. Гайдамаки бросились врассыпную.

Тем временем паровоз вывел вагон на стрелку, которую красногвардеец перевел на путь, ведущий к заводской платформе, однако в последнюю минуту гайдамак прикладом сбил красногвардейца с ног и откинул рычаг стрелки назад. Вагон сошел с рельсов и начал рвать шпалы.

На выстрелы и крик со всех концов сбегались люди. Они уже окружали вагон, как мухи корку хлеба. Опомнившись после

паники, гайдамаки снова повели наступление на вагон, прокладывая путь в толпе штыками. Пархоменко с револьвером в руке стоял перед открытыми дверями вагона. Несколько штыков появилось перед самым его носом. Он, наклонив вперед голову, двинулся прямо на острую сталь.

— Ну, колите, стреляйте за революцию! Мало крови пролили? — Потом, схватив рукой винтовку, дернул ее на себя. Двое гайдамаков, охнув, покатились ему под ноги.

— Старый режим хотите восстановить? — прохрипел над ними Пархоменко. — Буржуям дорогу расчищаете, ироды?

В толпе нарастало возбуждение, гайдамакам уже наступали на пятки и толкали со всех сторон. Они оказались в кольце разъяренных рабочих и теперь думали только о том, как бы спастись самим.

— Товарищи, в чем дело? — резко закричал, выскочив из толпы, круглый, как бочонок, коротконогий человек. — Я член исполкома. Вы хотите взять оружие, а кто вам позволил? Мне тоже, может быть, нужен вагон оружия.

Пархоменко взглянул на него, как слон на моську.

— Чтобы передать Корнилову? Знаем вас: вы и революцию отдали бы, да оружие было у рабочих.

— Я сам рабочий… Ну, кустарь, какая разница? Мы обязаны думать, как довести войну до победного конца, а не вооружать рабочих. Я — член исполкома.

— И тебя до сих пор не выгнали? — послышалось из толпы. — Вишь, чего им хочется, до победного конца! Так и ступай на фронт, там по тебе пуля давно плачет.

Тем временем на помощь гайдамакам прибыла еще одна команда. Теперь они были сильнее безоружных рабочих. После долгих препирательств наконец пришли к соглашению: перевезти оружие не на завод, а в исполком, но с условием, что до выяснения дела его будут охранять не только гайдамаки, но и красногвардейцы.

Раздраженный Пархоменко со станции прошел прямо в исполком, чтобы посоветоваться с Ворошиловым. Он заслал его в кабинете. Перед Ворошиловым сидел какой-то парень с лошадиным лицом и барабанил грязными пальцами по столу. За поясом у него торчала бомба, а из кармана выглядывал наган.

Это был вожак местных анархистов, которые захватили один из домов Ильенкова на улице Даля и не признавали над собой никакой власти. Увидев Пархоменко, парень демонстративно вытянул на середину кабинета свои длинные ноги в стоптанных башмаках. Сдерживая раздражение, Ворошилов встал из-за стола, показывая, что разговор окончен, но вожак анархистов продолжал

сидеть.

— Отсохли бы они у тебя, — буркнул Пархоменко, зацепившись за его ноги. — Развалился, как поп на крестинах. Чего ты отнимаешь время у человека? Есть дела поважнее. Закрой-ка за собой дверь! Ну, живо!

Когда анархист, испуганно озираясь, вышел, Ворошилов облегченно вздохнул:

— Ты ищешь помещение для штаба? Выкури этих анархистов из дома Ильенкова — вот и будет тебе помещение, а то они уже публичный дом там устроили.

— А ты про оружие слышал? — возразил Пархоменко. — Слышал! Ну, не я буду, если завтра не сотру этих гайдамаков в порошок. До каких пор мы будем им потакать?

— Я бы сделал иначе. Сядь и подумай. Чем ты их будешь бить?

Пархоменко неохотно опустился на стул и, не понимая Ворошилова, вопросительно уставил на него утомленные глаза. Но вскоре на его лице появилась усмешка.

— Ты, Климент Ефремович, и тут прав: голыми руками и крапивы не сорвешь. Подумаю, еще подумаю. Но оружие нужно до зарезу. Надо же выставить отряд и против Каледина.

— Тут вот про генерала какого-то запрашивают, может, ты знаешь?

Пархоменко покосился на бумажку и виновато отвел глаза.

— Это из тех офицеров, что нам казаки передали. Таких бумажек еще, может быть, сорок получишь, если не больше. Я тебе по правде скажу, Клим, они сами просятся, чтобы их расстреливали. Да, да! Ты знаешь, что они вытворяли с рабочими? Только захватят шахту или станцию, сразу всех рабочих тянут на допрос, а потом отпускают едва живыми. Человек и этому рад, а чуть выйдет на улицу, его из окна и пристрелят. Таких генералов вешать надо, а не расстреливать…

От Ворошилова Пархоменко вышел с мыслью как можно скорее добыть оружие. По улицам стучали копыта конных разъездов. Возле Совета, под окнами, прохаживался гайдамак с винтовкой. Он охранял оружие. Однако утром, когда смена часовых пришла заступать на пост, она нашла гайдамаков связанными, а помещение пустым. Все оружие оказалось уже на патронном заводе.

Пьяные дебоши в городе не прекращались, погромная агитация распространялась уже почти открыто. Каледин рвался к Луганску и стягивал силы к Миллерову, а гайдамаки, видимо, только и ждали его наступления, чтобы и самим ударить в спину Красной гвардии в городе.

Дождавшись ночи, Пархоменко взял с собой красногвардейцев, и они тихо окружили казарму. Начальник охраны, похожий на захудалого сельского учителя, увидев Пархоменко, не удивился, а только кисло усмехнулся и, безнадежно махнув рукой, молча положил на стол шашку. Гайдамаки в казарме спали. Разбудила их необычная команда: «Лежать и не двигаться — бежать некуда!» Во всех окнах торчали дула винтовок. Гайдамаки лежали, точно парализованные, до тех пор, пока красногвардейцы не забрали все оружие. Его выносили охапками во двор, где стоял наведенный на казармы пулемет.

Остатки гайдамаков, находившихся в других концах города, с утра подняли стрельбу. К ним присоединилась черная сотня, давно ждавшая подходящего момента, чтобы начать погром. Но еще не успели задребезжать в еврейских лавках окна, как с трех сторон громко и грозно заговорили красногвардейские пулеметы. Кучка гайдамаков бросилась бежать по дороге на Бахмут. Это было все, что осталось от двадцать пятого полка Центральной рады, стоявшего в Луганске.

8

В самом начале зимы через Луганск прошел московский красногвардейский отряд. Он спешил на подмогу Третьей армии, сдерживавшей наступление калединцев в районе станций Миллерово — Лихая. Генерал Каледин пытался отрезать молодую советскую республику от хлеба и угля. Московскому отряду было придано несколько наспех составленных бронепоездов. Вскоре один такой бронепоезд вернулся в Луганск для ремонта. Команда его носила фуражки с матросскими лентами, брюки клеш и называла себя анархистами. Местных анархистов Пархоменко обезоружил еще месяца за два до этого. Им было предложено переселиться в другое помещение, но они знали одно: никакой власти не признаем! — и ответили выстрелами из окон. Когда красногвардейцы оцепили дом, анархисты подорвали его и разбежались, остался только один, которого ранило обломком кирпича.

Узнав об этом, команда бронепоезда решила рассчитаться с Пархоменко за своих единомышленников.

Рабочие железнодорожных мастерских, понимая, что значит бронепоезд с фронта, где бьются их товарищи, быстро закончили ремонт, но команда выезжать не торопилась. Вместо этого она добивалась от Совета депутатов права производить в городе обыски и аресты.

Терпение Совета кончилось, когда команда бронепоезда предъявила требование на снабжение. Среди прочих вещей анархисты потребовали выдать им юбки, пудру, и другую парфюмерию. Чтобы положить предел такому своеволию, Совет поручил Александру Пархоменко, принудить команду подчиниться приказу.

Пархоменко выехал на станцию. Бронепоезд стоял под парами на первом пути, а его команда слонялась с местными девицами по перрону. По их апатичному виду можно было догадаться, что паровоз шипел только для создания боевой романтики, от которой млели девицы.

Появление высокой фигуры в кожаной куртке с ремнями поверх нее и с наганом на боку сразу привлекло внимание. Узнав Пархоменко, матросы окружили его со всех сторон. По блеску их глаз и по тому, как они цедили сквозь зубы слова, виртуозно превращенные в ругательства, Пархоменко понял, что нагану лучше быть в руке: из кобуры он переложил его в карман еще по дороге.

— Товарищи, — начал он, строго смотря в глаза стоящим

впереди, — вы, как более сознательные, должны понимать…

— Кто сознательный? — перебил его долговязый матрос с ногами-дугами, как у кавалериста. — Мы анархисты, нас на конвульсию не возьмешь, приятель!

— Вы понимаете, — возвысил голос Пархоменко, — как радуется контрреволюция, что среди вас затесались предатели рабочего дела? Каледин вешает и расстреливает шахтеров…

— Это мы — предатели, мы, которые триста лет кровь проливали?

— Может, у тебя воображение, что здесь шпана собралась?

— Расступитесь, я ему дух буду выпускать. Куда его стрелять, Колька?

Пархоменко вынул из кармана револьвер.

— Стрелять погоди, а то я так стрельну, что из тебя пыль посыплется. Кто из вас командир? Почему порядка нет?

— Я — командир! — ударил себя в грудь матрос на кавалерийских ногах.

— На фронт, спрашиваю, вы поедете? Или придется разоружать?

— Братва, одной пули ему мало. Расступись!

— Подожди, — придержал командира за рукав голубоглазый матрос. — Я еще хочу удовольствие получить. Пусть скажет, за что он обезоружил анархистов тут, в Луганске.

Матросы подняли крик, замахали револьверами и гранатами.

Теперь Пархоменко не мог уследить за каждым движением и, чтобы прикрыть себя с тыла, прижался спиной к стенке вагона.

— Первого, кто подойдет, застрелю, — сказал он так, что кое у кого по спине пробежали мурашки; смуглое лицо Пархоменко тоже побледнело. — Кто вас мутит? Выходи вперед, потолкуем!

Матрос на кавалерийских ногах предусмотрительно спрятался за спины других, остальные стояли, ощерясь, готовые каждую минуту наброситься на свою жертву, только двое причмокивали губами и смотрели на Пархоменко восторженными глазами. Однако тронуться с места никто не решался. Пархоменко медленно опустил руку, в то же мгновение из-под вагона сзади незаметно высунулась чья-то рука и выхватила у него наган. Матросы, видимо, только этого и ждали, теперь они сразу накинулись на Пархоменко, и не успел он опомниться, как его скрутили и поволокли в вагон.

Через минуту бронепоезд тронулся со станции и быстро пошел на восток. Пархоменко сидел в купе, а за дверьми в коридоре матросы громко, перебивая друг друга, решали его судьбу. Он уже начал узнавать их по голосу.

— Расстрелять, и крышка! — кричал матрос на

кавалерийских ногах.

— Бросить под колеса, вот заревет, — вторил ему маленький матрос с заячьей губой.

— В топку паровоза, — добавили сразу два голоса.

— Кто берется расстрелять?

В коридоре стало тихо.

— Язык втянуло? — презрительно процедил сквозь зубы матрос на кавалерийских ногах.

— Ты кричал, ты и стреляй, — буркнул голубоглазый матрос. — Только гляди, как бы сам ног не протянул: он и нагана не побоится.

— Храбрый, дьявол! — В два голоса восторгались матросы, те, что на перроне причмокивали губами. — С таким Дон сразу бы вдоль и поперек прошли.

— Трусы, вот, смотрите! — Матрос на кавалерийских ногах протолкался к дверям.

— Открой, слышишь, поговорить надо!

Пархоменко спокойно ответил:

— Заходи, если головы не жаль. Ты думаешь, у меня другого револьвера не было? Вы хотите меня убить без суда, так я вас сам перестреляю. Попробуйте только сюда голову сунуть, предатели революции!

За дверями стало тихо, вероятно, переговаривались только глазами, потом один фыркнул, другой выругался, и снова поднялся крик. Наверно, издевались над матросом на кавалерийских ногах, потому что он еще сильнее забарабанил в дверь.

— Я тебе приказываю. Это тебе не пассажирский, тут я командир, открой дверь!

Пархоменко подошел смелыми шагами и решительно открыл дверь. Матросы, как от бомбы, отпрянули в разные стороны.

— Заходи, кто борется за революцию, за рабочее дело, а в бандитов буду стрелять!

В коридоре стояла тишина, только стучали колеса на разбитых рельсах. За окнами проплывали рыжие овражки да белые от снега пригорки. Низко висело оловянное небо, дым от паровоза рваными клочьями цеплялся за жнивье. Вдалеке сивой папахой накрылась шахта. Дорога была знакома — бронепоезд шел на Лихую, где красные бьются с белогвардейцами, где уже успел сложить свою голову его друг детства Гусарев, а другие, наверно, глаза проглядели, поджидая на помощь бронепоезд. А они вон какие храбрецы!

— Шантрапа! Кто вам доверил бронепоезд? На фронт пошли бороться за революцию люди, которые еще только вчера взяли

винтовки, они думают, что на бронепоезде орлы-соколы, как вылетят вперед — смерть господам буржуям! А здесь одни совы собрались, зайцы пугливые! — И он сердито грохнул дверью.

Присев в угол, Пархоменко, с наганом в руке, смотрел в запыленное окно и думал, что можно было бы сделать с таким бронепоездом, если б на нем была команда храбрых красногвардейцев и отважный командир. Занятый этими мыслями, он не заметил, как из глаз исчез полутемный вагон, — перед ним уже была площадь, полная народу и красная от знамен. В гробах несут Гусарева и еще двенадцать луганских рабочих.

Очнулся Пархоменко, услышав осторожное царапанье в дверь. В вагоне было темно, за окном косым дождем сыпались красные искры от паровоза. В соседнем купе слышен был говор. В дверь снова заскребли, будто мышь грызла доску.

— Кто там? — сердито спросил Пархоменко.

— Товарищ командир, — прошептал голос, по которому он узнал матроса с веснушками на носу, — к вам можно? Это я, Васька Малыга, поговорить всерьез пришел.

— Свечку принеси.

Васька куда-то побежал, затем в щелку между дверьми упала полоска света, со светом в купе вскочил низенький матрос и закрыл за собою дверь. Он боязливо озирался. Горячий стеарин со свечи стекал ему на пальцы.

— Я пришел поговорить. Разговор у вас правильный про орлов и про соколов. Вы нас совами назвали — оно хоть и обидно, но верно. Разве так сознательное движение делают? Ребята хотели под колеса сбросить Кольку. Ну, ему все равно уже не быть командиром… Эх, как бы нам такого командира, орла! — И он даже глаза закатил под лоб. — Разрешите поговорить с вами товарищам нашим. Целую ночь не спали, чтобы с вами поговорить. Может, хоть направление истины дадите. Я, конечно, матрос, а они только для видимости матросами оделись.

— Бандита ни одного не пущу…

— Они и сами побоятся. Значит, дозволяете? — От удовольствия Васька даже подскочил. — Вот увидите, нам бы только направление истины. А Колька больше по барахлу наводку делал.

Ступая осторожно, как по молодому льду, в купе влезла большая часть команды. Тут был и голубоглазый матрос. Он смотрел вызывающе, как бы стараясь показать команде, что он и теперь ничего не боится. Пархоменко едва заметно усмехнулся.

— Из каких будешь?

— Из тех, что надо. Отца повесили, а я оборвался.

— И с Колькой связался! Беднота ждала революции сотни лет, на виселицы шла, в Сибири умирала, а вы забаву из этого хотите сделать? Буржуй только того и ждет, чтобы опять на виселицы послать, в тюрьмы нас засадить.

— Много вы там сидели по тюрьмам, только агитацию разводите.

Стройного Пархоменко, с черными красивыми усами и всегда чисто выбритого, нередко принимали за бывшего офицера, поэтому он не обиделся на задорное замечание голубоглазого матроса. Этот матрос даже начинал ему нравиться, да и другие парни, которых волна протеста бросила на неверную тропу, еще могли стать настоящими бойцами за революцию. Пархоменко сел на ящик с патронами.

— Чудно получается: приговорили к расстрелу, а теперь хотите знать, кто я такой?

— Мы не соглашались, это Колька кричал: «Расстрелять!», — сказал Васька, озираясь на своих товарищей.

— Кто из вас сидел в тюрьме? Молоды еще! И верно, я с вами что-то нигде не встречался, а побывал не в одной тюрьме. Про Макаров Яр слышали? За восстание в Макаровом Яру шесть месяцев отсидел. Ну, Севастополь вы знаете, моряки ведь.

— Я из Севастополя, — сказал голубоглазый матрос.

— В этот самый Севастополь, бежал я в тысяча девятьсот девятом году, думал спрятаться от полиции, только и там нашли.

— Все за восстание? — спросил Васька.

— Теперь уже за прокламации.

— И я прокламации раздавал.

— Васька, смотри, товарищ, чего доброго, поверит, — насмешливо сказал низенький широкоплечий матрос с кроткими телячьими глазами.

Васька вскипел:

— Лопни мои глаза, про царя и Гришку Распутина, как они правили Россией! А вы в Дебальцеве никогда не были? — спросил Васька, наверно, чтобы переменить разговор. — Моя родина, на шахте работал.

— В твоем Дебальцеве меня в последний раз и арестовали. Ну, тогда хоть знал, что это жандармы, царские собаки, а вот кто сейчас меня арестовал да еще расстреливать собирается — никак не пойму. С виду будто рабочие, а ведете себя как контра.

От его искренних слов кое-кто из матросов потупился, кое-кто отвел глаза. Голубоглазый матрос обежал всех вопросительным взглядом и, заметив одобрительные кивки, выступил вперед.

— Скажу откровенно: извините, товарищ Пархоменко, теперь

мы видим, что вы человек рабочий. Я сам коногоном был и пошел бить буржуев, а что нас Колька назвал анархистами, так это еще не программа. Наша программа: смерть буржуям, за советскую власть! А Колька свою линию гнет.

— На черта нам такой командир! Нового выберем, — закричал Васька. — Чтобы правильную линию показывал.

— И не труса! Чтобы наш бронепоезд «Гроза» на всю Россию гремел!

Матросы тут же начали советоваться, забыв о Пархоменко. Они перебивали друг друга, выкраивали фамилии, имена и ссорились. Перекричал всех маленький матрос с веснушками на носу.

— Слушайте, слушайте, — тряс он поднятым вверх пальцем, — идея стукнула! — Но бронепоезд подошел к какой-то станции, и матросы, не дослушав его, высыпали толпой на перрон.

Когда бронепоезд тронулся дальше, матросы с криком снова подошли к дверям.

У самого порога матросы сразу примолкли, и один несмело постучал в дверь. Пархоменко открыл. Перед ним стояли матросы, уже растерянные, как дети, когда их обманывают старшие.

— Ну? — коротко спросил он, сбитый с толку. Матросы закричали все вместе:

— Утек!

— Я же говорил, что надо было его запереть!

— Где-то спрятался на станции, душа из него вон!

— Не все сразу. Кто утек? — спросил Пархоменко.

— Колька, гад кривоногий!

— Ну, а я тут при чем? Или не знаете, как без него прикончить меня?

Матросы смутились, опустили головы. Васька глубоко вздохнул:

— А куда же мы?.. Что ж, нам разбегаться? К фронту подъезжаем… Товарищ Пархоменко, — выкрикнул он истерически, — будьте у нас за командира!

— Будьте, будьте!.. — закричали и другие.

— Чтобы опозорили, трусы? Так лучше честно умереть!

— Эх, если б нам хоть какого-нибудь большевика, чтобы хоть направление дал…

Пархоменко сразу покраснел и решительно сунул кулаки в карманы.

— Вот что, хлопцы, кота в мешке покупать не хочу. Ведите, показывайте свое хозяйство!

Васька подпрыгнул чуть ли не до потолка и ловко хлопнул ладонями по подметкам, но другие матросы посмотрели на него такими глазами, что он сразу вытянулся, как по команде.

…Через несколько дней в луганском штабе Красной гвардии было получено с Южного фронта сообщение о поражении Каледина и о взятии красными Новочеркасска. Дальше сообщалось, что первым в город ворвался бронепоезд «Гроза» под командой Александра Яковлевича Пархоменко.

9

Союзу центральных держав было хорошо известно, что правительство Центральной рады под натиском отрядов Красной гвардии уже оставило Киев и бежало в Житомир, однако в Бресте делегации продолжали вести переговоры о заключении мира. 9 февраля 1918 года переговоры закончились подписанием с Центральной радой мирного договора.

В договоре значилось, что Центральная рада обеспечит поставку и вывоз с Украины в кратчайший срок одного миллиона тонн хлеба и большого количества железной руды. Хлеб был у крестьян, а руда у рабочих. Народный секретариат Советской Украины предложил вести мирные переговоры с фактическим хозяином украинской земли, но немецкое командование отказалось. Теперь всем стало ясно, что австрийское и немецкое правительство имели в виду не только получить хлеб, но главное — свергнуть советскую власть на Украине и восстановить старый, буржуазный, строй. Они хотели не мира, а войны и немедленно послали на Украину двадцать девять пехотных и девять кавалерийских дивизий.

Распыленные отряды Красной гвардии с боем начали отход на восток. Председатель совета министров при Центральной раде Голубович, находившийся в изгнании, послал немецкому имперскому канцлеру приветственную телеграмму:

> «Мы приписываем освобождение нашей родины главным образом помощи, которую мы просили у немецкого правительства и которую нам оказала победоносная немецкая армия. Благодарю сердечно… С неподдельной радостью я встретил известие об освобождении Киева».

На луганских заборах, щедро политых весенними дождями, появилось воззвание, подписанное Ворошиловым. Оно предупреждало об опасности, которая надвигалась на Донбасс с запада. Воззвание призывало к оружию всех, кому дороги идеалы пролетариата. Сам Ворошилов, организовавший первый красногвардейский отряд из луганских рабочих, уже бился под Конотопом с немецкими юнкерами и гайдамаками Голубовича.

Вслед за первым отрядом выступил второй. Враг уже окружил Харьков, и луганские красногвардейцы, объединившиеся с харьковским коммунистическим отрядом, отходили с боями на юг. На фронте от Купянска до Луганска каждый на свой лад

формировал отдельные, не связанные друг с другом отряды. Один наступал, в то время как другой, наоборот, отходил, третий, не интересуясь судьбой остальных, взрывал за собой мосты, хотя на противоположной стороне еще оставались другие. Чтобы положить этому конец, командование фронта объединило все отряды в Пятую армию под началом Клима Ворошилова.

Враг уже подходил к Луганску, об этом оповещал грохот артиллерийской канонады и аэроплан, который начал появляться над городом дважды в день. Город поспешно эвакуировался.

После успешного боя под станцией Радаково Александр Пархоменко на бронепоезде «Коммунист» возвратился в Луганск. Станция и город были заполнены красногвардейцами, которые тянулись в Луганск вместе со своими семьями и домашним скарбом из окрестных шахт, заводов и сел, где немцы уже истязали крестьян за произведенный ими раздел помещичьей земли. Каждый красногвардейский отряд передвигался по собственному желанию и не признавал никого, кроме избранного командира.

Разбитые под Радаковом немецкие части, оправившись, снова повели наступление на Луганск. С заводов надо было вывезти все, что представляло хоть какую-нибудь ценность.

— Ты сам там присмотри за этим, — сказал Ворошилов Александру Пархоменко, — и сделай по-большевистски, чтобы ни один патрон не достался немцам.

Пархоменко целый день осматривал склады и цехи. В них уже, как пчелы в потревоженном улье, суетились рабочие, отбирая все, заслуживающее внимания, и отправляя груз на станцию. Латунью и порохом с патронного завода нагружали уже пятый эшелон, паровозостроительный завод грузил последние станки и запасы материалов.

Маневровые паровозы один за другим вытягивали эшелоны с патронами, с военной амуницией, с различным продовольствием и с огромными запасами муки: в далекий путь трогалась многочисленная армия почти в двадцать тысяч человек. Она набилась в эшелоны, вытянувшиеся длинной цепочкой далеко за переезд.

На платформах торчали поднятые к небу оглобли телег, между ними на веревках сушилось белье, на пулеметах висели пеленки, под телегами между мешками возились матери с детьми, то здесь, то там хрюкал поросенок, кудахтали куры, мычали телята. Дымок от разложенных на земле костров прозрачными струйками поднимался в голубое небо.

Над рельсами стоял гомон, словно на ярмарке; где-то ржали лошади, кто-то горланил песню, и беспрестанно скрипела

гармошка. То в одном, то в другом месте раздавались выстрелы. К станции, не переставая, тянулись новые отряды с новыми песнями.

Эшелоны, подходившие с фронта, вытесняли стоявшие перед ними, и те, пронзительно гудя, под общий крик, начинали медленно двигаться на восток. Над вагонами звучала грустная песня: «Прощай, прощай, река Луганка, прощай, луганский городок…»

Наконец тронулся в путь и поезд командования Пятой армии, которая должна была прикрывать отход всех этих эшелонов с отдельными отрядами, рабочими и их семьями. На станции Миллерово Пархоменко увидел картину, от которой у него мороз прошел по коже: железнодорожный узел был забит составами на несколько километров. Посланный вперед для разгрузки узла старый машинист встретил штабной вагон вовсе не подходящим радостным возгласом. Пархоменко погрозил ему кулаком. Рассердился и Ворошилов. На перроне почему-то оказалось шесть пулеметов, да еще нацеленных на эшелон. Когда поезд остановился, в вагон, звеня шпорами, в ремнях накрест, вошел молодой командир с красной звездочкой на фуражке.

— Сдавайте оружие! — сказал он тоном, не допускающим возражений. — Кто здесь старший? И без разговоров: пулеметы наведены прямо на окна.

Озабоченный положением на станции, Ворошилов, должно быть, не придал значения словам командира и только рассеянно спросил:

— Что вам нужно? Кто вы такой?

— Комендант станции!

— Комендант? Ворона ты, а не комендант, — подступил к нему Пархоменко, обрадовавшись, что есть на ком злость сорвать. — Почему до сих пор не пропустил на Воронеж эшелоны? Комендант, а станция забита!

— А вы хотите угодить в пасть к немцам? — огрызнулся комендант. — Они уже станцию Чертково захватили.

Пархоменко посмотрел на Ворошилова. Ворошилов, пораженный известием, перевел глаза на своего начальника штаба — Колю Руднева, который все еще щеголял в студенческой фуражке. Руднев сидел за столиком над картой. Комендант, воспользовавшись минутным замешательством, возвысил голос:

— Я должен выполнять приказ. Все части, которые переходят на территорию России, должны быть обезоружены, такой приказ.

— А голова на плечах у тебя есть? — сурово спросил Ворошилов.

— Вы на кого наводите пулеметы, на Красную гвардию? —

снова подступил к коменданту Пархоменко. — Мы спасаем от немцев народное имущество, людей вон сколько, а вы в бумажку уставились. Ведь там сказано про чужие войска, а для тебя пролетарская армия — чужая?

— Сейчас же забирайте свою команду с пулеметами и выставьте охрану против белых казаков. Вот ваше дело, — уже совсем выйдя из себя, добавил Ворошилов. — Здесь я командир, я приказываю!

Комендант хотел было еще что-то сказать, но Пархоменко уже подталкивал его к дверям.

— Точка. Иди и выполняй, у нас такой порядок.

Весть о том, что немцы перерезали путь на север, быстро распространилась во всех эшелонах. Надежда на то, что немецкие войска не пойдут дальше украинской границы, оказалась тщетной. Теперь можно было ожидать немцев и от Черткова, и от Луганска. Шестьдесят восемь эшелонов, сбитых в кучу, ежеминутно могли стать мишенью и добычей для врага.

Противник не заставил себя долго ждать. Он появился в небе на другое утро. Немецкие аэропланы налетели со стороны Луганска, и тень черными крестами поползла между эшелонами. Ружейные выстрелы из вагонов не остановили аэропланы — они кружились, как коршуны, и сбрасывали бомбу за бомбой на головы людей. От оглушительного взрыва вдруг качнулась земля под ногами, а из вокзальных окон посыпались рамы. На месте взрыва пылали остатки вагона, нагруженного патронами. Аэропланы развернулись и полетели обратно.

После бомбежки тревога на станции усилилась и уже переходила в панику: одни выскакивали из вагонов и бежали неизвестно куда, другие требовали, чтобы их состав отправили в первую очередь, и тоже неизвестно куда, а третьи, растерянные и испуганные, метались между вагонами и по перрону в ожидании приказов командования.

Положение требовало немедленного принятия мер, потому что с часу на час можно было ожидать наступления врага: с севера и с запада надвигались немцы и гайдамаки, с юга — Добровольческая армия генерала Деникина. Ее пока сдерживала Третья армия, но и она уже отходила к станции Лихой. В некоторых станицах уже восстали против советской власти казаки.

В зале для пассажиров командование Пятой армии созвало совещание. В нем приняли участие члены правительства Донецко-Криворожской республики и представитель Донского ревкома.

— Остается, товарищи, единственный путь для отхода, — сказал Ворошилов, — через станцию Лихая на Царицын.

— Весьма благодарен, — послышался нервный, раздраженный голос. — Идти в степь, где хозяйничают белые казаки?

Как видно, паника уже успела подействовать не только на бойцов, — голос поддерживало еще несколько человек, занимавших в правительстве ответственные посты.

— Пусть, кто хочет, несет свои головы в степь, а мы туда не пойдем!

— А куда? — коротко спросил Ворошилов.

— Надо еще подумать.

— Думайте! Мы тоже думали. Не здесь, а именно там, под Царицыном, будет решаться исход борьбы за советскую власть.

— Авантюра!

— С вашей стороны! — сердито бросил Артем, председатель правительства Донецко-Криворожской республики. Стриженный под машинку, с круглым открытым лицом, он почти ничем не отличался от рядового рабочего. — Правильно говорит товарищ Ворошилов!

— Царицын стоит как кость поперек горла донской контрреволюции, — продолжал Ворошилов. — Она хочет соединиться с низовыми казаками, чтобы отрезать Россию от хлеба… А что вы предлагаете?

— Склониться перед немцами! — бросил Артем.

— Почему склониться? — сказал все тот же нервный голос — Есть и другой выход.

— Если мы будем без оружия, — добавил другой, — немцы нас не тронут.

— Нужно бросить оружие и отдельными группами пробираться на север. А Царицын, я так понимаю, — если б он был вблизи, тогда другое дело. А то, как говорится, пока солнце взойдет — роса очи выест.

Все удивленно переглянулись. Такого меньшевистского, трусливого предложения никто не ожидал. Больше всех возмутился Пархоменко.

— Значит, ты предлагаешь бросить все военное имущество и всех шахтеров с их семьями на расправу контрреволюции? — Дальше Пархоменко уже не выдержал и, весь красный от гнева, крикнул: — Это провокация! Самая настоящая провокация! Пусть он идет куда хочет, хоть к черту на рога, а мы пойдем на Царицын. Правильно предлагает товарищ командарм, надо двигаться вперед, а от таких шкурников нашу армию надо очистить немедленно! — От волнения Пархоменко даже покрылся испариной.

Под конец все пришли к единодушному решению. От станции

по всем вагонам полетело известие, что эшелоны будут пробиваться на Царицын.

10

Справа от железной дороги лежала станица Гундоровская. В ней сосредоточились белые казаки под командой Гусельникова, угрожавшие отрезать путь на Лихую. Харьковский и Луганский красноармейские отряды отогнали, их до станции Изварино и, упоенные победой, возвращались назад. Было тихо, солнце уже садилось, и красногвардейцы, слушая жаворонков, сами запели про Луганку и луганский городок, но вдруг послышался мелодичный свист, который быстро перешел в рев. Пархоменко, руководивший операцией, не успел оглянуться, как позади колонны разорвалось четыре снаряда. Потом над головой засвистел рой пуль. Красногвардейцы от неожиданности бросились врассыпную, как от дождя, по черной пашне.

Вторая очередь разорвалась впереди, отрезав путь тем, кто бежал по дороге. Стреляли с закрытых позиций, но густые цепи, спускавшиеся с холмов к Гундоровской станице, были ясно видны. Вечернее солнце отблескивало на штыках и касках. На фланге маячила конница. Немцы наступали с казаками и гайдамаками. Их снаряды уже падали среди охваченных паникой красногвардейцев, и те начали бежать.

— Быстро у тебя бегают хлопцы! — крикнул Пархоменко, оглядываясь по сторонам. Командир отряда Лукоша, луганский рабочий, смотрел с ошалелым видом. Он уже и сам хотел было довериться ногам — такой неожиданной была атака, но ироническая усмешка Пархоменко, казалось, отрезвила его. — Быстро, ой, быстро! А ну, останови их!

— Стой, стой! — закричал наконец Лукоша и выпустил, как из пулемета, очередь отборных ругательств. — В цепь ложись!

— Заворачивай, заворачивай, пока не начали сапоги сбрасывать, — кричал ему вдогонку Пархоменко. — А за вами кто гонится? — обратился он теперь к красногвардейцам, прыгавшим через борозды.

Красногвардейцы остановились и с испугом смотрели на Пархоменко, который закуривал цигарку, пряча спичку в ладонях.

— Вы назад оглянитесь: немцы еще за версту, а у вас уже душа в пятках, — добавил он и затем, нахмурившись, крикнул: — Партийцы, в цепь ложись!

Смущенные красногвардейцы один за другим начали ложиться в борозды и отстреливаться. Выстрелы, бодро трещавшие рядом, приводили в чувство и других. Пархоменко уже собирал вторую цепь. Слева залегли харьковчане под командованием Руднева.

Встреченный хоть и беспорядочным, но донимающим огнем, противник ослабил стрельбу и остановился у окраины станицы. Луганчане начали зарываться в землю прямо на пашне. Пархоменко знал, что они уже не побегут, но все же еще раз сказал Лукоше:

— Врага надо задержать любой ценой, Лукоша. Хотя бы до тех пор, пока эшелоны минуют станцию Каменскую.

— А чем я его задержу, сам раскорячусь? — огрызнулся Лукоша. — У немца тяжелая артиллерия, кавалерия, а у меня люди голодные, раздетые и стрелять не умеют.

— Это приказ командарма!

— Приказ, приказ! Будто я сам не знаю! Так и передай Клименту Ефремовичу — будет выполнено, только пускай бронепоезд хотя немножко поплюет на этих гадов в касках. — И он закончил бранью, какой позавидовали бы даже самые искусные коногоны.

Отряд остался прямо в открытом поле. Позади уже мигали огоньки станции Каменской, через которую проходили последние эшелоны. Их прикрывал бронепоезд, оборудованный гартмановцами из пульмановского вагона. Время от времени он сотрясал воздух громовыми выстрелами, освещая ночь вспышками зарниц.

Пархоменко, еще не пришедший в себя после только что пережитого неравного боя, не представлял ясно, что будет дальше, чувствовал на душе такую тяжесть, что невольно сгибались даже его широкие плечи. Позади были немцы и гайдамаки, впереди лежал долгий путь через Дон с восставшими казаками и армиями белых генералов. Через это разбушевавшееся море надо было провести совсем не обученную, малоорганизованную массу.

Рядом стоял раненный в грудь шахтер-китаец Ван Ша-ю. Ван Ша-ю в забытьи что-то говорил на своем языке. Молодое, почти детское лицо морщилось от боли. Пархоменко, не зная, как облегчить муки бойца, гладил его по черным, как воронье крыло, волосам и приговаривал:

— Потерпи, товарищ, тебе народ этого никогда не забудет! Потерпи, в Царицын приедем — сразу вылечим. С какой ты шахты? Может, там жена осталась? И у меня жена и дети поехали в Саратов, а туда уже чехи подбираются. Везде нам, Ваня, беда будет, если не победим буржуев, будь они прокляты! Сколько из-за них слез пролито, земля уже промокла насквозь. Что ты говоришь? Пить? Потерпи, голубчик, вот уже поезд слышен. Может, и воды достанем. Жар у тебя начинается.

Ван снова лепетал что-то по-китайски, и, как ребенок, бился

на руках у Пархоменко. Подошел бронепоезд. Пархоменко по железной лесенке бережно внес Вана в стальной вагон, положил на свою кожаную куртку, перевязал ему рану и устало присел рядом на ящик из-под патронов. Команда бронепоезда стояла, низко опустив головы.

— Тяжко, наверно, нашему Вану помирать на чужбине, — сказал командир бронепоезда.

— Он знает, за что, а этому и смерть покоряется, — сказал Пархоменко, продолжая гладить Вана по голове. — Ты, командир, отряду Лукоши и харьковчанам помоги: в чистом поле лежат, а немец наседает, как бешеный. Хочет все-таки нам путь перерезать.

— И убитые уже есть? — спросил пулеметчик, грустно поглядывая на китайца, который тяжело дышал и стал желтый, как лимон.

— Немец тяжелой артиллерией бьет, а на пашне где спрячешься? Одним снарядом четверых возле меня разорвало, и пулеметчики дохнуть не дают. Ванька Каплан хотел, одного такого снять и начал подкрадываться по борозде. «Чтоб мне умереть на этом месте, говорит, если я не сделаю им сейчас удовольствия». Дополз уже до самого пулемета, но тут казаки заметили. Слышим — стреляют. Каплану назад уже некуда отступать, выпустил четыре пули в беляков, а пятой себя прикончил. — Пархоменко оглядел команду восторженными глазами. — Пусть видит враг, как умирают за рабочее дело большевики! Золотой народ! Что только он не сделает, когда завоюет свободу!

И Пархоменко тут же, сидя на ящике, заснул на полуслове. Голова тяжело упала на грудь, но рука по-прежнему лежала на лбу раненого Вана. Красноармейцы на цыпочках отошли к своим пулеметам и пушкам.

С утра заговорила немецкая артиллерия, от ее грохота проснулся Пархоменко. Под его рукой, которая все еще лежала на голове китайца, было уже застывшее тело. Пархоменко прикрыл его полотнищем от палатки и с биноклем вылез на тендер. Утренний туман еще затягивал окоем тонкой розовой пеленой. Бронепоезд медленно двигался в сторону Лихой. Выехав за первую будку, Пархоменко увидел в долине серые точки — белогвардейцы наступали на красных. На фланге шла конница. Слева у красных то и дело взлетали дымки и часто мигали огоньки пулеметов. Наконец враг не выдержал и подался назад, оставляя на поле отдельные серые точки.

— Бей по конным! — крикнул возбужденным голосом Пархоменко в вагон. Сталь бронепоезда зазвенела,

металлический звук ударил в уши, точно кулаком, и, когда комдив насчитал до тридцати, над головами всадников распустились розовые облачка.

В тоже время снаряды начали рваться вблизи бронепоезда. Они летели с ревом и свистом со стороны Миллерова. Далеко позади, над выемкой, поднимался в небо белый дымок, наверно, от бронепоезда противника.

— Прячьтесь в вагон, товарищ Пархоменко, — крикнул командир, — слышите, как осколки жужжат?

Пархоменко, стоя на тендере, осмотрелся вокруг: отряд Лукоши под артиллерийским огнем уже отходил к Лихой, на него наседали немецкие части, пытаясь отрезать путь к отступлению.

— По конным, по конным! — кричал Пархоменко, не слушая командира. — Руднев нажимает на фланг, правильно! Пулемет застрочил, бей по пулемету! Вон под вербой… правильно… славно, сынок, славно! Подавились цурюки… еще разок стукни! Вот так их… А ты говоришь — прячься, а Лукоша, а Руднев, а пехота куда спрячется? Молодцы, луганцы!

Красногвардейские отряды наконец перешли на другую сторону железнодорожной насыпи и теперь свободно передвигались в «мертвом пространстве», торопясь к Лихой на подмогу. Немцы вышли из-под обстрела бронепоезда и тоже прекратили огонь. Над степью опустилась тишина. Солнце уже катилось на запад, над полями поднимался легкий парок, в небе, как листья осоки, трепетали крыльями жаворонки, зеленым соком наливались травы, принарядившие холмы. После грохота артиллерии прозрачная сизая тишина казалась совсем немой, лишь в ушах еще звенело, словно шмель бился в оконное стекло.

Пархоменко встряхивал головой, словно хотел вытрясти этот звук, но, чем ближе подходил бронепоезд к Лихой, звук этот становился все сильнее, пока не превратился в грохот канонады. Теперь уже были видны и отблески огня, словно над станицей играли зарницы, потом зарделось небо, и на серых стенках бронепоезда задрожал розовый отсвет пожара.

Станция Лихая была вся в огне: на железнодорожных путях горели вагоны, сбоку пылало строение, между вагонами сновали черные силуэты, вокруг рвались снаряды, и на зубцах золотых корон летели в небо куски вагонов и человеческих тел. Эшелоны, освещенные пожаром, медленно отползали от станции, на вагонах гроздьями висели люди, а не успевшие вскочить на поезд разбегались по степи, торопясь выбраться с территории станции, на которую градом сыпались снаряды. Один из снарядов попал в баки с нефтью, в небо вырвался красный язык. Буйное пламя гудело глухо, как поезд, дым от нефти черной завесой начал

затягивать станцию. В другом конце над эшелонами стояло белое облако — оно поднялось от вагона с мукой, в который также попал снаряд.

Эшелоны в облаках муки и дыма выходили на стрелки и ползли дальше, в сторону Белой Калитвы, но они не могли набрать скорость. Между ними не было необходимой для этого дистанции, поезда шли почти вплотную один за другим, и оттого казалось, что они стоят на месте.

Красногвардейские отряды Пятой армии бились на подступах к станции, слева были остатки частей Третьей армии. Враг атаковал беспрерывно, стремясь захватить имущество и снаряжение и отрезать отступление тысячам отважных донецких шахтеров, луганским и харьковским рабочим и красным казакам Каменской станицы, которые тоже присоединились к украинской армии Ворошилова.

Наступали на них вооруженные до зубов регулярные немецкие части и отряды гайдамаков, сформированные и вооруженные в Германии. Им помогали белогвардейские офицеры и части донских белоказаков атамана Краснова.

На третий день красногвардейские отряды, потрепанные и обессиленные, отошли к станции, объятой огнем. Люди бессмысленно кидались куда попало, думая только о собственном спасении. Поддавшись общему настроению, армия дрогнула и побежала, как вода через прорванную плотину.

Бронепоезд подошел к станции и уперся в вагоны, сошедшие с рельсов. Ими, словно баррикадами, были завалены все колеи. Но другой дороги, чтобы выйти к Царицыну, не было.

Пархоменко с одного взгляда оценил положение. Перепрыгивая через тела убитых, он побежал на станцию, где располагался штаб. Все комнаты были завалены ранеными, в течение трех дней их сносили сюда со всего фронта. От стона и проклятий дрожали рамы.

— Где Ворошилов? — крикнул он, вбежав в опустевшую комнату, в которой находился штаб. — Где Руднев? — Никто не отвечал. Все ушли в одном направлении — на восток, на Белую Калитву. — Где Ворошилов? Кто видел командарма? — Раненые — одни ползли, другие прихрамывали, наполняя воздух стонами.

Пархоменко выбежал на дорогу и закричал, словно и его ранили насмерть:

— Стой! Все ко мне!

Властный голос всегда действует на людей, либо устрашая, либо вливая в них силы. Среди бежавших были и действительно не пуганные, и просто сбитые с толку общей паникой. Услышав

строгий и решительный приказ, бойцы начали останавливаться. Луганцы знали Пархоменко.

— Что ж это делается, Александр Яковлевич? — чуть не плакал Голый, черные усы его поседели от пыли. — Немцы фронт прорвали, куда ж теперь?

— А ты им спину показываешь! Ты покажи, как надо бороться за революцию. Собирай людей, назначаю тебя старшим. И держаться на этом месте! Ворошилова кто видел?

— Я видел, как он в атаку ходил, в штыки, — ответил кто-то.

— И от так же драпал, как вы?

Бойцы молчали, смущенно потупились. Тогда Голый ударил шапкой о землю и закричал:

— Пятьдесят лет ждал революции, да чтоб теперь отступиться? Кто покинет позиции, тот предатель и проклятый человек. Дальше без приказа ни шагу, товарищи!

Кучка бойцов все росла, и старый рабочий начал готовить их к отпору.

Возле железнодорожной насыпи, где уже залегла длинная цепь красногвардейцев, Пархоменко увидел Артема. В черной рубашке, простоволосый, Артем метался посреди человеческого муравейника, обрастая бойцами. Они уже выстраивались в ряды, чтобы залечь второй цепью. Позади из такого же муравейника выделилась еще одна команда и рысцой кинулась занимать позицию за холмом. Верхом на лошади скакал Руднев. Он тоже не знал, где сейчас Ворошилов. Говорят, был на правом фланге, потом на станции, возможно, теперь поскакал к Третьей армии. Бойцы убили там своего командующего, который хотел предать их. Руднев был весь черный от пыли и копоти и от печали. Он понимал, что панику никакими словами одолеть нельзя до тех пор, пока не оторвешься от противника. Необходим хоть небольшой заслон, чтобы прикрыться от немцев, и только тогда можно будет привести людей в порядок, но этих двух цепей, как бы они ни держались, было недостаточно. Руднев спрыгнул с коня в гущу бойцов — они лавиной текли вдоль железнодорожной колеи — и раскинул перед ними руки:

— Кто за революцию, товарищи, ко мне!

Пархоменко подбежал к бронепоезду. С него уже сняли пулеметы и заклепали орудия.

— Ну, а теперь пускайте навстречу немцам, — сказал он, подавляя тяжелый вздох.

Машинист дал задний ход и, когда паровоз набрал скорость, спрыгнул на землю. Бронепоезд быстро исчез в вечерних сумерках в сторону Каменской.

С четырьмя пулеметами и с кучкой бойцов, которые

держались теперь за него, как малые дети за отца, Пархоменко отошел в степь, где предполагалось сторожевое охранение. Но на том месте уже никого не было. Последние эшелоны, лязгая буферами, уходили от станции, где дотлевали разбитые вагоны, по насыпи, хромая, шли одинокие отставшие фигуры.

Овладев станцией, противник прекратил огонь, и на землю тихо опустилась весенняя ночь.

Пархоменко покачал головой: все подступы были врагам открыты.

— Придется, товарищи, нам быть в арьергарде. Заляжем здесь.

Усталые бойцы с наслаждением растянулись на теплой земле. Над головами простиралось звездное небо, полное загадочных миров.

— Вот такое же небо и над Луганском стоит, — сказал, вздохнув, один. — Пожалуй, там нынче пасху справляют.

— Да не все, — добавил другой, — не до пасхи им и не до звезд, — и он тихонько запел:

Ой, по горе немцы идут,
Пушками стращают.
А в Снежки панов везут,
Им землю возвращают.
Ой, скотину отбирают,
Хлеб и сало — все подряд.
На расправу всех сгоняют,
И стога кругом горят.
Ой, горят Снежки огнем,
День померк от дыма.
Ой ты, горюшко мое —
Зарубили сына…

— А ты говоришь — пасха! Из Варваровки бежал мой товарищ; говорит, только за найденные патроны немцы расстреляли пять человек, а моего соседа за то, что стрелял по аэроплану. Гад какой-то выдал.

— А в нашем селе немцы вывесили такое объявление: кто передаст в комендатуру сведения о большевистских агитаторах, получит премию: сто рублей за каждого, двести — если доставит большевика, а пятьсот рублей — за партизанского вожака. Один было соблазнился — ну, больше дня не прожил: сразу укокошили. Немцы потом молотили, молотили по селу из орудий, пока не зажгли его.

Третий начал рассказывать, как у них на шахте гайдамаки

пороли женщин. В это время впереди послышался конский топот. Красногвардейцы схватились за винтовки. Из темноты появился одинокий всадник.

— Кто там суется? — закричал Пархоменко. — А ну, иди сюда, не то стрелять будем.

Всадник подъехал. Ноги он выпростал из стремян, руками устало упирался в переднюю луку седла.

— Товарищ командарм! — воскликнул, вскочив на ноги, Пархоменко. — Штабной поезд давно ушел, мы последние.

— Вот это и весь арьергард? — невесело спросил Ворошилов.

— Арьергард и авангард, Клим Ефремович, — отозвался пулеметчик, подойдя поближе. — Конечно, маловато для такого дела.

— Десять человек прикрывают армию! — Командарм покачал головой. Затем уже другим голосом заговорил: — И все-таки мы победили. Под самым носом у немцев провели столько эшелонов! Теперь, товарищи, можно смело сказать, что до Царицына мы дойдем.

— А кто его знает, что там, в Царицыне, — отозвался из темноты красногвардеец.

Все замолчали. Давно уже никто не читал газет, связь с центром, даже с соседними красными частями, оборвалась, и где что творилось, было неизвестно. Знали только, что немцы нарушили соглашение о перемирии и повели наступление на Украину, а теперь, возможно, думают вторгнуться и в Россию. Генерал Краснов, подняв против советской власти донских казаков, хочет соединиться с казаками астраханскими и уральскими — создать единый фронт контрреволюции от Дона до Самары. Царицын лежал между Восточным и Южным фронтами и не давал белым этой возможности.

— Хочется контрреволюции Царицын взять, — сказал, помолчав, Ворошилов, — но большевики такой крепости никому не отдадут. Теперь и мы поможем царицынским рабочим.

На горизонте снова замаячили всадники, но это уже была немецкая разведка. Когда она подъехала ближе, все четыре пулемета зацокотали сразу, и всадники бросились наутек.

11

В станицах цвели сады, но казаков не было. Они отравляли воду в колодцах, на целые километры разбирали железнодорожные пути, а то оттягивали на волах рельсы и убегали в степь. На станциях разбитые водокачки стояли с пустыми баками, и задымленные паровозы пили воду из болот и речек, а когда до них было далеко, выстраивалась длинная очередь женщин и детей, они подавали воду ведрами и котелками.

Исправив путь, эшелоны подходили к разрушенному мосту и снова останавливались, ожидая, пока его восстановит высланная вперед бригада. А вокруг лежала степь, без конца и края, и по ней на низкорослых лошаденках носилась смерть.

Казаки, сверкая шашками, с диким криком и свистом налетали на эшелоны, но, встреченные огнем красногвардейцев, снова уходили в степь, оставляя убитых. В станице Морозовской к украинской армии Ворошилова присоединились красные повстанцы из местных крестьян. Дальше дорога до самого Царицына была свободна, и по ней можно было отправить всех раненых, больных и часть семей.

Первый санитарный поезд, переполненный ранеными и женщинами с детьми, шел, пустив вперед бронепоезд. Поезд шел, весело постукивая на стыках колесами, от чего давно отвыкли те, кто ехал в эшелонах. За несколько дней таким образом могли пройти все составы. После Белой Калитвы, перед первым же взорванным мостом, число эшелонов намного уменьшилось. Все лишние вагоны были спущены под откос, люди объединены в команды, и они вместе с остатками Третьей армии на общей сходке признали над собой главенство Ворошилова.

От преступных элементов армию освобождал революционный трибунал. Дисциплина росла с каждым днем, и к Царицыну приближались уже не разрозненные и своевольные отряды, а объединенная двадцатитысячная армия, хотя еще мало обученная, но уже закаленная в боях с немецкими регулярными частями и казацкими сотнями.

Следом за санитарным поездом на примитивном бронепоезде выехали для переговоров с местной властью в Царицын Клим Ворошилов и Александр Пархоменко.

— Теперь я тебе признаюсь, — сказал Пархоменко, когда под вагоном бодро застучали колеса, — на станции Лихой я уже подумал, что мы пропали. Только когда немцы повернули назад, от сердца отлегло. Даже не верится, что выбрались из такого ада.

Испытав еще одно поражение вблизи Донца, немецкие части от Белой Калитвы повернули назад, но Ворошилов знал уже, что впереди не меньшие силы собирают генералы Фицхелауров и Мамонтов, поэтому ответил предостерегающе:

— Не говори гоп, пока не перескочишь, товарищ Пархоменко! — Но и он не мог скрыть удовлетворения: немцы в боях с Пятой армией потеряли двадцать семь пулеметов и несколько тысяч солдат.

Пархоменко задорно вскинул голову:

— Если немцам набили…

— Генерал Фицхелауров соединился с Мамонтовым. Боюсь, повстанческая дивизия не выдержит и беляки прорвутся к железной дороге.

Повстанческая дивизия, отступая по грунтовому шоссе, прикрывала железнодорожную колею с левой стороны, справа шли части Пятой армии.

— Теперь нам и женщины помогут, — продолжал Пархоменко. — Ты только подумай: не знает еще, куда патрон вложить, а хватается за винтовку, лишь бы хоть раз пальнуть в окаянного врага!

— Понятно! Ведь им не нужно объяснять, зачем и куда стрелять. Это наука для интервентов!

Укороченный состав уже подходил к станции Суровикино. Рассветало. Вначале глухо, потом все яснее слышалась канонада. Пархоменко, спавший не раздеваясь, вскочил на ноги и вскинул налитые кровью глаза на Ворошилова с безмолвным вопросом. Бронепоезд и санитарный состав должны были быть уже где-то под Царицыном, а стрельба шла совсем близко. Может быть, это партизаны, о которых еще не знало командование Пятой армии? Мог стрелять и бронепоезд, который двигался впереди санитарного. Но почему он задержался? Теряясь в догадках, они все же продолжали продвигаться навстречу канонаде.

В полукилометре от станции Суровикино дорогу преградил знакомый бронепоезд. На нем уже не было ни пулеметов, ни орудий. Он был разоружен. Но над паровозом вился дымок. На путях стоял состав без паровоза, вокруг него щелкали выстрелы. Казаки с разных сторон обстреливали здание станции. Затем с криками «ура!» бросились в атаку.

— Убивают больных! — крикнул Пархоменко, увидев дымящиеся вагоны. — Да, это наш поезд! — И прежде, чем успел застрекотать пулемет из пульмановского вагона, выпрыгнул на землю, отцепил паровоз от разоруженного бронепоезда и вскочил в будку машиниста. Машинист лежал на полу, спрятав голову в угол, его помощник прикрылся лопатой в другом углу.

— Давай паровоз под состав с нашими ранеными!

Машинист испуганно моргал до тех пор, пока не почувствовал, что его крепко схватили за ворот.

— Ты слышишь? Я — Пархоменко!

— На погибель себе вы так приказываете, — обреченным голосом отозвался машинист, неуклюже поднимаясь на ноги. — Я поеду хоть в ад кромешный, только это бесполезно.

— Там же твои товарищи побиты!

— Ну, трупы вывезем.

Он раздраженно взялся за рычаг, и в ту же минуту его рука упала как плеть. Машинист побледнел и, сжавшись, осел на помост. Думая, что он обомлел, испугавшись пули, которая звякнула о ведро, Пархоменко сердито схватил машиниста за плечи и тут почувствовал под рукой теплую кровь. Помощник, который все еще сидел, прикрываясь лопатой, теперь, словно подхваченный ветром, стремглав спрыгнул с паровоза и кинулся бежать, но уже через три шага, схватившись за грудь, упал головою вперед.

На станции, в вагонах и за вагонами кричали, умирая, тяжелораненые красногвардейцы. Увидев знакомый бронепоезд командарма, раненые бойцы из эшелона, женщины и дети со всех сторон поползли к нему. За одним, который, хромая, прыгал из последних сил, погналась кучка казаков. Пархоменко соскочил с паровоза и приложил карабин к плечу: «На больных показываете отвагу?!» Один казак упал, застреленный, другие остановились, залегли за штабелями старых шпал и начали обстреливать бронепоезд. В него уже набилось много раненых. Некоторые даже висели на ступеньках, на тендере…

Пархоменко стрелял не спеша, а выстрелив, приговаривал: «К черту в пекло!» Вдруг он почувствовал острую боль выше локтя.

— Александр Яковлевич, Александр Яковлевич, — давно уже звал его Ворошилов, — назад! Людей постреляют! — И насильно втянул его на паровоз. — Надо штаб уведомить, пока путь не взорвали… Тут какая-то провокация — даже вагоны в тупик загнали… — Увидев красную струйку, которая бежала по руке Пархоменко, он запнулся на полуслове:

— Ранили?

Пархоменко поспешно нашаривал в карманах платок, забыв, что перевязал им машиниста.

— Что рука, Клим Ефремович, — сердце болит. — И он ударил здоровой рукой в грудь. — С больными воюют, гады, белая сволочь, детей порубили!

— Лукоша может быть здесь через час-другой. Их надо захватить, а ты снимай рубаху. — И Ворошилов принялся

перевязывать товарищу руку.

Пуля прошла через мякоть. Пархоменко, довольный, что может шевелить пальцами, снова взялся за карабин: «Хоть бы узнать, что это за банда». Однако не только выйти, а даже выглянуть в окно без риска для жизни было уже невозможно. Преследуемый роем пуль, бронепоезд, отстреливаясь, отходил назад.

В санитарном составе было пятьсот шестьдесят больных и раненых красногвардейцев, женщин, и детей. Пока подоспел отряд Лукоши, в живых осталось только семеро. Они успели бежать в степь еще до того, как казаки захватили станцию. Да еще одного старого рабочего нашли под изрубленными телами.

Отряд казаков отступил на хутора, и путь на Царицын снова был свободен, но уже на другой день стало известно, что враг взорвал впереди самый большой мост через Дон.

Как и следовало ожидать, вслед за этим белые двумя армиями повели наступление на армию Ворошилова и обложили ее полукольцом. Они были уверены, что на этот раз добыча уже не выскользнет из их рук. Мост поднимался над водой на пятьдесят метров, и один из его пролетов взрывом был сброшен на дно. Чтобы восстановить пролет, нужно было железо, а его, конечно, красные в степи достать не могли.

Но луганские рабочие взялись восстановить мост и без железа. Как растревоженный муравейник, люди засуетились на белом песке, на который набегали голубые волны Дона. К мосту и от него в разные стороны ручьями тянулись и днем и ночью телеги. На них подвозили камень, старый кирпич, бревна, шпалы, землю и даже солому. На горизонте, не смолкая, гремела канонада, трещали пулеметы и винтовки.

Чтобы сдержать врага, пока рабочие наладят мост, красногвардейские отряды рассыпались дугой километров на тридцать в радиусе. В стычках с казаками они то проникали в степь и дальше, то отступали почти к самому мосту. Тогда вокруг диковинного сооружения, которое с каждым днем все выше вставало над водой, густо рвались снаряды и часто обрушивались в воду у самого моста.

На двадцать восьмой день башни, похожие на высокие срубы, сравнялись с настилом старого моста. Положили рельсы, и по ним первым спешно пошел через Дон бронепоезд.

Ворошилов со своим штабом затаив дыхание стоял на мосту. Пархоменко, зажмурившись, то и дело хватал его за локоть и вздрагивал от каждого шороха:

— Ой, трещит, ой, скрипит… Не выдержит!

Когда бронепоезд проскочил на другую сторону, крик

радости громом вырвался из сотен грудей, прошел по всем эшелонам и разлегся в степи на несколько километров. Внизу, по белому песку, бегали рабочие, казавшиеся с моста карликами, и бросали вверх шапки. Они, может быть, тоже кричали «ура!», но их заглушало разноголосое пение красногвардейцев, несшееся из вагонов. На Царицын, куда направлял армию шахтеров Ленин, уже шли по мосту эшелоны и пешие части, и сотни голосов подхватывали под гармонь:

Вильгельм сидел на солдатах,
А Краснов на казаках.
Мы им в морду надавали,
Оставили в дураках…

В воде рвались снаряды, вздымая фонтаны брызг. Враг знал, что Дон был последним препятствием для красных, и бешено обстреливал мост. Попади хоть один снаряд в это сооружение из шпал и камня, оно разлетелось бы, как карточный домик. Но за двадцать восемь дней ни один снаряд в мост не попал. Не попал и на этот раз. Враг стрелял плохо.

За Доном армия оборотилась лицом на запад и север и заняла позиции.

12

В августе Александр Пархоменко выехал в Москву. Царицынские заводы, работавшие на армию, не могли обеспечить фронт всем необходимым для повседневных боев, а интендантские склады уже были пусты. Красновские части рвались к Царицыну, стремясь сбросить красных в Волгу. На фронте начались жестокие бои, срочно требовалось оружие, снаряды, обмундирование. Пархоменко в это время был особоуполномоченным Десятой армии, созданной под командованием Ворошилова из Третьей и Пятой армий, из Морозовской дивизии и царицынских частей. Ему поручено было достать в Москве все необходимое и немедленно возвращаться обратно. Обо всем этом он должен был доложить Председателю Совета Народных Комиссаров В. И. Ленину, а также сообщить о положении на царицынском фронте. Ленина Пархоменко еще никогда не видел, но слухами о нем полнилась вся земля. Вот и сейчас сквозь перестук колес Пархоменко как будто слышит его имя и, чтобы убедиться, спрашивает:

— Вы о ком это?

— О Ленине, о Владимире Ильиче, товарищ, — ответил пассажир с глубоко запавшими голодными глазами. — О товарище Ленине.

— А ты его видел? — Пассажиры вытянули шеи, наморщась, напряженно прислушивались к говорящему.

— А как же, видел! Еще когда Владимир Ильич впервые из-за границы приехал. Весь рабочий Петроград тогда ликовал. По улицам пройти нельзя было, все спешили к Финляндскому вокзалу. Женщины, дети — все туда же. Товарищи в флотской форме, армейцы в новых обмотках шли с песнями, и я следом бегу. Может, товарища Ленина понадобится защитить. Ведь вся буржуазия тогда крик подняла: «Расстрелять Владимира Ильича Ленина!». Буржуазия, кадеты то есть, знали уже его. У одного банкирша ванну ставил, так он мне прямо сказал: «Ленин твой будет расстрелян». А у него двое сыновей — офицеры, и банк денежный в Москве. «Зачем расстреливать Ленина? — спрашиваю. — Мы все за Ленина». Кухарка хозяина тоже меня поддерживает: «Печник правильно говорит». Она тоже наслушалась всяких митингов… — Тогда, скажу вам, на каждом перекрестке носилось в воздухе страшное для буржуазии слово — Ленин. Буржуи, как крокодилы, на него глядели. На всех митингах и в домах кричат, лают, как собаки, лишь бы Ленина не допустить до нас. А товарищ Ленин мог и не знать, что те сукины

сыны, меньшевики да эсеры, задумали. Прибегаю к вокзалу, а вокруг факелы пылают и броневики стоят для охраны. И только показался Ленин — весь народ как закричит и на руках подняли его прямо на броневик. Я смотрю на Ленина, а он живой такой, и пальтишко на нем кофейное. И говорит первые слова: «Товарищи рабочие, поздравляю вас с началом борьбы! И да здравствует, — громко выкрикнул, — да здравствует социалистическая революция!»

Пархоменко был рад, что ему выпало такое счастье: он увидит товарища Ленина. Будет говорить с ним. Все ему расскажет: и что слышал, и что видел. Расскажет и о том, как Ворошилов, еще когда ремонтировали мост, послал Пархоменко в Царицын — наладить связь с местной властью.

Пархоменко вспоминал день за днем пережитое тогда. Дон он перешел вброд, это оказалось не так трудно, труднее было пробраться к Царицыну через восставшие станицы.

Оказавшись наконец в городе, Пархоменко с удовлетворением заметил, что и Царицын походил на фронт: в скверах дымились военные кухни, на площадях рабочие кололи штыками соломенные чучела, через барьеры прыгали конные, по улицам тянулись обозы, скакали ординарцы.

— Ты бы посмотрел, что тут творилось до приезда народного комиссара, — сказал при встрече знакомый коммунист. Слушая его, Пархоменко даже не верил, что такое могло быть. В то время, как Донецкая армия из последних сил билась с немецкими оккупантами, с гайдамаками, с белыми казаками, собственной кровью отмечала путь на Царицын, здесь, в садах и ресторанах, раздавалась музыка, по улицам свободно ходили бывшие офицеры, царские чиновники и бежавшая сюда с севера буржуазия. Москву и Петроград душил голод, там рабочим выдавали уже вместо хлеба овес или чечевицу, и то не больше четверти фунта на день, а тут было полно белого хлеба, мяса. За Доном, в степи, в каких-нибудь семидесяти километрах от Царицына, обессиленные украинские рабочие шахтеры отбивались от белоказаков — здесь это никого не интересовало, хотя в городе находилось управление Северокавказского военного округа и еще несколько штабов разных фронтов.

— Прикрылись мандатами Троцкого и никого больше знать не хотели, — рассказывал Пархоменко знакомый коммунист. — Ударь тогда белогвардейские части на Царицын, и вся эта сволочь, которая здесь шлялась, ясное дело, помогла бы казакам.

…Вражеский фронт уже упирался флангами в Волгу. Под угрозой была связь по железной дороге с Москвой, а по Волге — с Камышином. Чтобы спасти Царицын, нужны чрезвычайные меры.

Обо всем этом Пархоменко должен сообщить Ленину. А пассажир с глубоко запавшими глазами продолжал рассказывать:

— Ильич сразу нас узнал и спрашивает: «Как у вас дела с хлебом?» — «Плоховато», — отвечаем. «А какое настроение у рабочих?» — «Боевое, — говорим, — работают хорошо…» — «В наркомпроде вам, — говорит, — выдадут разрешение», — на выезд за хлебом, значит, а у самого на тарелочке тоже только черная корочка.

Пархоменко взглянул на свой портфель, из которого выглядывала круглая, как вымя, буханка, и, видно, что-то придумав, довольно усмехнулся.

Ленин принял Пархоменко в Кремле в первый же день, как тот приехал в Москву. Опершись локтями на стол и склонив слегка набок голову, он внимательно слушал о положении на Южном фронте, о хлебных ресурсах и время от времени вставлял вопросы. Потом резко поднял голову, сказал:

— Вы слышали, товарищ Пархоменко, что левые эсеры убили бомбой Мирбаха? Затем восстание против нас… жалкие и истеричные авантюристы. Мы скажем народу всю правду.

— А мы в Царицыне с ними не церемонимся, — ответил Пархоменко. — Писаниной не занимаемся, да и говорим немного.

— И хорошо делаете. За хлеб, товарищи, вы отвечаете головой! — Владимир Ильич вытащил из кармана платочек и короткими движением обмахнул усы и бородку.

В дверь просунулась чья-то седая борода. Ленин поспешно встал.

— Что, дедушка? Все получили?

— Да всем, батюшка, удовлетворили, только как насчет хлебушка?

— Насчет хлеба? Вот, дедушка, как очистим Россию от помещичьих прихвостней, заживем по-новому, тогда и хлеба будет вдосталь, а сейчас пусть ваши сходят к товарищу Цюрупе. Он даст разрешение, и тогда можете поехать за хлебом. Идите, я уже позвонил ему.

— Это еще страшнее, чем война, — сказал Пархоменко, когда старик вышел.

— Тяжело, товарищ Пархоменко, но поборем и эти трудности. — Владимир Ильич попробовал пальцем чайник, стоявший в конце стола. — Чаю хотите? — На блюдце возле стакана лежал маленький кусочек черного хлеба.

Пархоменко вдруг покраснел, затем торопливо вытащил из портфеля буханку белого хлеба.

— Владимир Ильич, мы слышали, как у вас здесь с хлебом… Вот, будьте добры, покушайте нашего хлебца. Только не

подумайте чего, из собственного пайка.

Ленин взял буханку и с ясной улыбкой осмотрел ее со всех сторон.

— Даже пшеничный? Благодарю, за это благодарю. — Он позвонил. Вошел секретарь. — Вы видите, какой еще есть у нас хлеб? Старик ушел? Ушел, жаль! Тогда отошлите этот хлеб в детский дом. От царицынских рабочих, скажете. — И снова обернулся к Пархоменко. — Ну, так чем на Дону мужичок-середнячок недоволен?

Пархоменко сидел красный и в замешательстве все еще вертел в руках портфель, не решаясь поднять на Ленина глаза. Владимир Ильич зашелестел на столе бумагами, чего-то ища, и продолжал:

— В октябре этот мужичок боролся за советскую власть, а теперь пошел за Красновым, чем вы это объясняете?

— Спекулировать не дает советская власть, — ответил Пархоменко. — Хлебной монополией, твердыми ценами середняк недоволен, ну а Краснов, знаете… Беднота, та идет за нами.

Откинув полы пиджака, Ленин сунул руки в карманы брюк и, подняв плечи, мелкими шагами прошелся вдоль стены, бегло взглянул на карту, затем повернул назад и ткнул пальцем в какое-то место, обведенное красным карандашом.

— Свободная торговля, товарищ Пархоменко, уже показала свои результаты — цены поднялись вдесятеро, потом и продукты исчезли с рынка. Нет, мы не пойдем на буржуазные методы, на массовую голодовку в интересах богатеев и мироедов. Будем применять чисто социалистические меры борьбы — хлебную монополию и твердые цены. В интересах рабочих! Вы как думаете?

— Хлеб будет. На Волге его сколько угодно. Нам, Владимир Ильич, оружия не хватает.

— Это пустое. Оружие будет, был бы народ.

— А вот кто-то здесь тормозит. Ваше вмешательство необходимо.

— А вы разве не хозяин страны?

— Есть посильнее.

— Теперь все равны. Давайте вместе хлопотать. Заводы уже возобновили производство снарядов. Все, что нужно будет, дадим, а если кто будет тормозить, звоните. Узнавайте фамилию этого бюрократа и звоните. Вы где остановились? Вам машина нужна? Вызывайте мою, я распоряжусь.

Пархоменко остановился в гостинице «Метрополь», где в то время жили все ответственные работники. Столица еще была под впечатлением только что ликвидированного в Ярославле

восстания левых эсеров. Отрезанные от угля и руды, заводы замирали, на улицах, покрытых шелухой от семечек, рабочие спешно обучались военному делу, а к вокзалам тянулись красногвардейские отряды, отправлявшиеся на бесчисленные фронты: на север — против десанта Антанты, на восток — против чехословаков, проданных своим командованием французским и английским империалистам, и против Краснова — на Воронеж. На Кубани группировалась «добровольческая» армия Алексеева и Деникина.

Почти вся Москва была одета в полинявшие гимнастерки и выцветшие френчи. Голодная и оборванная, она, однако, ни на минуту не теряла революционного пафоса и потому казалась молодой и жизнерадостной.

Пархоменко говорил с Лениным больше часа и вышел из Кремля глубоко удовлетворенный этой встречей. Теперь он ясно видел, на что можно было надеяться завтра и послезавтра, и знал, что надо делать, чтобы побороть и голод, и контрреволюцию.

На другой же день Пархоменко начал обходить всевозможные отделы снабжения. Прокуренные канцелярии и коридоры не вмещали сотрудников и посетителей, перед дверями кабинетов стояли очереди, столы были завалены бумагами. Создавалось впечатление кипучей работы, но добиться толку было почти невозможно. Из одного кабинета Пархоменко посылали в другой, в третий, до тех пор, пока он осипшим от пререканий голосом не звонил в Кремль. И только названное в трубку имя производило на интендантов магическое впечатление; после этого за какие-нибудь четверть часа удавалось сделать то, на что тратились целые дни.

Из Царицына почти ежедневно приходили телеграммы с требованием ускорить высылку боеприпасов. 30 августа Пархоменко снова позвонил в Кремль. Если бы не задержка нарядов на броневики, можно было бы уже отправить первый эшелон. На восемь часов было назначено заседание Совета Народных Комиссаров, и Владимир Ильич уже должен быть там, но на этот раз секретарь ответил каким-то необычным голосом: «Товарища Ленина ранили… Только что… Он выступал на заводе Михельсона… стреляла какая-то женщина… Больше ничего не знаю».

Пархоменко побежал к себе в гостиницу. Перед входом уже стояли пулеметы. Страшная весть в один миг облетела всю Москву, и город превратился в растревоженный улей. Раненого Владимира Ильича привезли на квартиру… Стреляла эсерка Каплан… Ее поймали рабочие и отвели в военный штаб на Малую Серпуховку… Остальные террористы успели бежать с митинга…

Теперь было понятно, чья это рука писала грязные записки, поданные среди других докладчику.

— Я вижу, — сказал Владимир Ильич, отвечая на них, — что эти записки писала не рабочая рука. Это писали те, кто стоит на страже у капиталистов. У них не хватает мужества выступить здесь с трибуны и заявить откровенно, что они хотят восстановить капиталистический строй, возвратить заводы капиталистам…

В трех шагах от помоста стояла высокая черноволосая женщина, нервно кусала папиросу и криво усмехалась посеревшими губами. А когда Владимир Ильич садился в автомобиль, эта же женщина вышла из-за машины с наведенным на него револьвером.

…Уже кончался месяц, а Пархоменко все еще не мог послать ни одного вагона снаряжения, которого нетерпеливо ждала в Царицыне Десятая армия, чтобы ударить на врага с востока и этим помочь украинскому народу освободиться от оккупантов и их наемников. Когда уже никакие доводы не действовали на снабженцев, Пархоменко, как и раньше, хватался за телефонную трубку и с отчаянием клал ее обратно: Владимир Ильич все еще был болен.

13

В самом конце 1918 года австро-немецкие оккупанты были выброшены с Украины. Бессильный со своими гайдамаками перед народным восстанием, гетман Павло Скоропадский тоже бежал к немцам. Власть на Украине захватила так называемая Директория, в которой верховодил Симон Петлюра, она объявила войну большевикам. Но рабочие и крестьяне бились с оккупантами и сбрасывали гетмана не для того, чтобы капиталисты вернулись на фабрики и заводы, а помещики в имения, и по всей Украине с новой силой вспыхнуло восстание. Его поддержали полки Щорса, они повели наступление на Киев, а на Харьков наступали красные партизанские отряды, и Директория в марте 1919 года бежала за Збруч…

От петлюровской армии на Украине остался только атаман Григорьев со своей бандой, этот ударил в тыл Красной Армии, сдерживавшей наступление Деникина. На Херсонщине, Киевщине и Екатеринославщине вспыхнуло кулацкое восстание и прокатилась волна еврейских погромов. В городках и селах бандиты убивали ревкомовских работников и коммунистов.

Восстание приближалось к Харьковщине. Начальником обороны Харьковского района и губвоенкомом был в то время Александр Пархоменко, а военным округом командовал Клим Ворошилов, которому и было поручено ликвидировать банду Григорьева. Приказав Пархоменко встретить григорьевские банды под Екатеринославом, Ворошилов повел наступление с запада.

В Харькове остались только команды для караульной службы: все части Красной Армии были брошены на деникинский фронт. Набрав из разных команд около пятисот штыков, Пархоменко двинулся со своим отрядом навстречу григорьевцам.

Григорьев успел уже захватить Екатеринослав. Красноармейцы уничтожили заставу у моста, и Пархоменко с двумя членами Комитета обороны и несколькими бойцами направился на разведку в город. Был май, под окнами в рабочем предместье зацветала сирень, а вдоль низеньких заборчиков зеленела трава. Когда разведка вошла в город, уже взошло солнце. В такое время люди обычно шли на работу, но сегодня улицы оставались пустыми, будто все вымерли.

— Почему это? — удивленно спросил Пархоменко.

— Так ведь лучше не попадаться на глаза бандитам, — отозвался один из членов комитета. — Беженцы рассказывают такие страсти, что у людей волосы дыбом встают.

— Даже удивительно было бы, если б о Григорьеве что-

нибудь другое услышали, — сказал другой.

— Где он может быть сейчас?

— Дьявол его знает, а здесь командует его помощник Максюта.

— Может, это тот Максюта, что у нас с карателями ездил при гетмане? — спросил красноармеец. — Так я его знаю!

Они шли по улице цепочкой, один за другим, — так, как ходили рабочие. Пархоменко нервно покусывал кончик длинного уса: в штабе Второй армии, находившемся в районе Мелитополя, никто не мог сообщить ему ни о численности врага, ни о дислокации его частей.

Разведка уже подходила к мосту. Навстречу показался мотоциклист, а вслед за ним автомобиль, полный людьми. Мотоциклист, сотрясая воздух грохотом мотора, свернул в первый переулок, автомобиль продолжал приближаться. Теперь уже видно было, что в нем рядом с шофером сидел кто-то с ручным пулеметом, а позади еще четверо, одетых в военные френчи и гимнастерки. Красноармеец, который хвалился, что знает Максюту, дернул Пархоменко за рукав и прошептал:

— Он, ей-ей! Максюта едет!

— Вот и хорошо, поговорим, — ответил Пархоменко, засовывая руку с наганом за пазуху. — А вы укройтесь в канавке. Только без команды не стреляйте.

Заметив встречных и, по-видимому, считая, что это возвращается назад своя застава, Максюта остановил машину и махнул рукой Пархоменко, который уже и без того переходил дорогу. Максюта сидел позади, сбоку и спереди, как видно, находилась его охрана. Все они были в ремнях и портупеях, обвешаны револьверами и бомбами, кроме того, по револьверу держал каждый в руках.

Пархоменко подходил не спеша и внимательно присматривался к сидевшим в машине. Максюта выделялся среди них более опрятным френчем; его узкое нервное лицо было чисто выбрито, усы подстрижены. Колючие глаза глубоко запали. Напротив него сидел какой-то человечек с маленьким личиком, которое не то плаксиво морщилось, не то усмехалось. Пархоменко невольно вспомнил тщедушного человечка, с которым встретился в поезде, когда из Луганска его отправляли в царскую армию. Он даже припомнил фамилию этого человека и, пораженный, крикнул:

— Макогон, ты как сюда попал?

Григорьевцы опустили наганы: подходил свой, раз назвал Ваську Макогоном. Человечек замигал кроличьими глазками, стараясь понять, в чем дело, а потом расплылся в широкой

улыбке:

— Фамилии твоей не знаю, а тебя вспомнил — как ты в вагоне отписал все кресты и деревянный вдобавок одному хлюсту. По-твоему и вышло: первого «георгин» он заработал, а второй был деревянный… А я тебя тогда наслушался и, как пошел в дезертиры, так и до сих пор домой никак не попаду.

— За кого ж ты воюешь? — спросил Пархоменко, поставив ногу на ступеньку и краем глаза следя за каждым движением Максюты.

Максюте наскучил этот обмен воспоминаниями, и он резко перебил:

— Куда вы шли, чего толчетесь здесь?

— Максюту ищем.

— Про волка речь, а он сам тебе навстречь, — кивнул Макогон на узколицего и, засунув наган за пояс, достал кисет с махоркой.

Другие тоже потянулись к кисету, только Максюта, как бы почувствовав опасность, продолжал держать перед собой револьвер, проворно шнырял глазами по сторонам.

— Зачем тебе Максюта?

— Прикончить хочу, — сказал Пархоменко, — а это тебе не поможет, — указал он на револьвер и тут же завернул атаману руку с револьвером назад, зажав ее в кулаке, а свой наган приставил к его виску и крикнул:

— Руки вверх!.. Все!.. Или застрелю Максюту!

Максюта ощерился от ярости и боли.

— Что это значит? Я командующий Екатеринославским округом. За кого ты меня принимаешь, дьявол? Ты слышал, кто я?

— Ты — бандит! А советскими войсками командую я. Над бандитами у нас суд короткий. — И он спустил курок. — Вот кому ты служил, Василь!

Макогон в одной руке держал кисет, в другой — еще не скрученную бумажку с махоркой. От испуга его руки затряслись, и махорка посыпалась ему на колени. Не растерялся в автомобиле только пулеметчик. Увидев в руке у Пархоменко наган, он быстро начал поворачивать свой пулемет назад, но для этого надо было сначала самому повернуться всем туловищем. Раньше, чем он успел это сделать, Пархоменко схватил освободившейся теперь рукой пулемет, отвел от себя ствол и прижал к машине.

— Храбрый, мерзавец, такие мне нравятся!

Пулеметчик силился вырвать или хотя бы сдвинуть ствол пулемета, но он был словно прикован. К машине уже подбегали остальные разведчики.

— Этого стрелять не надо, — кивнул Пархоменко на

пулеметчика. — Из таких путные люди выходят.

Васька Макогон только теперь опомнился и силился упасть на колени, но тело Максюты прижало ему ноги, и он, охваченный страхом вдвойне, тоненько заплакал.

— А говорил, что смерти ищешь, — иронически заметил Пархоменко. — Плохо ты меня слушал, любезный. С кем ты шел и против кого? С кулачьем против самого себя, против рабочего человека.

— Так я ж за народ, товарищ. Такой слух был у нас, что большевики всех в коммунию загонят, снова экономии заводят.

— А ты знаешь, что такое коммуния, для чего? Спросил бы тех, кто поумнее, прежде чем в банду идти. Вылезай!

Макогон наконец освободил ноги и вылез из машины.

— Кабы все знали, где та правда. Стреляй тут, раз из меня паршивая овца получилась. Верно, ты тогда не всю правду сказал, рабочий, а всякие людишки еще глубже ее запрятали… Стреляй!

— Погоди, может, ты поумнеешь да еще советской власти послужишь? Знаешь, где Григорьев?

— Воля ваша, только панам я никогда не думал служить. Сам видишь, разве это годы иссушили тело? От работы зачах, а про Григорьева ничего не знаю.

— Если хочешь заслужить доверие, так я тебе приказываю: пойди разузнай о том, что я тебе скажу, а тогда, может, и к красным примем. — И Пархоменко обстоятельно рассказал, что ему нужно. — Ну, а если обманешь, от наших рук не уйдешь: григорьевцам все равно крышка.

Васька Макогон вытер рукавом холодный пот с лица и задержал локоть у глаз. Из-под локтя по сухому загорелому лицу сбегали слезы и падали на пыльную дорогу темными катышками.

— Это, видно, меня судьба с тобой свела, товарищ рабочий… Недослышал я тогда правды твоей. — И он сквозь слезы улыбнулся.

Григорьевцы дольше всего держались на вокзале, но на другой день были выбиты и оттуда. Красные освободили Екатеринослав и погнали врага на запад, прямо на группу Ворошилова. Васька Макогон вернулся через неделю. Он выполнил все, что поручил ему Пархоменко, и даже больше — принес известие, что Нестор Махно застрелил атамана Григорьева. Встретились оба бандитских вожака в селе Сентовое, около Александрии, на сходке. Адъютант Григорьева в присутствии Махно обвинил махновцев в том, что они грабят честных хозяев, кормивших григорьевцев. Махно, вместо объяснения, молча выстрелил в Григорьева. Раненый Григорьев бросился бежать, но Махно добил его второй пулей. Потом

пристрелил еще пятерых командиров и шесть рядовых бандитов. Остальные разбежались.

— Так что, товарищ Пархоменко, поминай как звали Григорьева и всю его банду.

— Хорошие вести приносишь, Макогон.

— О, я такой! Ты меня еще к батьке Махно направь. По нем тоже пуля плачет. Слышал, какую он штуку выкинул?

Добровольческая армия генерала Деникина, мечтая о наступлении на Москву, до сих пор не могла пробиться через Донбасс, но на помощь ей пришел Нестор Махно. Он открыл дорогу через занятый им район, и армия Деникина хлынула теперь в эти ворота.

Харьковская партийная организация мобилизовала почти всех коммунистов и всех рабочих, способных носить оружие. Александр Пархоменко, назначенный начальником обороны, беспрерывно бросал навстречу врагу все новые и новые части, но противник был хорошо вооружен, а некоторые из его частей целиком состояли из офицеров, и красные отряды вынуждены были оставить Харьков.

Не переставая сдерживать деникинцев, Пархоменко из разрозненных отрядов сформировал две пешие и одну конную бригаду и прикрыл ими сумское направление. По оперативным сводкам главного командования он видел, как бывшие офицеры ежедневно перебегали к белым. Иногда они сдавали врагу целые роты, даже батальоны, поэтому враг легко ломал линию красного фронта. Бригадами Пархоменко командовали бывшие офицеры царской армии, в свое время проявившие искреннее желание служить в Красной Армии, но теперь Пархоменко и на них не мог положиться. Однажды адъютант принес рапорт комбрига-два и сказал:

— Мне кажется, товарищ начальник, этот человек ненадежен.

Такими подозрениями адъютант уже не впервые смущал Пархоменко, но пока еще ни одно из них не оправдалось. Однако вкрадчивый голос адъютанта подействовал, и на этот раз Пархоменко спросил сердито:

— Чего он хочет, этот комбриг?

— Жалуется, что красноармейцы забрали из его усадьбы книги и граммофон.

— Мои красноармейцы? Где это?

— Под Сумами. Он оскорблен и просит его уволить.

— Просит? Значит, порядочный человек. Прогоним белых, дадим ему не только граммофон, а даже орган и целую библиотеку. А тех, кто таскает барахло, передайте в Особый отдел. Я вижу, комбриг честный человек, а рапорт написал в

сердцах. Верните ему и, как положено в таких случаях, извинитесь. Точка!

Вскоре после этого где-то поблизости раздался сильный взрыв. Штабной поезд стоял в это время на станции Сумы, невдалеке от города находился железнодорожный мост, и его нужно было взорвать, чтобы задержать наступление деникинцев. Пархоменко боялся, что не успеют, и теперь, услышав наконец взрыв, довольно потер руки. Однако в окно он увидел какое-то необычное движение на перроне. Ничего не понимая, Пархоменко вышел из вагона. Хотя уже наступила тишина, красноармейцы бежали, вытаращив глаза, явно чем-то перепуганные. На бегу они бросали вещевые мешки, шинели, даже сапоги. Пархоменко схватил за плечи одного красноармейца, который потерял даже сапог.

— Что случилось, куда ты бежишь?

— Адъютант говорит, нас обошли, мост впереди взорвали! — выкрикнул красноармеец, голой пяткой стараясь стянуть и другой сапог. — Говорит, спасайтесь, кто как может…

— Это твоя гармонь? Играй казачка!

Красноармеец, подчиняясь строгому приказу, заиграл непослушными пальцами. Услышав веселый танец, бойцы удивленно оглядывались и, не увидев нигде врага, останавливались в растерянности и виновато поворачивали к своим вагонам. Скоро возле гармониста уже столбом стояла пыль и слышался веселый смех.

После взрыва началась артиллерийская канонада, она становилась все громче и настойчивей. Это удивило и Пархоменко; не подавая виду, он спокойно пошел к вагону, но, очутившись у себя, уже с тревогой взял телефонную трубку. Бой шел на фронте первой бригады. К телефону подошел дежурный.

— А где комбриг?

Дежурный, было слышно, запнулся:

— Комбриг, говорят, еще с полчаса назад будто бы утек к белым… Будто поехал на позиции — и прямо на ихнюю разведку. Я вам звонил… Враг перешел в наступление, мы отходим…

Пархоменко раздраженно бросил трубку и крикнул в дверь:

— Позовите адъютанта, а Макогон пусть седлает коня!

Прежде чем возвратился посланный, в вагон вошел политком, белокурый эстонец. Всегда сдержанный и уравновешенный, мало знакомый с военным делом, но хороший токарь Харьковского завода ВЭК, он на этот раз был раздражен и ругался не переставая, пока не вошел в вагон. В купе, кроме Пархоменко, были его жена и двое детей. Политком, извинившись, снова крепко выругался. Из его слов Пархоменко понял, что не только

командир первой бригады сбежал к белым, подняв перед этим панику на станции, перебежали к белым еще и помначштаба и командир эскадрона. Тем временем вернулся дежурный.

— Лошади готовы, товарищ командир группы, а вот адъютанта, — он виновато взглянул на политкома, — адъютанта нету. Видели, будто бы на позицию поехал.

— Догнать! — прохрипел Пархоменко сдавленным голосом. Лицо его вдруг стало серым; казалось, что он сразу постарел. — Ну, говорите, говорите, что и комбриг-два сбежал… тот, что рапорт подавал… Нет, он не сбежит, он честно возмущался… адъютант хотел его очернить. Догнать провокатора! — Пархоменко неожиданно пошатнулся и, если бы политком не поддержал, упал бы на пол.

— Ты совсем болен! — испуганно воскликнула жена.

— Что я тебе — барышня, чтобы болеть? — Пархоменко стиснул зубы. — Макогон, давай коня.

В вагон неожиданно вошел Иван Пархоменко. Он был в измятой шинели, от которой несло карболкой, давно не бритое лицо было тоже измято, как шинель. В глубоко запавших глазах сквозил плохо скрытый испуг, но Александр Пархоменко встретил его неожиданно весело, даже с иронией.

— Вы прибыли? Что за вид у вас, братец?

— Хоть живой остался, и то ладно. Думал хоть у тебя после тифа отлежаться, а оказывается, вас жмут.

— А ты меньше щурься, дальше увидишь. Садись. Сейчас будем отступать. Вырвемся из этого мешка, потом мы врага будем жать. Слышал, крестьяне в тылу Деникина уже за вилы берутся? С такими лозунгами — опять «единая неделимая», опять посадить на землю помещиков — его армия далеко не продвинется. Отступим до Ворожбы, может, и до Орла, тем хуже для Деникина: больше в тылу будет партизан, а до Москвы не доскачет.

Когда Красная Армия отступила к Ворожбе, Александр Пархоменко был уже совсем болен. Сдав командование своей группой, он поехал лечиться. На одной прифронтовой станции увидел красноармейцев. Должно быть, в ожидании поезда они лежали, сидели и слонялись по перрону, каждый с винтовкой за плечами. Неряшливый вид их говорил о полной дезорганизации части. Пархоменко заинтересовался, сняв из предосторожности с себя портупею и надев на голову шапку-ушанку брата, прошелся несколько раз между красноармейцами и вернулся в вагон, нервно покусывая кончик уса.

— Наши, — сказал он, швырнув шапку на пол, — даже сюда добежали.

— Дезертиры? Арестовать их, вернуть назад! — возмутился Иван.

Александр поморщился, он не любил таких слов.

— Ты видишь, сколько их! Что ж, мы выйдем и крикнем: «Вы арестованы, мы вдвоем вас окружили со всех сторон, сдавайте оружие!» Так? Или еще что-нибудь посоветуешь?

Иван виновато моргал глазами:

— Ну и черт с ними!

— Страшен не черт, а оружие, брат. Надо что-то придумать.

Александр Пархоменко отправился в местный отдел Чрезвычайной Комиссии и возвратился оттуда с готовым планом.

— У них в ЧК только пять человек охраны. Будем бить на сознательность, но осторожно: разный здесь элемент.

Спустя некоторое время из вагона вышел Иван в своей помятой шинели без хлястика и затерялся в толпе, вскоре вышел и Александр Пархоменко. На нем был новый френч, серебряная сабля, маузер и полевая сумка с картой. Едва он ступил на перрон, Иван вытянулся и приложил руку к ушанке; чуть дальше так же вытянулся в струнку другой красноармеец. Те, что лежали, убрали ноги с дороги и, увидев, что и третий красноармеец тоже подтянулся и поднял руку к козырьку, начали поглядывать, куда бы дать тягу. Иван уже успел забежать вперед и снова стал во фронт.

— Что это за люди здесь валяются? — громко спросил его Александр.

Красноармейцы бросились было кто куда, но за станцией на узкой тропке стояли бойцы охраны, выставив вперед три штыка. Такой же штык поблескивал у водокачки и возле пакгауза, а Александр Пархоменко уже стоял на каком-то сундучке и громко объявил:

— Прошу всех подойти сюда! Выясним положение, товарищи, иначе буду считать вас контрреволюционерами. Вас послала на фронт мировая революция, чтобы не дать снова буржуям и капиталистам сесть на шею трудящимся. Кто же защитит свободу, как не мы сами? А вы бросили фронт да еще захватили винтовки, чтобы честным бойцам нечем было отбиваться от капиталиста и кадета!

Чем больше говорил Пархоменко, тем ниже красноармейцы опускали головы. Однако когда он предложил сложить оружие, они снова испугались, вероятно, ожидая немедленной кары за дезертирство, и снова начали поглядывать на тропинку за станцией. Иван первый подошел к «неизвестному» командиру и возле его ног опустил на цемент перрона свою винтовку. За ним подошли еще двое и также, краснея от стыда, положили

винтовки. Положив, вздохнули с облегчением и стали подле командира. Тогда начали складывать оружие и переходить на сторону Пархоменко и остальные.

Когда все оружие было сложено, а Иван и двое красноармейцев продолжали стоять, охраняя Пархоменко, он сказал:

— Наказывать вас я не буду, вам революция судья, но предлагаю возвратиться на фронт в свои части. Скажете там, товарищ Пархоменко…

— Так я ж вас знаю! — перебил остроносый боец. — Вы — командующий Сумской группы.

Среди красноармейцев пробежал шепот, лица их вытянулись, и они один за другим начали оправдываться:

— Мы не виноваты, если у нас всех командиров убило!

— А мне командир сказал: «Все равно белые захватят Москву!»

— И сам утек к белым!

— А у меня рана не заживает!

— Я знаю одно, — сказал Александр Пархоменко, — что вы самовольно покинули фронт. Вы совершили такой проступок перед народом, который можно искупить только в бою с врагами революции.

— Мы отстали от эшелона, — смущенно бормотали другие.

— Ну, значит, догоняйте! Вас там ждут обессиленные части. До каких пор вы будете отлеживаться на солнце? Назначаю тебя старшим. — И он указал на остроносого, который обрадовался встрече с ним. — Принимай команду! Производи посадку. Прибудешь в часть, скажешь, что тебе товарищ Пархоменко поручил доставить всех до одного. Точка!

На давно не бритых и загорелых лицах красноармейцев заиграла довольная улыбка. А новый начальник команды уже выкрикивал: «Слушай мою команду!»

14

В мае двадцатого года древний Киев испытал новую оккупацию. На его улицах раздавалась польская речь легионеров пана Пилсудского. Однако уже через месяц легионеры, спасаясь от Красной Армии, вынуждены были поспешно бежать.

В сыром после дождя лесу на разные голоса щебетали птицы, разбуженные раньше обычного; по дороге вдоль опушки леса стучала тысячами копыт конница. Звеня стременами, Четырнадцатая кавдивизия спешила на запад, преследуя белополяков, которые бежали на Новоград-Волынский. В стороне от дороги, на холме, стояла группа командиров. Солнце сверкало на их оружии и на ордене Красного Знамени, украшавшем грудь одного из них. Он сидел на вороном коне, расправив широкие плечи, и довольно разглаживал черные, как конская грива, усы.

Заметив его, конники стременами толкали соседа:

— Начальник дивизии… товарищ Пархоменко… вон тот, с орденом, и наш комбриг по левую руку. — И они выпячивали грудь, прижимали шенкеля и оттягивали вниз каблуки. Головы, повернутые к командирам, держали высоко и горделиво.

— Орлы! — крикнул баском Александр Пархоменко. — Молодцы! И воевать научились, и сидят как влитые. А вот как реку будут форсировать?

Впереди лежала река Случь, и за ней укрылись белополяки.

— Поручите мне, товарищ начдив, — самоуверенно сказал комбриг-один, сбивая на затылок кубанку. — Мои хлопцы Дон переплывали, как гуси.

— А теперь пусть другие поучатся, — ответил Пархоменко, даже не взглянув на него.

Командиры других бригад были довольны такой отповедью.

В Первой Конной армии самою молодою была Четырнадцатая кавдивизия. Ее первая бригада начала формироваться в районе Воронежа всего только в феврале этого года. Набранная из крестьян-бедняков Старобельщины, Воронежщины и Тамбовщины, она уже через месяц добивала под Майкопом остатки деникинской армии, катившейся от Орла. Последние две бригады были сформированы в Ростове и сразу же двинулись походным маршем на польский фронт.

Натравленная Антантой, панская Польша напала на Белоруссию и Украину, мечтая о границах до самого Черного моря и о богатых хлебом и рудой украинских землях.

Вместе с белополяками возвращались на Украину в составе Шестой дивизии и недобитые части петлюровской армии, уже

однажды выброшенные за Збруч.

Тысячекилометровый марш для молодой кавдивизии был вместе с тем и учебой, на которую у нее не было лишнего времени.

Польская пехота засела в глубоких окопах, опутанных колючей проволокой, а позади стояли тысячи пулеметов, сотни батарей и хорошо обученная кавалерия генерала Крайницкого. Польские офицеры уже знали, что Конной армией красных командует Буденный, который в годы империалистической войны был у того же генерала Крайницкого в дивизии только вахмистром, вот почему они спокойно ожидали дерзкого наступления на окопы, убежденные в том, что красные повиснут на колючей проволоке и под градом пуль сложат свои головы в поле.

Четырнадцатая кавдивизия шла в авангарде Первой Конной и наступала на местечко Самгородок, на стыке Шестой и Третьей польских армий. К полудню солнце потемнело от дыма, люди оглохли от грохота выстрелов, кони ординарцев обгоняли птиц, пулеметные тачанки обгоняли ординарцев, и польские легионеры, не выдержав стремительной атаки, побежали.

В прорыв, как весенний паводок, ворвалась конница Буденного и пошла по тылам Третьей польской армии, уничтожая военные базы. Белополяки начали поспешно отступать на запад, обозначая свой путь расстрелами крестьян и пожарами. С каждым шагом отступления спесь у легионеров спадала, вера в свои силы терялась, началась и все усиливалась паника. Солдаты, которые еще так недавно храбро дрались, стали сдаваться в плен целыми подразделениями, а остальные бежали без оглядки. Чтобы не оторваться от врага, красные полки вынуждены были наступать ускоренным аллюром.

— Молодцы, хлопцы! — как в трубу, загремел Пархоменко, стоя на холме. — Даешь Варшаву!

Тысячеголосое «ура!» всколыхнуло сельскую тишину и эхом отдалось в лесу.

Миновав лес, колонна с шоссе повернула на юг и двумя дорогами спустилась в заболоченную долину реки Случь. Передовая разведка доносила, что левый берег занят белополяками. Ими же заняты и некоторые села на правом берегу. Пархоменко, не дожидаясь Четвертой кавалерийской дивизии, которая вместе с его дивизией должна была наступать на Новоград-Волынский, повел стремительное наступление, и уже к вечеру один из его полков захватил село Рудно, а другой — село Тальки.

Приковывая к этому району внимание врага, начдив приказал

Первой бригаде искать брод где-нибудь повыше. Комбриг-один довольно потер руки:

— В таких делах без меня не обойдешься, товарищ начдив.

— Будешь хвастать, когда переправишься, — ответил Пархоменко, разглядывая в бинокль противоположный берег. — А если Четвертая раньше нас форсирует речку, я тебе в обоз отошлю.

Комбриг-один поскакал в полк, расположившийся в перелеске, напротив села Киково. Однако ни в эту ночь, ни на другой день Пархоменко не получил донесений о форсировании реки. На занятый участок подходила Сорок пятая стрелковая дивизия, уже появилась разведка Четвертой кавдивизии и бригады Котовского.

Комбриг-один метался по берегу, стараясь не попадаться на глаза начдиву, а начальник штаба плаксивым голосом по телефону отвечал, что польские заставы сбивают разведку пулеметным огнем. К реке невозможно подойти. Пархоменко захохотал на всю хату:

— Они Дон переплывали! Куры вы общипанные, а не кавалеристы! По карте вы переплывали Дон.

Он сам поскакал на своем вороном жеребце искать переправу. Заболоченный и открытый правый берег напротив села Киково в самом деле был лишен удобных подступов. Лучше всего было сделать это в расположении Второй бригады, где речка Лубянка впадала в Случь. Здесь для подхода был овраг, хотя разведка тоже не могла выдвинуться на берег без того, чтобы ее не обстреляла польская застава, сидевшая в окопах на другой стороне. Комбриг, собрав красноармейцев, сказал:

— Начдив товарищ Пархоменко приказал, чтобы сегодня наш полк любой ценой форсировал реку. Вот тут вы можете себя показать, товарищи кавалеристы.

— Первая бригада уже пробовала, — отозвался один боец, — а что получилось?

— Они только хвастать умеют, — перебил его другой. — Надо польскую заставу снять, и вся премудрость.

— А охотники найдутся?

— Я первый такой, товарищ комбриг, — выступил вперед низенький, но крепкий боец.

— А я второй, — выкрикнул из толпы другой, вдвое выше первого, и тоже протиснулся вперед. — Чтоб мы не смикитили, как обмануть панов? Лишь бы только дозволили на риск пойти.

— А по-пластунски ползать умеете?

— Этому мы еще не обучены, а как по забоям лазить, тут нас учить нечего — оба шахтеры.

После дождей вода реки была мутная. На рассвете, когда над болотом еще стоял туман, два бойца — один высокий, другой низенький, оба русые — из оврага пробрались к реке и тихо, без всплеска, подплыли к противоположному берегу. Над водой их головы были едва приметны, а затем их целиком укрыл прибрежный тальник.

Польские солдаты сидели в окопчике. Их было восемь.

Сбившись в кучу, они, усыпленные тишиной, дремали, один только телефонист раздраженно нажимал кнопку полевого телефона, но зуммер молчал: кавалеристы уже успели порвать провод, связывавший заставу с полком. Совсем незаметно они подползли к окопу и тут же, вскочив на ноги, разом гаркнули:

— Руки вверх! Сдавайся! — Наставили винтовки, из стволов которых еще капала вода.

Легионеры, увидев перед собой голых противников, ошалело протирали глаза. Не растерялся только телефонист, он сразу бросился к винтовке, но тут же приклад берданки обрушился ему на голову. Остальные солдаты поняли теперь, что это был не сон, и поспешили поднять руки.

Рослый боец встал на бруствер и поднял над головой берданку; в ответ на другом берегу закипела вода, взбитая копытами десятков лошадей.

Появление кавдивизии между речками Случь и Смолка было для белополяков полной неожиданностью. Их главные силы сдерживали наступление Сорок пятой стрелковой дивизии на Житомирском шоссе. С юга город прикрывали только два стрелковых полка. Захваченные внезапно, легионеры, боясь быть отрезанными, кинулись к городу.

Пархоменко остановил взмыленного Орлика под кустами вербы. Эскадрон, рассыпавшись по долине, уже скакал наперерез вражеской пехоте.

— Крепко рубают хлопцы! Чуть пехтура поднялась на ноги, она уже бежит прямо на тот свет.

Ординарцы окружили пленных легионеров в конфедератках. Один из них, с острым птичьим лицом, трясся от страха: он выстрелил в начдива, когда тот перескочил через него, но промахнулся. Теперь он, как видно, ждал своей смерти от его сабли, но начдив вложил клинок в ножны и спросил:

— Из каких будешь?

— Мазур, — заискивающе ответил солдат.

— От Киева драпаешь?

— Из Белоруссии перебросили, прошу пана. Мы только вчера прибыли.

— Много? Солдат съежился.

— Не ведаю, прошу пана. Слышали мы, четыре полка.

— Стреляешь ты плохо, а врешь здорово. Не поможет, панский прихвостень. Знаем и без тебя.

Вконец испуганный сердитым голосом начдива, легионер умоляюще сложил руки:

— Прошу пана, из Белоруссии перебросили Шестую и Третью пехотные дивизии легионеров, чтоб мне подохнуть, если я обманываю. Я же бедный мужик.

Впереди рокотали пулеметы. Пархоменко привстал на стременах и вдруг крикнул:

— Удирают, проклятые!

К западу от городка начало расти длинное облако пыли, еле различимое за холмами.

— Третью бригаду!.. Броневик! — И начдив поскакал по лугу к речке Смолке, где уже переправлялась кавалерийская бригада.

К вечеру дивизия вошла в город. Пленных гнали в тыл. Их было больше пятисот человек. На лугу и возле моста земля была усеяна трупами зарубленных легионеров.

Остатки белополяков отошли за реку Горынь.

Поздно вечером третьего июля Первая Конная армия Буденного перешла речку Горынь. Город Ровно защищала Вторая польская армия. Спешенная кавдивизия Пархоменко наступала на шоссе, как горбы верблюда, поднимались высотки, занятые врагом. Пархоменко с военкомом, в сопровождении ординарцев, ехали позади колонны, на стыке обеих бригад. Третья стояла у леса в резерве. У военкома от утренней росы блестели не только сапоги, но и галифе выше колен, и он ежился от холода: Александру Пархоменко рожь доставала только до стремени, но он тоже невольно вздрагивал. Ранний ветерок разгонял туман.

— Если бы по-моему, — пробормотал Пархоменко себе под нос, — так отсюда лучше всего делать демонстрацию.

Военком придерживался мнения большинства, которое накануне взяло верх на совещании командиров: «Наступать в лоб компактным кулаком и на плечах врага ворваться в город», поэтому он и сейчас отрицательно покачал головой. Разбивая серебряную волну хлебов, напрямик скакал, будто вросший в седло, коренастый, с монгольским плоским лицом и косо поставленными глазами начальник Четвертой кавдивизии Ока Городовиков.

— Что там у тебя, Ока? — крикнул ему Пархоменко.

— Давай договоримся, начдив, — крикнул тот, — противник будет бить мой фланг, ты бей его фланг.

— Ладно, Ока, пусть только высунутся, а может, я пойду отрежу им путь?

Начдив Четвертого круто поворотил коня и поскакал назад. На шоссе появилась группа конников. Пархоменко узнал бойцов третьего эскадрона и крикнул:

— Савченко, куда скачешь?

Конники остановились, передний, с вихрастым чубом, видимо сорвиголова, подлетел к Пархоменко.

— В разведку, товарищ начдив, — молодцевато отрапортовал он. — Осточертело лазить на брюхе. Чтобы косточки размять, едем. Разрешите?

— Вернешься, расскажешь. Поезжай! — ответил Пархоменко, любуясь всадниками. — Слышал? — обратился он теперь к военкому. — С ними на стены можно идти, только не на брюхе.

— Большевики будут ходить, как потребуется, Александр Яковлевич, — продолжал свое военком.

Белопольская артиллерия, заметив наступление красных, немедленно открыла огонь не меньше чем из десяти батарей. Большинство снарядов рвалось около шоссе.

— А все потому, что орудия наведены сюда, — проговорил про себя Пархоменко.

То залегая, то делая перебежки, красные продолжали продвигаться вперед. Позади гремела артиллерия, но стреляла экономно: все знали, что уже несколько дней не хватало снарядов. К артиллерии присоединились пулеметы.

Под городом Ровно начался бой. Воздух дрожал от грома выстрелов, разрывов бомб, треска шрапнелей и рокота пулеметов. Над головами плавали розовые облачка, похожие на медуз.

Савченко вернулся из разведки только с тремя всадниками, но потеря половины бойцов, казалось, была для него обычным делом. Выпуклые глаза его сияли от только что пережитой схватки, свежие следы которой еще лоснились на его пощербленном клинке. Ножны сабли были разорваны пулей. Он лихо осадил коня перед начдивом и скороговоркой отрапортовал:

— Задание выполнено, товарищ начдив, на правом фланге спешенный эскадрон. Только теперь их стало поменьше — кое-кого насмерть порубили, а кое-кто уже на карачках пополз.

— Еще и такое видели — вроде бы танк… ползает по шоссе, — добавил другой.

— Истинная правда! — подтвердил Савченко.

Пархоменко усмехнулся: разведка всегда изображает увиденное страшнее, чем оно есть на самом деле, однако на всякий случай приказал одной батарее стать возле шоссе. Скоро обнаружилось, что на этот раз Савченко не преувеличил. Танк был не один, а целых два. Пронзительно скрежеща, похожие на черепах, они медленно двигались по шоссе навстречу цепи, но,

видимо, искали лошадей, которых коноводы держали в овраге. Пархоменко прискакал на батарею.

— Прямой наводкой, чтобы прямо в лоб, — сказал он, азартно потирая руки, — начинай!

Батарея, с каждым выстрелом уменьшая дистанцию, выпустила несколько очередей, но волнистый профиль местности помогал танкам легко прятаться от обстрела и они упрямо ползли вперед, по обе стороны шоссе расстреливая красных из пулеметов. Пархоменко плюнул под ноги командиру батареи и поскакал в полк. Догнав командира полка, он язвительно спросил:

— Должно быть, о барышне мечтаете? — и затем крикнул так, что даже конь испугался: — Гранатометчиков давай!

Гранатометчики подползли к шоссе с обеих сторон. Танки уже подходили к оврагу, и Пархоменко круто повернул коня, раздирая ему рот удилами, и погнал прямо на танки, которые уже поднялись на холм.

— Бросай, бей в точку! — закричал он во весь голос и сам схватился за гранату.

На шоссе разорвалось сразу несколько гранат, поднялся столб дыма, и оба танка, будто споткнувшись, ткнулись носами в землю и замерли.

После первой же атаки стало очевидно, что без значительных потерь овладеть городом лобовым ударом не удастся. Враг держал в своих руках высоты, господствовавшие над всеми подступами с востока, и располагал гораздо большим запасом снарядов. Пархоменко раздраженно чесал затылок: польская пехота все еще лежала, зарывшись в землю, и не давала возможности для конной атаки. Четвертой дивизии помощь конницы тоже была не нужна. После полудня на командный пункт на опушке леса приехали командарм Буденный и член Реввоенсовета Ворошилов.

— Что это нынче, начдив, твои хлопцы не веселы? — сказал Ворошилов, кивая на линию фронта, где шла вялая перестрелка.

— Слышат, как поляки смеются, — ответил с кривой улыбкой Пархоменко.

— А если б их пощупать сзади? — спросил сухой проворный и статный Буденный, пряча усмешку под длинными пушистыми усами.

Пархоменко блеснул глазами и подтолкнул усы пальцем.

— Тогда смеяться будем мы, товарищ командарм. Ручаюсь, через два часа буду в городе, если даже одну бригаду и здесь оставлю.

— Лучше до вечера подождать, — ответил командарм, как

уже о решенном вопросе, — по железной дороге ползет бронепоезд, может всю кашу испортить.

Пархоменко не мог дождаться вечера. Воспользовавшись тем, что передняя цепь залегла за холмами, он незаметно посадил дивизию на конь и перелеском поскакал на запад. Впереди дивизии в разведку пошел эскадрон, которому было приказано снять все вражеские заставы без выстрела. Опускались вечерние сумерки, они скрадывали силуэты всадников, на востоке по-прежнему гремела артиллерийская канонада и небо беспрестанно мигало от огненных сполохов.

Первая бригада подошла к городу с запада, когда уже смеркалось, и остановилась, готовая в любую минуту ворваться в кривые улицы притихшего перед боем города. Вдруг с околицы долетел выстрел, затем другой. Третий уже послышался дальше.

— К бою готовьсь! — прозвучал голос начдива. Кони вздрогнули, запрядали ушами и нетерпеливо затопали на месте.

В сумраке показался всадник и еще издали крикнул:

— Один убежал, а остальные готовы! Пленный рассказал, что будто бы сюда целый полк конницы скачет.

— Сабли! — снова раздалась команда. — За революцию!

Топот тысячи копыт ворвался в темные улицы и переулки и пронесся к центру. Тысячеголосое «ура!» слилось в сплошной гул, от которого у одних сердца радостно бились, а у других каменели от страха. По улицам в панике бежали солдаты, гремели телеги, трещали выстрелы, но их уже глушил топот копыт.

Впереди цепи скакал, смеясь и крича, со своим военкомом начдив Пархоменко.

— После боя, дружище, будешь меня отчитывать… Руби, хлопцы! Все сало пропало, изведут паны на пятки!..

Из боковой улицы выскочил эскадрон улан и умело бросился навстречу.

— Люблю таких! — крикнул Пархоменко и первого же вместе с конем свалил на мостовую. — Храбрые уланы! — И ударил по голове второго. — Да не за то бьетесь, дурни! — Третий повернул коня, но, проколотый в бок, сполз с седла. — Туда вам и дорога, чертовы дети!

Остальные, смятые и оглушенные налетом красной конницы, повернули лошадей и уже высекали подковами искры из мостовой.

В центре города часто застрекотали пулеметы. Бой закипал и пенился уже на площадях, куда встревоженные белополяки стягивали свои части, чтобы удержать хотя бы дорогу к отступлению на север. Этим путем они и отошли ночью, а на рассвете Четырнадцатая кавалерийская дивизия захватила весь

город.

Потеряв Ровно, Дубно, Тернополь, командование польской армии отдало приказ об отступлении по всему фронту на сто верст.

15

На конвертах не был обозначен аллюр, но ординарцы и без того спешили к своим полкам. Знали — этот приказ бойцы встретят с радостью. Уставшие за пять месяцев ежедневных боев с белополяками, они рады были хоть небольшой передышке, чтобы отдохнуть самим и дать отдых истощенным лошадям.

Ординарец Апшеронского полка всю ночь проспал в овине на свежей соломе и теперь упрашивал товарищей, чтобы они рассказали ему, что слышали от штабных писарей. Ради этого он даже свернул с ними в противоположную сторону. Товарищи наконец бросили шутить и ответили серьезно:

— Нашу дивизию перебрасывают на врангелевский фронт.

— А разве Врангель снова вылез из Крыма? — спросил Савченко, освобождаясь от остатков сна.

— Дошел до Синельникова, Мариуполь уже захватил.

— Хочет, дьявол, наверно, на Дон пробиться. Да это ж, братцы, боевой приказ, а вы мне голову морочите! — И он повернул коня и поскакал в свой полк.

В самом конце октября Четырнадцатая кавдивизия подошла к Бериславу. На другой стороне Днепра, за Каховкой, чернели окопы, своими флангами упираясь в реку. В них уже сидела Пятьдесят первая стрелковая дивизия, части латышской и огневая бригада. В разных местах притаились замаскированные стеблями подсолнуха батареи. Этот кулак должен ударить в тыл врага и отрезать его армию от Крыма.

Начдив Пархоменко с вечера выехал сам разведать местность для выхода дивизии в рейд. Перед ним на десятки километров лежала ровная степь. Вдоль Днепра дул пронзительный ветер, засыпал глаза черной пылью. Прямо на юг едва заметно мерцали огоньки.

— Какое там село? — спросил Пархоменко у смуглого телефониста, который дул на руки, согревая их от холода.

— Натальино, — ответил телефонист, подняв голову к незнакомому командиру. — Там уже врангелевцы. Сидят себе по хатам, а здесь даже огня не разведешь. — Потом, понизив голос, добавил: — Танки, говорят, подвезли.

— А вы когда-нибудь видели, какие они?

— Танки? Да где ж их увидишь? У нас их еще никто не видал.

В штабе каховского плацдарма Пархоменко уже слышал об этих танках и теперь с тревогой подумал о том, какой они могут натворить беды, если пехота испугается и в панике побежит от них. Танки пройдут на Каховку, перебьют штабы и захватят в

тылу единственную переправу, по которой он должен перебросить на левый берег свою дивизию.

— Как слепые щенки эти танки, — сказал он красноармейцам, которые уже собрались вокруг телефониста. — Ничего страшного в них нет, если сидеть в окопах. Важно пехоту не пропустить, которая идет следом, а танки мы на польском фронте даже гранатами били.

Бойцы нервно покашливали и с опаской поглядывали на лежавшее невдалеке Натальино, а смуглый телефонист только усмехался. Он, на своем наблюдательном посту, был уверен, что его батарея их и близко не подпустит. Под конец телефонист сказал:

— Может, и на Григорьевку будете наступать? Мое село сразу за Чаплинкой. Если у нас остановитесь, — крайняя хата, — передайте родителям, что видели Свирида Перепону. Мол, жив-здоров, а домой придет, как Врангеля прикончит!..

На рассвете Свирид Перепона только собрался погреться, бегая на месте, как услышал рокот, доносившийся из степи. Присев на корточки, Свирид прислушался и почувствовал, что волосы у него под шлемом зашевелились: «Не иначе как подкрадывается, дьявол!» Он схватил телефонную трубку и во весь голос закричал:

— Батарея, батарея, — танки!

Такой же отчаянный крик своих наблюдателей услышали командиры всех батарей, расположенных в разных местах, но помочь ничем не могли. Зная, что днем танки могут быть хорошими мишенями, враг предусмотрительно пустил их ночью. Теперь даже из передних окопов их не могли разглядеть, а когда танки подползут к самим окопам, стрелять по ним будет уже невозможно.

Командир правофланговой батареи, напрасно пытавшийся что-то рассмотреть со своего пункта, в растерянности схватился за телефонную трубку и закричал:

— Свирид, Свирид, ты видишь их?.. Молчит! — Он ударил трубкой об землю. — Неужто убежал?

В это время на фронте затрещали выстрелы, потом вспыхнуло сияние и раздался взрыв. Дежурный телефонист на командном пункте видел танки под Тернополем, он авторитетно сказал:

— Гранаты кидают. Если попасть под самое брюхо, сразу так и хрястнет. Вот, слышите, через окопы лезет, чертяка. Не попал, значит, промахнулся!

Гул мотора и лязг гусениц выровнялся и под аккомпанемент выстрелов двигался уже на Каховку. Стреляли редко и беспорядочно. Командир батареи напряженно всматривался в

темноту ночи. Слышалось только скрежетанье железа и далекие разрозненные выстрелы. Он снова взялся за телефонную трубку.

— Свирид, Свирид, ты слышишь? Отозвался! Кого? Тебя? В голову, что, что? Замолчал! — Он растерянно оглянулся на телефониста. — Беги на передовой пункт… Перепона ранен!

Телефонист молча шагнул в темноту и исчез. Скрежет танков приближался, но они все еще не были видны. Мимо пункта проскакала упряжка с одним орудием. Впереди на дородном коне промелькнул незнакомый широкоплечий всадник с большими усами. Командир батареи долго не мог понять, откуда и куда неслось это орудие и кто промелькнул впереди. Командиров своей дивизии он знал хорошо. Наконец сообразив, хлопнул себя по лбу и схватил телефонную трубку.

— Первое орудие на передки! — вскочил на коня и помчался на батарею.

Захватив с собой одно орудие, он поскакал прямо на скрежет и лязг — самого танка все еще не было видно. Внезапно комбат увидел, что за металлическим лязгом двигалось какое-то красное пятно. Это, конечно, был раскаленный конец выхлопной трубы позади танка. Прекрасная цель! Наводчик нацелил орудие прямо на это пятно. Когда от разрыва снаряда содрогнулась земля, на фоне золотого сияния четко обозначились контуры огромного, похожего на корабль танка. Он продолжал ползти. У наводчика еще сильнее застучало сердце. Выстрелил вторично. Танк, словно обжегшись, подпрыгнул на месте, заскрежетал и, задрав вверх рыло, остановился. Вокруг башни замигали огоньки пулеметов. Артиллерист выстрелил в третий раз и выругался «Может, хоть этим подавишься, проклятый!»

Пулеметы танка замолкли. Теперь танк лежал уже боком, и люки его уставились в темное небо, на котором померкли звезды. Через голову командира батареи просвистел снаряд и упал где-то справа — там, где замигала точно такая же красная точка.

Снова взяв орудие на передки, командир в пылу еще неизведанного азарта, точно борзая за зайцем, погнался за третьим танком, который упрямо полз на Каховку. Дорогу им пересекла упряжка, тоже с одним орудием, из соседней батареи. Командир ее, словно на футбольном поле, весело выкрикнул:

— Одного уже расквасил, и этот не уйдет!

Танк, приближавшийся к Каховке, почему-то остановился, и его раскаленная выхлопная труба позади поднялась вверх. Вокруг вспыхивали огни и беспорядочно трещали выстрелы. Подъехав ближе, командир батареи увидел в предрассветной мгле смутные силуэты красноармейцев, сбегавшихся из Каховки. Один блеснул зубами и крикнул командиру батареи:

— В нашу баню провалился. Теперь попарятся их благородия!

Из танка, зарывшегося носом в яму, трещали выстрелы. Команда, наверно, ждала свою пехоту, но позади, там, где были окопы, уже было тихо. Красноармейцы, обступив высокого широкоплечего командира с огромными усами, чего-то настойчиво от него добивались. Командир батареи узнал того всадника, который проскакал с орудием мимо его командного пункта. Теперь он, подталкивая согнутым пальцем усы, уговаривал красноармейцев:

— Точка! Коли он наш, зачем его портить! Нам разве не нужны танки? А их пехота сюда уже не дойдет: на проволоке повисла, и офицерская рота также. Их благородия отстали от танков, и из атаки пшик получился.

Подъехал ординарец и отрапортовал:

— Товарищ начдив, дивизия уже вышла на переправу.

Красноармейцы только теперь увидели на гимнастерке широкоплечего командира два ордена Красного Знамени и почтительно пропустили его к лошади.

Савченко смотрел, мигая заспанными глазами, на огонь плошки. И только когда начальник разведки кончил говорить, он сообразил, что их команду посылают в дозор.

Уже вторую ночь дивизия продвигалась по тылам врага, направляясь на восток. В селах могли стоять арьергардные части белых, поэтому дозор ехал настороженно. Ровная степь позволяла растянуться в длинную цепь. Ночь была темная, от Сиваша в степь наплывали влажные туманы.

Савченко ехал крайним и, дремля, сладко мечтал о теплой хате.

Немного погодя он услышал впереди конский топот. Оглянулся на своих, но никого не увидел и не услышал. Наверно, его конь, не чувствуя поводьев, давно шел куда вздумается. Всадники приблизились, и Савченко увидел двух казаков. В первую минуту у него от страха отнялся язык. Лошади мирно терлись мордами и звякали удилами.

— Ты куда едешь? — спросил наконец казак.

Савченко вздрогнул, словно его окатили холодной водой, и скороговоркой ответил:

— Вас ищем, сто чертей вам в глотку! Сотник приказал мне одному ехать дальше, а станичник чтоб поехал со мной. У нас секретное поручение.

На голове у Савченко была кубанка, звездочки в темноте не было видно, и казаки, ничего не подозревая, решили, что с Савченко, с его «секретным поручением» поедет старший казак.

Он был сухой, высокий и с бельмом на одном глазу. Молодой казак поскакал дальше, а Савченко, со станичником повернули куда-то в сторону.

— Что там еще за секретное поручение? — спросил скрипучим голосом казак, когда они углубились в степь.

— А ты из какой станицы, что такой нетерпеливый?

— Ну, из Митякинской, — сердито проворчал казак; от него тянуло перегаром водки и плохого табака. — Может, опять брать языка?

— А что б ты сделал, если бы красного поймал?

— Да что и всегда. В штаб Духонина его!

— Тогда давай сюда оружие!

Казак, не понимая Савченко, вопросительно уставился на него единственным глазом и увидел перед своим носом дуло винтовки.

— Чего дуришь, сопляк?

— Вот я тебе покажу сопляка. Снимай шашку, дьявол проклятый! — И он ткнул его стволом винтовки в подбородок. — Так ты нас в штаб Духонина отправляешь? Значит, к стенке? А мы с вами, чертями, цацкаемся!

Ошалело хлопая одним своим глазом и все еще не понимая, откуда здесь мог появиться красноармеец, казак, чертыхаясь, кинул на землю шашку. Берданку Савченко вырвал у него из рук сам и взмахнул ею, показывая, куда ехать.

Из темноты уже выступали редкие огоньки Синбайских хуторов.

— Будешь стрелять? — оглянулся через некоторое время казак, измученный прикосновением холодного ствола за спиной.

— Разве так ничего и не скажешь?

— Нет.

— Заядлый. А может, подобреешь, как земляков увидишь? У нас из Митякинской тоже не один честно служит народу, не то, что ты — все еще господам сапоги лижешь. Или они ровня тебе?

Казак засопел и опять начал чертыхаться.

— Убегу, если не расстреляешь. Моя душа нечистому продана, а ты в ней хочешь чистоту наводить. Не тронь души или водки дай, я тогда ее слезой вымою и представлюсь перед тобой как есть человеком.

— Вот как товарищ Пархоменко стукнет тебя разок, ты и без водки слезой умоешься, а может, и человеком станешь. Он у нас вроде доктора для таких чертей.

Кони остановились возле штаба дивизии.

В одноглазом казаке митякинцы узнали своего земляка Савку, который долгое время служил стражником у пана

Ильенкова в Макаровом Яру. Похожий на коршуна, злой и наглый, он упорно на все вопросы отвечал руганью, но, завидев рюмку, утратил свою дерзость и, всхлипывая, выложил все, что знал о расположении конного корпуса генерала Барабовича. Корпус готовился прорваться к Чонгарскому валу. Обстрелянные из пулеметов красные квартирьеры подтвердили, что действительно в селе Рождественском стоит какая-то воинская часть.

Дивизия двигалась в это село на ночевку. В степи дул пронзительный ветер.

— Да, придется, пожалуй, тут, в степи, и заночевать, — сказал, подзадоривая командиров, Пархоменко. — У Барабовича, видимо, танки есть.

Командиры, ехавшие рядом с ним, дрожали от холода. Еще больше мерзли в ветхих Шинелях красноармейцы.

— Если хотите погреться, надо взять Рождественское, — сказал как бы в шутку Пархоменко.

Совещание длилось недолго: вскоре в степи загремела артиллерия, застрекотали пулеметы, прокатилась громкая команда начдива, и Апшеронский полк стремительно пошел в атаку.

Бой длился до позднего вечера. Наконец враг не выдержал и отошел в село Отрадное. Красные направились ночевать в Рождественское.

За селом и в самом селе земля была усеяна трупами. Среди них нашли четырнадцать зарубленных красноармейцев, а в крайней хате на руках у врача умирал тяжелораненый командир полка.

В других хатах красноармейцы весело грелись у печей и без конца рассказывали друг другу о своих боевых подвигах. Тут же готовили к бою оружие, пулеметчики проверяли свои пулеметы и время от времени прямо из окон пускали очереди в небо, а в промежутках между выстрелами слышалась гармошка и глухой стук каблуков о мерзлую землю.

В команду разведчиков вбежал, разрумянившись от мороза, Савченко. Еще с порога он крикнул:

— Привели двух пленных — полковника и полного генерала!

Красноармейцы, прерванные Савченко на полуслове такой любопытной, как им казалось, истории (сама хозяйка заслушалась), и не пошевелились, только пренебрежительно оттопырили губы.

— Может, ты их никогда не видал, ну и любуйся, а нам неинтересно.

— Так товарищ военком узнал одного — начальником

контрразведки был в Таганроге.

— Ну, а теперь не будет больше, — флегматично продолжал плотный красноармеец. — Шапку где потерял?

Простоволосый Савченко так же бойко ответил:

— Казак перерубил пополам.

— А голова уже срослась? Или ты перед ним шапку на колени положил?

Савченко услышал, как от смеха прыснула в кулак хозяйка, покраснел до слез и поспешил вынуть из кармана бархатный зеленый кисет для табаку.

— А вот такого вы, хозяюшка, не сумеете, наверно. — И он расправил зеленый кисет над плошкой. По бархату желтым шелком было вышито: «Никто так не страдает, как мой милый на войне, пули не боится, все мечтает обо мне».

Разведчики забыли и свои рассказы, и шапку Савченко. С завистью смотрели они на бархатный кисет, поглаживали почерневшими руками и молча вздыхали. Среди подарков, полученных Красной Армией перед октябрьскими праздниками от населения, такого кисета больше никому не досталось…

Врагу был нанесен удар в самое сердце. Армия его лишилась преимущества, и командарм Фрунзе решил в таврических степях положить конец «последним расчетам с капиталом». Врангель начал спешно пробиваться назад, в Крым, где его армию могли прикрыть гнилые озера и Турецкий вал. Белые части отходили на Арабатскую стрелку через Чонгарский вал и через Перекоп.

Александр Пархоменко получил приказ спешить с дивизией к Перекопу и отрезать путь арьергардам врага. К вечеру дивизия подошла к Ново-Покровке. Село лежало в стороне от дороги, и его обитатели, как видно, еще ничего не знали о последних событиях на фронте. Начдив вызвал трубачей и, войдя первым со своим полевым штабом в село, приказал:

— Ну-ка, возвестите им про последний расчет с капиталом. Пусть и они с нами порадуются.

Трубачи набрали в грудь воздуха, и громкие звуки медных труб весело зазвучали над селом.

Кавалькада всадников, гарцуя на конях, торжественно двигалась к площади, на которой стояла церковь. В окнах отсвечивало солнце, пламенным кругом опускавшееся в Сиваш. Крестьяне, увидев красное знамя, удивленно моргали и как будто сдерживали невольные улыбки. Один старик, выглянув из ворот, покачал головой и украдкой указал на площадь. Пархоменко, несколько удивленный поведением жителей села, заметил этот знак и, в свою очередь, посмотрел на площадь.

С площади наперегонки в беспорядке выезжали подводы, скакали конные, разбегались пешие.

— Дедушка, — крикнул он в ворота, — беляки?

Дед испуганно кивнул головой. Пархоменко выхватил шашку и оглянулся: за ним верхами двигался полевой штаб и вся разведка.

— Беляки удирают! Трубачи, точка! В атаку!

Савченко дежурил в этот день при штабе дивизии и ехал сзади с другими разведчиками. Команды начдива он не расслышал: как раз в эту минуту он потешался над неудачной попыткой своего товарища поцеловать деваху, которая вынесла ему воды. Увидев, что ехавшие впереди вдруг рванулись и поскакали, он тоже заторопил коня и помчался за остальными.

На паперти кучкой стояли крестьяне, на дорогу из-за церковной ограды выбежали любопытные ребятишки.

— Неужто нынче праздник какой? — спросил их Савченко. — Почему это у вас церковь отперта?

Ребятишки переглянулись, как бы удивленные тем, что солдат ничего не знает.

— Офицер венчается, а не праздник, — ответил самый старший из них.

К Савченко подъехало еще несколько разведчиков.

— Слышали? Происшествие в церкви! — И он стремительно влетел в ограду.

Озадаченные крестьяне, ничего не понимая, перехватили брошенные им поводья и удивленно уставились в спины солдат, бежавших к дверям церкви, на ходу снимая винтовки.

Разведчиков было пятеро. Одного Савченко оставил с гранатой в дверях, а остальные, сняв шапки, вошли в церковь. Перед аналоем стоял белогвардейский капитан, а слева от него — невеста в фате. Над их головами поручики держали золотые венцы. Еще несколько офицеров стояли кучкой позади. Крестьяне жались к стенам и робко поглядывали на молодых. Во всех светильниках и в люстре ярко пылали свечи. Перед молодыми гнусаво бормотал под нос лысый поп, а на клиросе дружно вторили певчие.

Жених и шаферы были без оружия. Это сразу заметил Савченко, подходя к ним сзади. Венчание, видимо, только началось, и ждать его окончания у красноармейцев не было времени, тем более, что они уже поняли, что въехали в село, занятое белыми, и еще неизвестно, чем может закончиться эта внезапная встреча. Савченко беспомощно оглянулся на своих товарищей. Он уже хорошо знал, что религия — опиум для народа, но знал и то, что красные нигде не вмешиваются в

религиозные обряды. Кроме того, положение было необычное: перед аналоем стояли враги, которых следовало взять в плен, — но ведь они находились в церкви, и поп, читавший молитвы, был в ризах и с крестом в руках.

В такой сложной ситуации Савченко даже весь вспотел и окончательно рассердился: легче было рубиться одному с целым эскадроном, нежели решить, как быть с этим венчаньем, будь оно трижды неладно!

То, что солдаты держат наготове винтовку, бросилось наконец в глаза крестьянам, а когда они заметили, что солдаты без погон, среди них сперва поднялся шепот, потом кто-то попробовал выйти из церкви, но у дверей послышалось резкое «назад!».

Крестьяне заволновались, зашумели. Поп, заметив это, осмотрелся, увидел красноармейцев и поперхнулся. Он вдруг побледнел, и рука, поднятая, чтобы благословить молодых, застыла в воздухе. Глаза попа теперь были прикованы только к винтовкам, наведенным на спины офицеров.

Не замечая, что происходит у аналоя, певчие дружно продолжали петь. Поп молчал. Он смотрел на окаменевшие, суровые лица красноармейцев и, может быть, думал, что день расплаты настал и для него. Он крепко провинился перед красными: уверенный, что они уже никогда не вернутся, он с легким сердцем назвал офицеру, который стоял у него на квартире, всех активистов своего села. Где они теперь? Это каждый может понять. Передавал он и другие сведения и, когда белые в первый раз отступили за Перекоп, собственного сына послал в армию к Врангелю. Дочку просватал за офицера, а сколько раз потом давал пристанище лазутчикам, которые появлялись и исчезали ночью.

Все припомнил поп и затрясся. Из головы вылетели все положенные для венчания слова, а на их место лезли совсем неуместные, страшные, какими он проводил не одного покойника на погост. Неужели придется произнести их вместо «многие лета»? Поп еще раз взглянул на красноармейцев. Они стояли спокойно, даже торжественно, и это было куда страшнее, чем если бы они кричали или стреляли. Тогда поп вдруг истерически завопил, подняв вверх руки: «Все упование мое на тя возлагаю, господи, сохрани мя под кровом твоим!»

Капитан, все время влюбленно переглядывавшийся с невестой, услышав вовсе не идущие к месту слова, посмотрел с недоумением на попа и только теперь заметил его растерянность. Тогда он удивленно оглянулся на своих шаферов и увидел Савченко, наставившего ему в затылок винтовку. Капитан, все

еще ничего не понимая, сердито сказал:

— Поручик, что это значит? Было же сказано: солдат не пускать!

Один поручик тоже обернулся и с искаженным от злобы лицом шагнул было к ближайшему солдату, но тот молча направил дуло берданки ему прямо между глаз. Офицер испуганно отшатнулся. Капитан, очевидно, уже успел сообразить, в чем дело, и, побледнев, что-то шепнул на ухо своей невесте, та взвизгнула и повалилась ему на руки. Поп растерянно замахал крестом.

Хор все еще не замечал, что творится. По времени, однако, выходило, что поп должен уже обводить молодых вокруг аналоя, поэтому, пропев все, что положено, еще веселее, не жалея сил, загремел на всю церковь: «Исайя, ликуй, дево!..»

Поп, окончив читать первую пришедшую на ум молитву, тут же начал снимать с себя епитрахиль. Савченко все еще боялся нарушить обряд венчания, но, увидев, что поп, не кончив, снимает ризы, несмело спросил:

— Обкручивать не будешь, батя?

Поп дрожащими руками продолжал разоблачаться. Савченко укоризненно покачал головой:

— А деньги небось взял! Пойдемте в штаб, там товарищ Пархоменко разберет… Только ручки вверх поднимите.

Процессия во главе с женихом и невестой направилась к выходу. Поручики с поднятыми вверх руками несли золотые венцы, не зная, что с ними делать. Певчие все еще выводили призывно: «Ликуй, дево!..»

За оградой свадебный кортеж встретился с начдивом, который уже скакал обратно. За ним по улице вели пленных, а дальше тянулся длинный обоз подвод с добром этапного коменданта. Капитан все еще поддерживал заплаканную невесту. Пархоменко, увидев своих красноармейцев в церковной ограде, насупил брови, но Савченко протолкался вперед и громко отрапортовал:

— Товарищ начдив, это недовенчанные, но с нашей стороны никакого нахальства не было! Поп сам почему-то скис.

Пархоменко только теперь заметил молодых и шаферов в офицерских погонах. Он долго молча смотрел на ошеломленного капитана, потом бросил поводья и закачался в седле от смеха:

— Правду говорят, что любовь слепа: целой дивизии не заметили! За что только вам чины дают?

Крестьяне, собравшиеся вокруг молодых, сперва молча наблюдали все это, потом на их лицах тоже начали появляться усмешки. А когда они увидели пленных и поверили наконец, что

пришел конец офицерской свадьбе, громко захохотали…

Когда степь была освобождена от врангелевцев, в эскадронах дивизии прочитали приказ Фрунзе:

> «…Армиям фронта ставлю задачу: по крымским перешейкам немедленно ворваться в Крым и энергичным наступлением на юг овладеть всем полуостровом, уничтожив последнее убежище контрреволюции».

— На Перекоп будем наступать? — спросил кто-то взволнованно.

Савченко, гордясь, что он знает больше другого командира, авторитетно ответил:

— Готовь трусы: пойдем через Сиваш.

16

Над таврическими степями, скованными первыми морозами, носились стаи грачей. Всюду были следы только что утихших боев: валялись разбитые телеги, телефонные двуколки, поломанные винтовки, стреляные гильзы и патроны, втоптанные в грязь красноармейские шлемы и солдатские фуражки с кокардами, офицерские погоны и задубевшие трупы лошадей. Изрытая окопами и воронками земля была похожа на покрытое оспой, морщинистое лицо. То там, то здесь виднелись свежие могилы, над которыми торчали воткнутые штыком в землю винтовки. Почти на каждой из них сидел черный ворон и надсадно каркал, скликая стаю своих собратьев на богатую поживу.

В разоренных селах чернели обугленные хаты, зияли выбитые окна, но и над степью, и по селам уже стояла звонкая тишина. Артиллерийская канонада вслед за Врангелем перекатилась через Сиваш, через Перекоп, потом через Юшунь, и 12 ноября 1920 года на берегах Черного моря прогремел последний выстрел, как салют победоносной Красной Армии.

Красноармейцы с обветренными лицами, протягивая покрасневшие руки к огню, грелись возле печей и наперебой рассказывали друг другу о последних сражениях, а сражений этих было столько, что всех и не вспомнить. Более полугода Четырнадцатая кавдивизия не выходила из боя, добивая врагов, направленных Антантой на Советскую республику. Бойцы поили своих коней из Дона и из Днепра, из Случи и из Горыни, из Гнилой и Золотой Липы и наконец из горных речек Крыма.

Опершись локтями на стол, их слушал с горькой усмешкой хозяин хаты и критически покачивал головой. За эти полгода он стал слаб на уши от артиллерийской канонады. Он собственными глазами видел врангелевскую армию, одетую в английское сукно, их лошадей, вскормленных на овсе. Что ни шаг — стоял пулемет, а на сто шагов — батарея. Он видел страшные танки, которые двигались через дворы, через хлева и через окопы, над головами кружились, словно стервятники, аэропланы — и все это ушло стремительно. Он видел, как наступали на Крым красные. На них были драные шинели, истощенные лошади светили ребрами, командиры ломали сухарь пополам, чтобы половину дать своему ординарцу.

— Врангель, может, только хитрит, хочет заманить вас, дураков, в Крым, как в западню, а вы и верите, — проговорил с укором хозяин. — Вот так и Свирид мой хвалился: «Приду домой,

как только барона Врангеля побью». Врангель себе, может, чай пьет внакладку, а мне уже не видать сына.

Но красноармейцы в своей радости не слышали его вздохов и не замечали, как старческие лицо покрылось глубокой печалью. Они даже были довольны, что хозяин еще сомневается, — сильнее обрадуется, когда убедится в их победе.

— Нет больше врангелевской армии, дед, не существует, — твердили красноармейцы, перебивая друг друга. — Уж это как бог свят. Кто успел на пароход сесть, поплыл куда глаза глядят, а остальные в горы попрятались.

— Тех уже и здешние добьют.

— Врангель, конечно, думал зимовать на Украине, а то и на Дону. Разве он рассчитывал, чтобы красные Сиваш по дну перешли, чтобы Турецкий вал взяли либо юшуньские позиции? Это не каких-нибудь две крепости, эти укрепления посильнее двадцати двух крепостей были. Мы входим в село, а врангелевский комендант в церкви венчается. Вот какими сильными они себя воображали.

— Ну а теперь куда ж вы идете? — спрашивал хозяин; он начинал верить, что война в Крыму окончена. Но ведь у Советской республики не один враг, не один врангелевский фронт.

— С поляками замирились, пойдем теперь на зимние квартиры, а там, видать, и по домам — пользоваться новой жизнью.

Бойцы, довольные, потирали руки.

Хозяин вздохнул еще глубже и громко высморкался. На его выцветших глазах показались слезы. Красноармейцы знали уже, что его сын, смуглый телефонист Свирид, убит под Каховкой, а жену разорвало артиллерийским снарядом на собственном дворе, и они вдруг стихли и тоже вздохнули. У каждого из них были если не братья, то друзья, которые тоже сложили свои головы на многочисленных фронтах республики. Всем стало невесело, лица потемнели, все сидели молча, пока на улице не заиграла труба. Красноармейцы засуетились, по привычке прежде всего схватились за винтовки, а уж потом прислушались: труба играла сбор.

— Ну, дед, живи на здоровье! — сказал первый. — У меня табачок завелся, а вы, вижу, курите. — И он положил на стол пачку кременчугской махорки восьмой номер. Другой оставил на столе полбуханки хлеба, а чтобы хозяин не стал отказываться, пожал ему руку и поспешно вышел из хаты.

— А у меня вот лишний рушник, — сказал третий, — а себе я где-нибудь достану.

У деда уже бежали по щекам слезы и, как дождевые капли, падали на стол.

— Что же, детки, я вам подарю? — проговорил он, вытираясь рукавом. — Все забрал проклятый враг. Может, коней напоить?

Но красноармейцы уже скакали на площадь, где выстраивалась дивизия.

Командиры и военкомы, держа коней в поводу, кучками стояли на выгоне перед своими частями и вспоминали боевые эпизоды, которые казались теперь какими-то романтичными и неповторимыми. Красноармейцы, звеня стременами, равняли ряды. Блеклое осеннее солнце искорками отблескивало на оружии и освежало однообразный серый тон степи и военного строя. На лицах красноармейцев светились улыбки, сверкали белые зубы. Одна ночь — и словно не было усталости, словно не было ни боев, ни сотен убитых товарищей. Даже забинтованные не морщились от боли и уверяли, что их раны больше не болят.

Дивизия ждала командарма. Наконец из села выехала группа всадников, послышалась команда «равняйсь», потом «смирно», и на выгоне установилась тишина. На вороном коне, тяжело рассекая упругий воздух, навстречу поскакал начдив Пархоменко. Он был в серой папахе, в кожаной куртке, перекрещенной ремнями, на груди сияли два боевых ордена Красного Знамени и бинокль, на боку покачивалась в такт движению шашка с дорогой насечкой на серебряном эфесе.

Впереди группы всадников скакали командарм Буденный и член Реввоенсовета Ворошилов. Встречая и догоняя их, перекатами неслось могучее, как морской прибой, тысячеголосое «ура!».

Командарм приветствовал бойцов с победоносным окончанием войны. Выношенный в походных мечтах, с таким трудом ожидаемый мир хижинам наконец настал, армии Врангеля не существует! Снова «ура!» перелетало от одного фланга к другому, откликаясь в толпе крестьян, которые стояли у околицы села с красным знаменем.

Когда эхо от радостных выкриков замерло в степи, Пархоменко скорее почувствовал, чем понял, что вместе с этим выкриками умерла и какая-то частичка жизни, страшной, но буйной и неповторимой. Клинок будет мирно покоиться в ножнах, верный конь уже не понесет его на врага, боевые друзья и товарищи, ставшие роднее, чем кровные братья, разойдутся в разные стороны — и, может быть, навсегда. Терпкая печаль пала на сердце, но он тут же вспомнил о своей давней мечте. Еще во время боев под Харьковом он со своим штабом остановился в

бывшем поместье Харитоненко. Огромный парк, пруды, полные рыбы, а вокруг луга и бескрайние поля золотой пшеницы. Тогда же он сказал себе: «Кончим войну — приду сюда хозяйствовать для советской власти».

Эта мечта не оставляла его нигде. Он даже удивился — как именно теперь, когда осуществление мечты стало возможно, он мог забыть об этом? Улыбнувшись своим мыслям, Пархоменко взглянул на лица бойцов, они уже стояли вольно и слушали речь Ворошилова. Ему показалось, что и у бойцов было такое же настроение: и радостное, и грустное.

Ворошилов говорил короткими и четкими фразами о том, в каких тяжелых условиях приходилось советской власти бороться с внешней и внутренней контрреволюцией, но Красная Армия победила всех интервентов, потому что борьбой руководила партия большевиков, руководил основатель партии и первой в мире Советской державы — мудрый Ленин, потому что власть держал в руках пролетариат в союзе с трудовым крестьянством, потому что советская власть отвечала интересам широких народных масс, и это разбудило в них волю к победе, потому что наша борьба за освобождение от капиталистического ярма вызывала сочувствие и помощь мирового пролетариата.

— Четырнадцатая кавалерийская дивизия, — так закончил свою речь Ворошилов, — прославлена в боях и с Деникиным, и с белополяками, и с Врангелем, она заслужила отдых, но, — он передохнул, — но… по степям Украины еще гуляет банда «батьки» Махно. Она грабит села, громит местечки, убивает и вешает коммунистов и всех честных граждан и глумится над вашими сестрами и женами. Мы должны уничтожить последнюю гидру контрреволюции, чтобы крестьянин и рабочий спокойно могли взяться за мирный труд. Партия и правительство это почетное задание возлагают на вас, товарищи красноармейцы, командиры и политработники, и на вашего отважного начдива — товарища Пархоменко.

В глазах бойцов вспыхнули огоньки. Шелест удовлетворения пронесся над дивизией. Пархоменко почувствовал, как екнуло его сердце, и расправил плечи.

17

На следующее утро дивизия выступила на Знаменку, где сосредоточивались главные силы Махно. Восьмая кавдивизия, входившая теперь в группу войск, которыми командовал Пархоменко, должна была подойти с запада.

Высланная вперед разведка нащупала врага в селе Петровцы и установила, что здесь собраны главные его силы. По дороге встретился мужичок в заплатанной свитке. Сойдя с дороги, он словно про себя проговорил:

— Только не идите дорогой, вас там уже давно поджидают. — И, зачем-то покачав головой, пошел дальше, но красноармеец повернул коня и остановил мужичка:

— Чего ты как девка на исповеди? Не бойся, говори все. Хочешь цигарку?

Мужичок скрутил цигарку, стал разговорчивее и рассказал не только о том, где стояли в селе батареи, а где конница, но даже объяснил, как лучше подойти к селу, чтобы враг не заметил, и указал на овраг. На карте был обозначен точно такой же овраг, каким его нарисовал мужичок.

— А что ты махновцами недоволен? — спросил Пархоменко, подъехав поближе. — Может, тебя ограбили?

— Меня ограбили? — удивился мужичок. — Через наше село пятнадцать банд проходило — и Маруся, и Лыхо, и Гнида, и Черт, а чтоб ограбить меня — никто не решался, потому вот я и весь перед вами. Мне ваших боевых товарищей жалко: цельных восемь человек зарубили только за то, что они за народ стояли. Такой власти нам не надобно.

— А ты проведешь нас через овраг?

Мужичок заколебался и, будто прицениваясь, посмотрел на свои сапоги, перевязанные бечевками, потом решительно махнул рукой.

— Как добью эти, останусь совсем босый, ну да, может, у вас веревка найдется, для крепости, — и он, длинный, как журавль, пошел вперед. Обгоняя лошадей, внимательно присматривался к командирам. — И начальника вашего увижу?

— Какого начальника?

— Товарища Пархоменко! Слышал, махновцы вспоминали про него. Видать, геройский командир, если слава впереди бежит.

— Он к тебе в гости приедет, — ответил Пархоменко, смутившись.

Через овраг наступала Вторая бригада. Стоял туман, дороги распустились, к ногам липла грязь, и передвигаться пешком было

почти невозможно, но в овраге зеленела трава, и спешенная бригада быстро подошла к селу и повела стремительную атаку во фланг и тыл врага. Выстрелы загремели почти одновременно и с дороги, и из оврага. Не видя маневра противника и не зная его численности, махновцы, предпочитавшие неожиданные набеги, а не позиционную борьбу, начали отходить.

Теперь можно было начинать рубку, и кавбригада из оврага ворвалась в село. Кривыми улочками и переулками красноармейцы прорвались на площадь у церкви, где стоял обоз. Крестьянские подводы, запряженные чахлыми лошадьми, уже катились клубком. Махновцы сбрасывали с телег возниц, которые жалели лошадей, и сами гнали их клинками, в подводы врезалась артиллерия и, ломая повозки в щепы, прокладывала себе дорогу к отступлению. На каждой тачанке строчил пулемет, мало беспокоясь о том, кто попадет под его пули, и, расстрелянные своими, махновцы устилали трупами улицы и переулки. Красноармейцы рубили на выбор, особенно тех, чьи телеги через край были нагружены награбленным добром.

Махно отступал таким аллюром, что обессиленные кони красноармейцев не могли за ним угнаться. Однако замести свои следы он не мог: трупы расстрелянных большевиков, загнанных лошадей, поломанные телеги, ободранные кресла, диваны без ножек, осколки абажуров от ламп валялись по обеим сторонам дороги, по которой проходила армия Махно.

Следы показывали, что Махно бежит в Гуляй-Поле, в свою «столицу», где, как это уже не раз было, он думал затаиться на кулацких хуторах. Части Пархоменко, несмотря на осеннее ненастье, снег, мороз и долгие переходы, шли по пятам врага и не давали ему ни одного дня передышки.

На восьмой день Пархоменко перехватил махновцам путь на Гуляй-Поле, и они вынуждены были повернуть на Полтавщину. Морозы уже сковали землю, началась гололедица. Неподкованные лошади махновской армии уже не могли спасти своих всадников, и махновцы бросали их посреди дороги, а для себя отбирали свежих у крестьян или пересаживались на подводы и снова бежали, заметая за собой следы, как старые лисицы. Путь движения врага теперь отмечался брошенными орудиями, вмерзшими в глубокие колеи тачанками с пулеметами и с еще большей жестокостью зарубленными работниками советских учреждений.

Из Полтавщины Махно повернул на Киевщину. До этого его армия отступала перед неумолимой группой войск Пархоменко одной колонной. Приближался конец 1920 года. В ежедневных переходах и в арьергардных боях армия Махно значительно

сократилась, часть махновцев была перебита, а еще большая рассыпалась по домам с награбленным добром.

С такими силами Махно уже не мог принять бой, к тому же за Днепром его встретили части Восьмой кавдивизии, и он потерял больше трехсот пулеметов и почти всю артиллерию. На Киевщине его армия разделилась на несколько отрядов. Они уходили теперь в разных направлениях, и этим затруднялось их преследование.

Махно со своим отрядом повернул на юг, в район Уманьщины. Пархоменко понимал, что с утратой кулаками идейного вожака и организатора рассыплется и вся банда, и поэтому он с частями своей Четырнадцатой кавдивизии погнался за Махно.

Освободившись от больших и неповоротливых обозов, махновский отряд, сев на лошадей, стал еще более подвижным, и это позволило ему наконец оторваться от красных. Такой маневр спасал врага лучше всякого оружия: части, преследовавшие его, становились как бы слепыми — враг теперь мог выбирать себе какую угодно дорогу для отступления: повернуть назад, наступать с тыла либо засесть в засаде. Однако в районе Юстингорода, к северу от Умани, Пархоменко снова напал на след махновцев. В местечке под Новый год был зарублен продработник, по улицам летали выпущенные из перин перья.

Второго января, поздно вечером, Пархоменко собрал в школе командиров и политработников. В печке весело потрескивали дрова, от окон с намерзшим на них льдом шел пар, и на стекле образовались темные проталины. В комнате учителя становилось душно. Командиры с обветренными лицами знали, что командующий группой недоволен результатами похода. Пархоменко с начальником штаба дивизии шепотом совещались за столом над картой, на нее уставился и комиссар группы. Адъютант чинил карандаш, готовясь вести протокол. Последним пришел комбриг-два. Пархоменко взглянул на часы, потом на комбрига.

— У вас, комбриг, видно, часы отстают на целых двадцать восемь минут? Если б вы подвели их с месяц назад, мы бы уж давно выполнили приказ партии и правительства. Товарищи командиры, — обратился затем Пархоменко ко всем присутствующим, — я хочу знать, до каких пор мы будем цацкаться с Махно? Разве вы забыли, как мы били деникинцев, белополяков, Врангеля? Или вас, может быть, разнежили белые постели, или вам ночи коротки? Как это могло получиться, что враг оторвался? Комбриг-два, объясните.

Комбриг отступил от стены и, укоризненно взглянув на своего командира полка, начал разбирать маневр врага в

злополучный день, когда тот сбил с толку его разведку.

После него говорил, чертыхаясь, комполка, потом другие командиры. Все они были растеряны и, ожидая, когда им дадут слово, избегали встречаться глазами с начдивом, но свое выступление каждый заканчивал заверением, что Махно теперь уже не выскользнет. До сих пор мало придавали значения этой операции, а враг, как выяснилось, оказался слишком хитрым и скользким, как вьюн.

Под конец совещания уже все весело хохотали, вспоминая различные эпизоды последних дней. Больше всех смеялся Пархоменко и, прощаясь, каждому жал руку с такой силой, что не один из них отшатывался.

В накуренной комнате учителя остался с Пархоменко только адъютант Федька Кривосын. Этого своего друга детства Пархоменко нашел среди красноармейцев, бившихся под Харьковом, и взял к себе. Ординарец Егор внес самовар, который пускал пар через отверстие в крышке и тихонько насвистывал. Пархоменко посмотрел на своего ординарца и вспомнил невзрачного Ваську Макогона, который искал смерти и очутился у Григорьева, а потом стал хорошим ординарцем. Во время похода на польский фронт, когда проходили мимо его села, он отпросился забежать домой и больше не вернулся.

— Как ты думаешь, — спросил Пархоменко адъютанта, — что могло случиться с Васькой Макогоном?

Кривосын, наливая в стаканы чай и лакомо поглядывая на кусок мерзлого сала, ответил уверенно:

— На банду наскочил, вот его и сцапали, не иначе. Знаешь, кого он напоминал мне? Григория! Тоже все метался. И тоже сложил голову, правды ища.

— Это тот Григорий, что делегатом в Луганск приходил? Когда ж он погиб?

— В семнадцатом году он был в земельном комитете. Когда начали впервые нарезать помещичью землю, кулак Моргун в чем-то сплутовал, он при всех и вытяни его палкой, а после, как пришли белые, Моргун выдал его немцам.

— Жалко парня, я помню как он все пел эту песню:

На Вкраїні долина,
В тій долині хатина…

Признаться, люблю песни: от них прямо сердце раскрывается!

В тій хатині дівчина,
Дівчинонька молода…

Кривосын начал подпевать, и оба задумчиво покачивались в такт песне. Понемногу глаза Пархоменко начали наливаться грустью, наконец он замолк и глубоко вздохнул.

— Где-то моя женушка верная, где мои сыны-сыночки? — пряча лицо, отвернулся он к окну. — Покончим с бандой, поеду искать… Наверно, подросли уже, в школу отдавать пора, чтобы на инженеров вышли.

На другое утро, отдав приказ бригадам выступать на Бузовку, через которую лежал путь Махно, Пархоменко сам выехал в это село. С ним были начальник штаба дивизии, комиссар группы, начальник формирования и начальник связи, позади ехал адъютант с ординарцами.

До Бузовки было не больше трех верст. Снег, выпавший ночью, покрыл дорогу и поле ровной пеленой. Вокруг царила тишина, которую нарушало только звяканье стремян. На заснеженных крышах хат заиграло утреннее солнце, и деревья, покрытые изморозью, издали казались гроздьями розовой сирени. Возле крайних бузовских хат мелькнули два всадника, повертевшись у околицы, они скрылись в одной из улиц.

Различить отсюда, чья это была разведка — Второй или Третьей бригады, ночевавших в соседнем селе, — было трудно. Пархоменко толкнул коня шпорами и въехал в село следом за незнакомыми всадниками. На улице было пусто и тихо, только какая-то женщина в теплом платке шла с ведрами на коромысле к колодцу, над которым торчал журавель. Всадники, скакавшие впереди, остановились посреди улицы и, поджидая Пархоменко, кричали ему: «Езжай, езжай сюда!» — хотя он и без того уже приближался к ним.

Уже в последнюю минуту, заметив, что всадники почему-то хищно ощерились, Пархоменко инстинктивно схватился за маузер и оглянулся. Ехавшие за ним товарищи немного отстали и теперь, растянувшись по улице длинной цепочкой, нагоняли его. Передовых частей бригады, которые должны были идти следом, все еще не было видно, но из соседних дворов, как по тревоге, начали выскакивать конные на оседланных лошадях и, размахивая шашками, с громким криком бросились на него. Пархоменко успел заметить еще, как Федька Кривосын с ординарцем поворотили коней и, сбивая нападающих, поскакали назад. «Значит, выручат», — подумал он.

Остальные оказались в плотном кольце махновцев.

— До черта ж вас наплодил Махно, — сказал Пархоменко, стреляя в голову первому. Тот повалился под ноги коню. Возле

него легли второй и третий, четвертого лошадь поволокла по улице.

Сбившись вместе, красные кто шашкой, кто револьвером прокладывали себе дорогу назад. Первым упал подбитый конь под комиссаром, но комиссар не переставал стрелять. Выронил уже шашку и начальник штаба, зарубленный, упал ординарец. В маузере Пархоменко уже не осталось пуль. Он схватился за шашку.

— Будете, бандиты, знать Пархоменко! — И махнул клинком. — Вот так бьются большевики за революцию! — Двое зарубленных махновцев рухнули в снег. И тут в голову ему как будто ударила молния: из глаз посыпались искры, все вокруг помутилось. Как сквозь сито, он еще заметил чье-то широкое плоское лицо, оскаленные зубы, а под шапкой волосы, как у дьячка, — и упал на снег.

Когда он очнулся, мимо его головы стучали копыта лошадей, ехавших в село. От глухих ударов о мерзлую землю его череп словно разваливался надвое, но он, пересиливая боль, усмехнулся: «Смотри, когда подошла бригада. Сейчас товарищи помогут встать. Наверно, бандит попал в голову». Он с трудом раскрыл глаза и, будто сквозь красную сетку, увидел на снегу своих товарищей, разбросанных, как поколотые дрова.

— Живой еще! — крикнул кто-то. — Моргает.

Пархоменко в изнеможении снова закрыл глаза. Позади послышались чьи-то торопливые шаги. Кто-то, прихрамывая, подошел и остановился над его головой, назвал по фамилии. «Какая это часть? — спрашивал себя Пархоменко. — Может, Федька Кривосын подошел? Чего ж он молчит?» Пересиливая боль, он открыл глаза. Над ним стоял похожий на сельского дьячка, с плоским лицом и лошадиными зубами, Нестор Махно и злорадно смеялся. Он торжествовал. Пархоменко смерил его презрительным, но уже померкшим взглядом, собрал последние силы и кровью плюнул ему в глаза.

— Бандит! Это тебе за смерть мою, за тысячи невинных смертей.

Над головой прогремел выстрел, и пуля ужалила его в самое сердце.

Ни второго, ни третьего выстрела он уже не слышал. Не слышал так же, как час спустя его бригада, слитая в одном яростном крике, настигла махновцев около реки и почти всех перебила…

18

И пошла молва над лесами, долинами — на все четыре стороны — о рабочем луганском, об Александре Пархоменко. Поэты начали песни слагать, кобзари думы распевать начали о нем.

…Когда убили Александра Пархоменко, все женщины, даже не родные, плакали, а мужчинам плакать негоже. Верба выросла там, где он родился, яблоня выросла там, где он погиб. Дуб вырос над его могилой.

Играй, бандура! Вспомни Александра Пархоменко, сына украинского, весь род его трудовой, всех свояков по сабле и коню! Может, и нашу песню услышат косари при дороге. Умный услышит — на ус намотает, дурень услышит — разуму наберется, отважный услышит — саблю наточит!

Киев, 1938

ПОВЕСТЬ НАШИХ ДНЕЙ

Перевод И. Карабутенко.

Редактор Круг сидел у себя за столом над почтой и длинными ножницами срезывал краешки конвертов. Одним глазом он заглядывал внутрь конверта, а другим время от времени посматривал на художника, который с обиженным видом сидел на подоконнике и мрачно смотрел на противоположное здание с вывеской «ВСНХ»[11]. Дородный критик, заложив одну руку за спину, нервно ходил по кабинету. Наталкиваясь на кресла, он отбрасывал их ногой и после этого еще энергичнее жестикулировал свободной рукой.

Войдя в кабинет, я долго не мог понять, о чем шла речь. Критик своим простуженным голосом выкрикивал:

— Если вашу школу признала, как вы говорите, даже Европа, то это свидетельствует лишь о том, что вы, товарищи, угодили вкусам буржуазии. Требования же пролетариата, как известно, совсем другие. Меня просто удивляет, как вы до сих пор не можете понять, что вы своим формализмом, своей школой тянете революционное искусство назад! Ну, скажите, пожалуйста, кому теперь нужны ваши деревянные приплюснутые человечки, коровы и прочая бессмыслица, смахивающая на владимирские иконы? Вы же сами не захотите повесить их у себя в доме, потому что знаете: даже мухи не вынесут и подохнут от этой мертвечины.

Теперь мне стало ясно, что критик вел наступление на представителя этой школы — присутствующего здесь художника. Художник резко повернулся на подоконнике и промолвил:

— Монументальное искусство тоже давало шедевры.

Критик сердито швырнул за окно окурок папиросы и, широко расставив ноги, тем же раздраженным тоном ответил:

— Да поймите же наконец, что революция — не плоская форма с застывшими глазами иконы, а неудержимое движение, преисполненное героизма, подъема и борьбы. Вот если бы вы пользовались классическими формами предшествующих стилей для создания нашего нового, пролетарского, искусства, тогда другое дело. Для этого настало уже и время, и условия. Но я не вижу даже попыток у вас.

— Вы не видите попыток, — ответил художник, — а я не вижу соответствующих, как вы говорите, условий.

— Как это не видите? — оторвавшись от своей почты, удивленно произнес редактор. — Как это не видите? Вы, голубчик, все еще спите! Вот тут у меня лежит, — и он приоткрыл

ящик стола, — интересный документ.

— Знаем эти документы, — пренебрежительно ответил художник. — Ваши рабкоровские панегирики если еще не убили, так непременно убьют в обществе последнее доверие к печатному слову.

Редактор швырнул на стол ножницы и, еще более выдвинув ящик, выхватил оттуда какую-то рукопись и потряс ею над столом.

— Какие панегирики? — фыркал он в усы. — Подлинные документы о живых людях, которых я знаю.

— А я верю только фактам.

— Факты сами к вам не придут, идите на фабрики и заводы, поезжайте в индустриальные центры, посмотрите, что там делается, и у вас будут факты. Панегирики! Я ведь его за язык не тянул…

— А кто вас убедил в этом?

— Кто? Рабкор, а в будущем, возможно, и писатель. Я даже фамилии его не помню. Вот. — Редактор быстро полистал рукопись. — Некий Тур. И этих документов, дорогой товарищ, я не променяю на всю вашу выставку.

Художник снисходительно улыбнулся, спустился с подоконника и уже более спокойным тоном произнес:

— Ну, хорошо, что же это за документы?

— Да более убедительные, чем ваши шедевры.

— Видать, потому, что написаны красными чернилами?

Редактор вытаращил глаза и, казалось, задохнулся. К столу подошел критик.

— А вы даже киноварью пишете, — сказал он, — и все-таки пользы — никакой. Большая вещь? Прочтите, Круг.

— Я уже читал, — сказал редактор, все еще фыркая в усы.

— Тем лучше.

— Сами читайте, у меня нет времени…

— Ну да почитайте, у вас же не голос, а громкоговоритель.

— Ну, тогда садитесь и слушайте, только в моем распоряжении всего полчаса. Если сегодня не закончу, продолжение будет завтра.

— Хорошо.

Мы с критиком расположились на диване, а художник, прикурив папиросу, начал ходить вдоль стены кабинета. Редактор откашлялся.

— Корреспонденция названа «История зеленой бутылки». Что за история — увидите сами. Итак: «Там, где в запыленной степи простерлись в разные концы стальные рельсы, сотни труб устремляются в небо, как старые сваи над водой.

В большой лощине, о которой я рассказываю, выстроились в ряд восемь заводов, напоминающих по своему виду серые брусья, а вокруг них, как и по всей лощине, словно бы кто-то наспех разбросал старый кирпич под солнцем, расположились старые рабочие поселки. По стальным рельсам, опоясавшим лощину, суетливо бегали промасленные паровозы и хрипло перекликались с заводами до тех пор, пока однажды не растаял в небе последний дым. Вся эта группа заводов принадлежала акционерному обществу.

Кожевенные и металлургические заводы и во время войны продолжали выпускать свою продукцию, а два завода, ранее изготовлявшие зеркала и бутылки, были переоборудованы: они давали химическую начинку для снарядов. Акции общества быстро начали покрываться дивидендами, как поле боя трупами, но вспыхнула Октябрьская революция и смела администрацию вместе с пайщиками. Все они бежали в Европу.

С тех пор на станках заводов беспечно разгуливали мыши. Старый мастер, которого звали просто Митрич, долго еще вспоминал:

— Бывало, зайдешь да как посмотришь, так тебя и охватит печаль: вокруг паутина, как бусы, в ваннах полно соломы, а вокруг — по колена навоза. А ночью лучше не заходить: совы как ведьмы на Лысой горе. И на поселок посмотришь — тоже как будто кладбище. Неурядица пошла — только мать да бог, да все, чтоб трехэтажное, да все, чтоб в «канцелярию».

— Оно и не удивительно, — кивнул головой Автоном, его приятель, — потому как нечего и думать, чтобы дома сидеть: фронт всю силу забрал, а не фронт, так в партизаны пошли…

Во время гражданской войны поселок раз двадцать переходил из рук в руки. Машины и аппараты исчезли бесследно, а двор поверх брусчатки покрылся бурьяном, словно вдовье подворье.

— А что такое завод без аппаратов? — спрашивал Митрич. — То же самое, что и рабочий без завода.

Стеклодувы не могли жить без гуты[12], как растение без воды, как тело без души. Сидеть же сложа руки по своим закоулкам в Собачеевке и ругаться со старыми изголодавшимися родителями для тех, кто еще остался в поселке, было тяжелее десяти фронтов. Когда наконец прогнали деникинцев, начали созывать митинги, говорили на них до хрипоты, и кончались они преимущественно руганью.

— Что можно сделать без головы? — кричал один.

— Не ты ли будешь за командира? — ехидно спрашивал второй.

— И я могу, — задиристо отвечал какой-нибудь комсомолец.

— Какими умниками стали! Видать, в партизанах ума-разума набрались?

— Да на кой черт нам командиры? — говорил, удивляясь, Автоном. — Вот Митрича назначат — и все тут!

— Что же Митрич — и Митрича знаем.

Однако через несколько дней снова созывали митинг. Даже сделали несколько субботников и соорудили на площади арку, а над братской могилой расстрелянных товарищей поставили нечто подобное памятнику из битого стекла. Но гута все еще стояла, как катафалк, и застывшая труба ее печально возвышалась над заросшим бурьяном двором. Однажды ветер донес в поселок звук гудка. Он словно бы захлебывался от удовлетворения и гудел непривычно долго. Все, что было живого в Собачеевке, торопливо выползло из своих укрытий и с удивлением напрягло слух. Гудок, как далекая музыка, звучал за горой, а труба старой гуты все еще лишь мечтала о теплом дыме внутри и о шуме во дворе.

В тот же вечер через поселок пробежал мальчишка с колотушкой, выкрикивая:

— На митинг! На гуту! Все до одного!

— Снова, видать, субботник затевают? — покачал головой Митрич.

— Этих треклятых партизан и голод не берет! — вторил ему Автоном.

Партизанами прозывали всех, кто носил серые солдатские шинели.

С начала гражданской войны большинство из них действительно побывало в партизанах, но затем они успели побывать на всех фронтах в Красной Армии, однако название «партизаны» осталось за ними еще на долгое время.

На этот раз в гуте, около ванн, кроме своих парней, топтались еще двое посторонних. Одного уже знали — это был Василий Павлович, секретарь окружкома партии. Рядом с ним стоял какой-то незнакомец, одетый в потертую кожаную куртку и с полевой сумкой на тоненьком ремешке. Он хозяйским глазом осматривал все вокруг. Под окнами барашками курчавились белые сугробы снега. В разбитые окна дул влажный ветер, а двери и вовсе не было. Рабочие, в свою очередь, присматривались к новому человеку. Был он коренастый и широкоплечий, немного курносый, с маленькими, глубоко запавшими глазами.

— Кто это такой? — спросил Автоном.

— Видно, оратор, — ответил Митрич.

— Говорить — не цепом молотить.

— А что, времени, у тебя нет, пускай себе говорит, — о хлебе меньше будешь думать.

Когда в гуту набилось уже полно людей, секретарь окружкома шагнул вперед и выкрикнул:

— Товарищи, а ну-ка тихо! Вы уже знаете, что враг разгромлен на всех фронтах. Побили мы Колчака, побили Юденича, побили Деникина и Врангеля, побили Петлюру, хорошенько всыпали и белополякам. Но и у самих у нас, что называется, морда в крови. Каждый гад, каждая контра что-то да разрушил, разбил, сжег. Думали, что хоть этим нас доконают. Дескать, не выживем мы. Врут, выживем! Справились с одним врагом, справимся и с другим — с разрухой. На себя теперь работаем, а не на кого-то другого. Только, если все будут так медленно поворачиваться, как вы, то придется нам еще потуже затянуть ремешки. Нужно приниматься за гуту. До каких пор тут будут гнездиться совы? Если среди вас нет такого, который мог бы взяться за дело по-большевистски, так вот я привез вам товарища Свира. Он хочет работать.

— Где? — выкрикнул кто-то из толпы.

— У вас на гуте, — ответил Свир.

— Мы, дружище, и без тебя работали бы, ежели было бы где.

— С этого и начнем.

— Так это ты затем и приехал? — пренебрежительно сказал Софрон, у которого из копны рыжих волос виднелся лишь широкий нос. — Аль, может, ты капитал имеешь?

— Теперь капитал — мы с вами. Это только хозяева на деньги надеялись. Нужно начинать восстановление гуты.

— И мы так говорим! — крикнул один из бывших партизан. Остальные только сопели да молча вздыхали.

— Чем же восстанавливать? — снова ощерился Софрон.

— Руками!

— Голыми?

— А чего же вы ждете? — спросил Свир. — Пока ржавчина поест и те станки, которые еще можно наладить? Пока растащат последние стекла из окон? Тогда пойдете искать работу на других заводах? Там свои люди найдутся. Они их сохранили, они теперь там и хозяева.

— А мы разве не берегли? Что ты нас упрекаешь? — огрызнулся Митрич. — Не тебя, а нас расстреливали деникинцы — каждого десятого!

— За что же ваши товарищи умирали? Чтоб через разбитые стекла снег засыпал ванны? А вы себе смотрите да штаны подтягиваете. Ясно, сделать зажигалку, оловянную ложку либо собрать Десяток недобитых бутылок легче…

И оловянные ложки, и зажигалки делались тайком, потому что это оскорбляло достоинство квалифицированных мастеров,

оставшихся в поселке. Об этом нужно было говорить осторожно, но Свир шел напролом, как танк через лес.

— А почему именно? Почему оловянные ложки да зажигалки? Потому что на большее вы уже не способны. Видать, вы уже забыли, как и пимцы в руках держать!

Рыжий Софрон даже рот разинул.

— Гляди-кось, какой сыскался!

— Вон его ко всем чертям! — выкрикнул еще кто-то.

— Ну, что ж, — продолжал Свир, не обращая внимания, — раз не способны, наберем других, а вы тогда отправляйтесь волам хвосты крутить.

— Сам отправляйся! — закричали вконец обиженные рабочие. — Волам хвосты! Скорее ты забудешь, как тебя зовут, чем мы… Люди по сорок лет выдували бутылки… — И они, словно бы снова очутившись у полных ванн, тяжело затопали ногами.

— Мы еще не забыли, а вот знаешь ли ты?

— Я знаю, что нужно восстанавливать гуту.

— Ну, что же, и восстановим, — уже более спокойно огрызались стеклодувы. — Захотим, так восстановим!

— Через десять лет? Когда ваши руки будут способны разве только для того, чтобы колоть дрова, а не выравнивать голенища.

Снова кое-кто автоматически махнул ослабевшими руками и уже от обороны перешел в наступление.

— А почему через десять? Почему через десять? Через десять, может, нас уже и на свете не будет?!

— Дае-ешь гуту! — словно шутя, перекрыли всех хором «партизаны». — Зачем торгуетесь? Правильно говорит товарищ оратор: до каких пор будем дурака валять?

— А что же, поспешишь — людей насмешишь. Нужно обдумать, — бормотал Софрон.

— Ну, вы себе думайте, а мы будем резолюцию писать. Товарищ секретарь, пишите резолюцию: нужно начинать… а мы готовы!

Их голоса подбодрили и стариков — серые, в глубоких морщинах лица их словно бы вдруг озарились солнцем. Они обрадованно закричали:

— Ей-же-ей, пустим! Право слово, пустим, Василий Павлович?

— Да как еще пустим! — смеялся секретарь окружкома. — Галопом!

— О-го, едрена палка! Я, брат, еще не такую бутыль выдую! — кашляя, пискляво выкрикнул Автоном.

— А разве я не справлюсь за Гаврилу? — толкнул его локтем

такой же старик Ганджуля. — Он теперь в столице, в комиссарах ходит, а я здесь займу его место.

— Держись тогда, буржуазиат… Держись тогда, прошу пана, а, Митрич!

Митрич, расстрелянный сначала деникинцами, а затем еще раз — махновцами, но почему-то до сих пор так и не похороненный, показал свой единственный желтый зуб, ехидно подмигнул Свиру и самодовольно похлопал себя по лбу ладонью.

Видно, это должно было означать, что человек с головой, потому что все, стоявшие рядом с Митричем, поддакивали ему и тоже уже с удовлетворением поглядывали на Свира…»

В этот момент на редакторском столе зазвенел телефон.

Художник Самсон, который уже сидел верхом на стуле, снял телефонную трубку, но, промычав дважды, сразу же передал ее Кругу. Редактор положил палец на то слово, на котором его прервали, и с недовольным выражением лица заговорил в трубку.

— Я слушаю. Так, та-ак… На Червоноград, отдельный поезд? Так, а-га. Мне нужно (он одним глазом пересчитал всех нас, а себя толкнул локтем) четыре пропуска. Хорошо… Вот вам, Самсон Петрович, — обратился он к художнику, — еще одно доказательство: сегодня открывают новую железную дорогу в Червограде. Через два часа туда направляется специальный поезд. Хотите, поедем, чтобы воочию увидеть факт.

Мы с критиком охотно согласились, но художник Самсон, скептически улыбнувшись, отрицательно покачал головой.

— Ну, как хотите, — уже раздраженно ответил редактор и снова возвратился к рукописи.

«Свир стал и прорабом, и директором, и рабочим, а главное — с жаром брался за все. Через несколько дней принялись восстанавливать гуту. Энтузиазм среди рабочих начал заметно расти, но так же заметно начал уменьшаться паек. На весь поселок оставалось всего лишь около сорока пудов муки.

Когда в заводском корпусе были уже застеклены или заложены окна и рабочие приступили к монтажу станков, из центра прибыла специальная комиссия. Она осмотрела заводы и признала, что эту группу предприятий покамест нельзя пустить. Такой вывод потряс людей.

Автоном, который собирался выдувать бутыль, обескураженно спросил своего приятеля:

— Почему же это нельзя, Митрич?

Митрич пожал плечами.

— А ты что скажешь, Свир?

— Пустим! — отвечает Свир. — Не сегодня, так завтра пустим и гуту, и электростанцию! В чем дело, товарищи

комиссия?

— Правительство не может сейчас обеспечить такое строительство, — отвечают члены комиссии.

— А мы сами восстановим!

— Заправляй, Свир, — говорит Митрич, — твое дело мудрить, а ты, Автоном, собирай дух, хоть одну бутылочку да выдуешь.

Члены комиссии видели, что люди работают на голодный желудок, голыми руками, без технической помощи, и только покачали головами.

— Такими средствами вы ничего не сможете сделать, а помочь вам сейчас мы тоже не в силах. Есть более важные объекты.

— А ты, Свир, как думаешь? — допытывается Автоном.

Свир посмотрел на обвисшие канатами руки Автонома и подумал: «Может, и верно говорит комиссия?» И ответил уже не совсем уверенно:

— Смелость, товарищи, города берет!

Свир всегда был угрюмым, а теперь он еще более помрачнел…»

На этом месте редактор хлопнул рукой по рукописи и, подняв к нам глаза, с удовлетворением произнес:

— «Всегда угрюмый…» Таким и я его знаю. Это, товарищи, не вымышленный персонаж, — это живой человек со всеми смертными грехами… «Всегда угрюмый…» Таким он был и в двадцатом году, когда его прислали ко мне в артиллерийский дивизион на должность комиссара.

— Этого самого? — живо спросил критик.

— Ну да. Плотный, широкоплечий, в кожаной потертой куртке, он своим четырехугольным лицом с острыми скулами действительно производил впечатление всегда насупленного, мрачного человека. А может, это нам потому так казалось, что у него были глубоко спрятаны маленькие глаза и всегда плотно стиснуты губы. «Ух ты, какой сердитый», — подумал я. — Вы артиллерийскую службу знаете? — спрашиваю его.

— Знаю, — отвечает уверенно, — когда-то, — говорит, — служил телефонистом в старой армии, в тяжелой батарее системы «виккерса». А вы силы врага знаете? — в свою очередь спрашивает он меня.

Так и экзаменуем друг друга. Ну, погоди, думаю, посмотрим, что ты запоешь, когда я испытаю тебя «на огонь».

В Шаргороде в то время находилась польско-петлюровская бригада. Вот месяц уже стояло затишье, а через день снова должно было начаться наступление по всему фронту. Для того,

чтобы лучше ориентироваться в обстановке, я предложил Свиру идти с пехотой. Не каждый любит такие прогулки. Но Свир не только не встревожился, как это случалось с новичками, а, наоборот, больно уж спокойно ответил:

— Именно это я и хотел предложить. Вы знаете, кто командует петлюровской бригадой? Тот самый полковник Забачта, который в старой армии был старшим офицером нашей батареи. Тогда он сражался за свободу помимо своей воли, а теперь, как видите, наоборот, с охотой воюет против свободы.

В полк мы приехали в тот момент, когда он колоннами в темной мгле уже выходил из Мурафы. За местечком, расположенным на той стороне реки, должна была находиться первая вражеская застава, однако никаких признаков ее мы не обнаружили. Получалось, что враг либо отступил уже, либо был чрезвычайно беспечен.

На полпути к Шаргороду повстречалась нам одетая в стеганку крестьянка. Мы, конечно, остановили ее.

— Откуда?

Отвечает:

— Из Шаргорода.

— А войско стоит у вас?

— Ну да, — говорит, — во всех дворах стоят. А вы, видно, наступать будете? Ох, господи, а мы еще и стадо не выгнали.

Во время гражданской войны самые строгие тайны почему-то сразу становились известны крестьянам. Бои проводились преимущественно у сел или непосредственно в самих селах, потому крестьяне, услышав о стычке, чтобы спасти свой скот от перестрелки, выгоняли его в поле. Поэтому всегда можно было ориентироваться, насколько тайны оставались таковыми уже только в представлении штабистов.

Ни в балке, которую мы пересекли, ни на окрестных холмах скотины не было видно.

Свир посмотрел на меня с удовлетворением, растер в ладонях снежную пыль и сказал:

— А раньше полковник был правильным офицером — никогда не зевал.

Со стороны балки начинался первый подступ к селению. Мы спешились, послали вперед разведку, а за ней вылетели на тачанках пулеметы; батареи стали на позиции — и полк двинулся в наступление.

Где-то далеко, на околице местечка, сонливо тявкали перед завтраком собаки, по балке рыскал ветер, и больше ничто не нарушало тишины. Мы с командиром полка тронулись пешком за цепью.

Бойцам было строго приказано: «Без команды не стрелять».

Вдруг из слободки грянул выстрел. Мы переглянулись.

— Застава. Начинается! — сказал Свир.

После этого должна была бы вспыхнуть перестрелка, однако почему-то снова наступила тишина.

Вскоре два красноармейца привели перепуганного казака из заставы. Он божился, что выстрелил тот, который успел удрать, и тут же охотно рассказал, что сегодня никто наступления не ожидал; бригада проводит в местечке мобилизацию крестьян, и на мещан наложена контрибуция желтыми сапогами. Мечта солдат!

Казаки из заставы, конечно, помчались в штаб, и теперь уж видно было, что захватить врага врасплох нам не удастся. Я заметил, как на лице Свира заиграли скулы, а брови почти совсем закрыли его серые глаза.

Цепь уже втянулась в слободку и охватывала ее с двух сторон; наступающие залегли у дороги на самом склоне горы, расположившись в огородах.

Мы стояли, держа лошадей в поводу, тут же, на дороге, и напряженно ожидали.

Прямо от нас дорога круто сворачивала в сторону и еще круче спускалась в долину. Внизу, притаившись над ставком, лежал приплюснутый к земле Шаргород. За голыми деревьями, кроме ставка, ничего не было видно, однако мы инстинктивно чувствовали, как внизу враг уже суетится у пулеметов, как панически запрягаются обозы, как части уже выступают нам навстречу. Еще одно мгновение, и стекла зазвенят от тысячи выстрелов.

Вдруг совсем поблизости в нашей цепи кто-то испуганно крикнул с татарским акцентом:

— Э-э-эй, заяц!

И тут же грянул выстрел.

Этот первый выстрел, сделанный вопреки указаниям командира, стал сигналом. Вся цепь загремела выстрелами с такой поспешностью, будто враг наступал уже на самое горло.

Наш план срывался.

Свир бросился к командиру полка.

— Вперед!

Но комполка с убийственным равнодушием ответил:

— Успеем.

Тогда Свир посмотрел на меня, и я понял его без слов.

В один миг мы оказались на лошадях и по развернутой дороге кинулись вниз. Три ординарца летели вслед за нами. Над головами целым роем свистели пули, ветер сек нам щеки.

Промелькнул, что-то бормоча, какой-то дядька, а мы все скакали галопом вниз. Дорога извивалась между плетней, между верб, пока наконец мы не выскочили на широкую улицу в середине местечка.

Кони, как по команде, сделали полвольта направо и полвольта налево и уже по ровной улице поскакали в разные стороны. Я свернул направо, видимо потому, что там на площади виднелась церковь. Значит, там должен был быть и штаб.

За мной скакало два ординарца, а в другую сторону, за Свиром, — один. На улице было до жути пусто. Словно бы местечко начисто вымерло. Лишь в одном месте старичок, везший свеклу на телеге, изо всех сил старался прижать волов к забору. Я не успел еще и подумать, почему мы разделились на два отряда, как очутился перед поповским домом. Ворота были открыты настежь, и мы подобно вихрю влетели во двор. Но и тут была та же самая жуткая тишина. Словно в манеже, мы обскакали широкое подворье и тем же аллюром понеслись назад вдогонку Свиру.

— А пехота тоже наступала? — спросил художник Самсон, делая какие-то зарисовки на листике бумаги.

— Пехота? Она еще где-то плелась по огородам, но мы в то время совершенно забыли о ее существовании. В голове была одна мысль: «Налететь на штаб». И это удалось сделать Свиру. Он, как об этом сам позже рассказывал, свернул влево, скакал по улице до тех пор, пока не увидел, что телефонные провода потянулись к белому дому на берегу пруда.

С разгона прыгнул он на затоптанное крыльцо. В голове, говорит, вихрем промелькнула мысль: «Полковник!»

Он схватился за кобуру и… лишь чертыхнулся: наган где-то выпал по дороге. Он подскочил к ординарцу и вырвал у него из рук карабин. Когда уже отворил ногой дверь, ординарец крикнул:

— Товарищ военком, карабин не заряжен!

Но размышлять было поздно. Свир влетел в комнату. Вы представляете себе его положение? Потом он говорил:

— Первое, что я увидел, — это облако густого дыма, качавшееся под потолком. Мне даже показалось, говорит, что тут кто-то только что выстрелил, и тот серый дым заслонял от меня всю комнату. Я хотел, говорит, крикнуть, но что именно — я не знал: возможно, что это получился бы какой-то рев, а не победный крик, но я успел заметить, что в доме не было ни единой души. Пол был загажен окурками, на столах валялись разбросанные бумаги, а со стен свисали оборванные телефонные провода. Они еще даже покачивались. Видно было, что штаб выскочил из комнаты с минуту назад. Но куда же он мог

деваться?

Опрометью — а он был очень быстрым — Свир выскочил назад, к коням. А тут в аккурат и мы прискакали. Свир только крикнул:

— Пусто! — и вскочил на коня.

Вдруг из-за ставка, поблескивавшего льдом, ударило сразу пять или шесть пулеметов. Пули резали лед, как алмаз стекло, сердито жужжали у нас под ногами; застучали по каменному цоколю соседних домов. Мы укрылись за кузницей.

«Значит, враг еще тут», — подумал я. Позиция была у него выгодная: наступать по льду под пулеметным огнем никто не решится. Видно, об этом же думал и Свир, потому что он, бедняга, даже посерел как-то.

Пулеметы усилили огонь, — враг заметил, что на улице через заборы начала уже перепрыгивать наша пехота. Близость надежной силы, видно, невольно снова отразилась на нас. Мы точно так же, как и первый раз, молча переглянулись со Свиром и одним рывком вылетели из-за кузницы на плотину. Видно, наше желание прорваться на ту сторону напугало врага больше, чем появление пехоты, потому что все шесть пулеметов сразу же ударили по плотине.

Но мы ощущали только свист ветра в ушах, только тяжкое дыхание коней да бесконечно длинную насыпь.

Вырвавшись наконец на берег, мы инстинктивно метнулись в первый переулок направо. Где-то тут поблизости, под вербами, клокотал пулемет. Свир бросил ординарцу: «Прикажи им выезжать на дорогу и хватай…» А сам, не останавливаясь, поскакал дальше. За первым поворотом мы вдруг налетели на группу всадников. Наше появление, видно, было таким внезапным, что казаки — хотя их и было в пять раз больше — мгновенно бросились наутек. Но один из них тут же осадил коня и выстрелил из револьвера прямо в Свира. Конь стал на дыбы, но Свир в ответ на выстрел почему-то разразился таким злорадным хохотом, что мне даже жутко стало.

— Господин полковник!

Всадник растерянно оглянулся — так, будто он своих ошибочно принял за красных. Я прицелился в ногу коня и выстрелил. Конь под ним заковылял на трех ногах.

Свир еще раз крикнул:

— Здравия желаю! — и приставил свой незаряженный карабин к голове полковника. — Не узнаете? Свир! Ваш телефонист из батареи «Л». Бросьте револьвер!

Красивое лицо с туго закрученными в кольцо усами злобно перекосилось на Свира, и рука все еще держала грозный

парабеллум.

Пулеметы вдруг умолкли.

— Руки вверх! — крикнул я, наставив наган.

Забачта был похож на кабана, пойманного волками за уши. Он испуганно посмотрел на нас по очереди и сердито, не глядя, швырнул парабеллум на землю.

— Проиграли! — едко сказал Свир. — Ну, слазьте, господин полковник, и — марш вперед!

В тот же вечер на разрушенном сахарном заводе Свир решил, что полковника можно будет использовать.

— Мы, — говорит он, — оставляем вас в живых, но вы за это должны написать письмо к своим, чтобы они зря не проливали кровь. А все те, которых мы захватили в плен, — насильно мобилизованные крестьяне, — пускай немедленно либо складывают оружие, либо переходят к красным под ваше начало.

Забачта злобно посмотрел на Свира, потом круто повернулся и пошел к двери, но на пороге вдруг остановился, встряхнул головой и сказал:

— Хорошо, я согласен. Я согласен служить и у красных, но о письме дайте подумать.

Если бы в дальнейшем ничего не произошло, мы, возможно, отправили бы полковника в штаб дивизии — на том все и закончилось бы. Но утром к нам явилась девочка, — она под сильным огнем пришла из другого села, от петлюровцев, и принесла записку, в которой говорилось:

> «Если вы сегодня не отпустите нашего полковника, мы вынуждены будем расстрелять вашего комиссара Пригоду, а также и всех тех, кто после этого будет попадать к нам в плен».

Товарищ Пригода, политрук одного из наших полков, действительно попал в плен еще месяц тому назад. И в то, что он до сих пор жив, никто не верил, кроме Свира, считавшего его своим побратимом.

— Нужно заставить Забачту написать письмо, а если не напишет — так мертвые не вредят.

Просидев ночь в погребе, полковник согласился написать письмо.

Теперь встал вопрос — с кем переслать это письмо обратно. Девочка, совершив один рейс под пулями, теперь от страха не могла даже слова вымолвить. Она оцепенело смотрела на Свира полными слез глазами и пыталась поймать его руку. Вот тут-то и пришла ему в голову нелепая мысль.

Возможно, у него была тайная надежда вырвать из плена

товарища Пригоду.

— Я пойду! — заявил он неожиданно. — Может, еще и хлопцев приведу.

Свир взял удостоверение на имя какого-то красноармейца и, положив его в карман старой шинели, направился во вражеский лагерь. А ночью из погреба бежал полковник. Ему помог кто-то из служащих сахарного завода. Конечно, Свира мы больше не увидели и были уверены, что он погиб.

И вдруг получаю эту корреспонденцию. Свир… Широкоплечий, крепкий, всегда угрюмый… Я уже проверил — это и есть тот самый Свир, который когда-то был у меня комиссаром. Теперь он, как видите, восстанавливает завод, но послушайте, как он это делает.

Круг оторвал ладонь от рукописи и начал читать дальше:

— «Вторично комиссия приехала в новом составе. В этот день рабочие были возбуждены, нервно бегали к ваннам, спускались к газогенераторам, возвращались назад к станкам. Когда один из членов комиссии протянул руку к маховику, чтобы показать следы ржавчины, машинист демонстративно дернул колесо. Маховик, будто спросонку, вздрогнул, сверкнул спицами под самым носом комиссии и, сердито сопя, завертелся в объятиях широкого ремня.

В то же время над головами, как после болезни, прочищая горло, октавой заревел гудок и на десятки верст раздалось торжествующее:

«Пустили гу-у-уту!»

С трубы рассыпался, как седые кудри, первый жирный дым…»

Художник, нервно потирая руки, засуетился по кабинету.

— Момент интересный! — Потом, словно бы смутившись своим неожиданным порывом, снова холодно произнес:

— Простите, я, кажется, помешал. Читайте!

Мы с критиком переглянулись, а Круг даже улыбнулся уголками губ.

— «На гуте еще не было инженеров, которые знали бы производство, а старых мастеров почти всех перестреляли деникинцы. Из центра прислали лишь техника, но и он оказался неопытным — он разбирался только в машинах. Однако нужно было уже приступать к налаживанию производства. Свир ходил озабоченным, расспрашивал старших, подыскивал литературу.

— Книга про бутылки и у меня есть, — сказал как-то Митрич. — Но ведь требуется еще и сырье. Нужен мел, известь, салифат нужен, уголь требуется, даже ерундовый песок — и тот нужно подвозить черт его знает откуда.

Свир слушал, насупившись.

— Не все сразу, Митрич. Шаг за шагом. Дай мне свою книжку про бутылки.

Решили начинать с теми материалами, которые были под руками. Подготовили самую маленькую ванну, засыпали.

— Ты, Митрич, ближе всех был к инженерам, как оно?

— Нужно на свет посмотреть, — сказал Митрич, — серая?.. Может, что-нибудь и получится. Размешивай! Хорошо перемешанное — наполовину сваренное. Размешивай!

Тут же переступал с ноги на ногу Автоном. Он еще больше осунулся, руки у него уже все время дрожали. Автоном надсадно кашлял — из его запавшей груди доносились болезненные хрипы. Но, не обращая внимания на это, Автоном, как и все остальные, суетливо готовился принимать первое стекло. Перед ним уже стояло корыто, плита, долок и катальник, а в руках он держал «трубку», смахивавшую на добротный чубук из красного дерева.

Через десять минут плавка была готова, а еще через пятнадцать минут не стало Автонома.

Автоном вместе с другими мастерами быстро подбежал с «трубкой» к боту, чтобы взять на «баночку» стекла. Вокруг печи, как рундуки вокруг карусели, стояли станки, а возле них — баночники, выдувальщики, отшибальники. У каждого было очень мало площади — едва можно было повернуться. Не больше ее было и у Автонома. И на этой «позиции» он должен был, как жонглер, выхватить из раскаленного добела бота на «баночку» растопленное стекло и, быстро вертя и качая его, размахивая, поднимая и снова опуская, и снова нагревая, выдуть бутылку или сулею, а то и просто стакан для воды.

Автоном старался быть спокойным, но, видно, чувствовал, что это уже сверх его сил, и потому волновался еще больше. Он не боялся упасть в бот, но в последнее время ему уже плохо повиновались ноги: они тянулись за ним, как перебитые, а тут плутать было точно так же опасно, как совать руки в маховик.

Все-таки стекло он ловко перебросил к катальнику, радостно набрал полную грудь отравленного испарениями серной кислоты воздуха, подмигнул Митричу и начал дуть в «трубочку». Маленькая серая «пулька» начала пухнуть, как красный помидор, и отражение окон с переплетами уже поплыло по ее сверкающим бокам. Серые щеки Автонома тоже надувались все больше, и он, в этом творческом экстазе, хотел еще раз посмотреть на Митрича. «Гляди, дескать, я еще и не такое выдую…» И в этот момент почувствовал, как волна кашля неожиданно подкатилась к горлу. У него даже в глазах потемнело.

Автоном закачался. Он хотел уже выхватить изо рта трубку,

но кашель опередил его, возможно, на какую-то тысячную долю секунды.

Он кашлянул с такой силой, будто у него внутри лопнула сулея. От кашля вздрогнули, как две сломанные спицы, руки, трубка со стеклом сверху обрушилась вниз и, как язык пламени, упала на голову отшибальницы, которая сидела рядом с ним, держа косарик в руках. Белая косынка отшибальницы мгновенно задымилась. От неожиданной боли девчонка истошно закричала. Все оглянулись. Автоном, склонившись на коляску, стоял неподвижно. Глаза его вышли из орбит, а из груди, как из натиснутого меха, шипел воздух. Вдруг он поднял к воротнику руку, изо всех сил вытянул тонкую морщинистую шею и, как мешок с костями, грохнулся на помост.

Над трупом посиневшего Автонома тяжелее всех вздохнул его приятель Митрич. Он украдкой вытер слезу и тихо произнес:

— Скажи же, Автоном, на том свете товарищам: не зря умирали… видел сам, что пустили… только, брат, съел тебя капитал.

Тут же Митрич повернулся к печи, потер лоб и спросил:

— Как там с лодками? Пены до черта.

Автонома похоронили впервые в поселке по-советски — без попа, но с горячими речами товарищей и вместо креста насыпали на могиле гору из битых бутылок.

Митрич был назначен старшим мастером, ему выдавали по пять фунтов хлеба в неделю, а всем остальным — по четыре; и вскоре гута заняла свое место в числе восьми процентов восстановленных на Украине заводов. Даже Софрон сказал: «Добились-таки!»

— Значит, будет-таки дело, товарищ Софрон? — сказал Свир. Софрон ожидал первую партию бутылок, которые должны были поступить сейчас из горна, где они закалялись. На слова Свира он повернул свою голову на исхудавшей шее, раскрыл губы и, полагая, что снисходительно улыбается, проскрипел:

— Ох ты ж, видать, и сукин сын!

Когда из закалки вынули первую пару, все, кто были возле печи, немного застеснялись. Зеленые, как пара огурцов, бутылки крепко прижались одна к другой своими теплыми бочками и не имели никакого желания расставаться. Вынули еще с десяток.

— Вот наконец как живая, — произнес, даже захлебываясь от удовольствия, Митрич и шершавой ладонью любовно погладил угреватую бутылку по гладенькой шейке. — Ах ты ж, моя красавица, куда же мы теперь тебя направим, кому тебя покажем!

— В столицу пошлем, — с гордостью сказал сортировщик, готовясь к первой приемке.

Свир стоял сбоку, и его исхудавшее лицо, которое сначала было расцвело, с каждой новой бутылкой все более выразительно отражало тревогу. Бутылки были в прыщах от шейки до дна — эти белые прыщики смахивали на семена дыни. Чтобы окончательно убедиться, он взял одну, со свернутой набок шейкой, и легонько стукнул о другую. Бутылка звякнула и мелкими осколками рассыпалась на полу.

Митрич испуганно посмотрел на Свира, потом на осколки, потом снова на Свира, потом на осколки, потом снова на Свира и виновато закашлял.

— Такое и раньше случалось. Видать, многовато дал известки либо же сульфата… За пять лет можно и забыть, а в книге уже не могу прочесть: уж больно мелкими буквами печатают.

Свир взял Митрича за локоть и ласково промолвил:

— Ничего, Митрич, и Ленин сказал: «На ошибках учатся».

— Вот, вишь, умный человек всегда так скажет.

— А все-таки книжку дай мне. Может, я прочитаю ее, а там, гляди, и инженера толкового пришлют. Считайте, хлопцы, завтра же и отправим.

— Ну да, — ответил Митрич, показывая свой желтый зуб, — вот, мол, хоть и плохонькая бутылка, да все-таки своя, собственная. Не покупная.

Свир, взяв у Митрича книжку, которая начиналась с тринадцатой страницы, начал просиживать над ней долгие зимние вечера, закрывая лампу от холодного сквозняка, от ветра, проникавшего через разбитое стекло. На тридцать седьмой странице он нашел то, чего так долго искал. Под рисунком, похожим на ручную английскую гранату, было напечатано:

> «Механическое производство удивляет главным образом своей чрезвычайной простотой и четкостью всех процессов. К огромной ванне, в которой вмещается около шестидесяти тысяч тонн растопленной массы стекла, сбоку приставлена целая система аппаратов, именуемых системой «Линча». Из вагонов, которые подъезжают к самому заводу, уголь грайферами доставляется в генераторы, а генератор уже сам подает газ в печь. Таким же способом направляется в ванны и засыпка для стекла. Если вся плавка превращается в речку, тогда продолговатая, похожая на грушу, шишка механически выдавливается из ванны и попадает в первую форму, где и намечаются уже неясные, грубые намеки на бутылку. Форма движется дальше; снизу поднимается толстая игла и продувает дыру в шейке. Дальше форма делает

оборот на сто восемьдесят градусов, и бутылка начинает плясать на столах, подвергаясь по дороге соответствующему давлению воздуха, который и расширяет форму. Из объятий одной формы стекло переходит в объятия другой, с каждым разом все более и более обретая вид настоящей бутылки, а еще через минуту она, красная, летит уже по ленте в печь на закалку.

Части машины действуют точно так же разумно, как и человек».

Свир учился в сельской школе всего две зимы, а когда подрос, батрачил в панских экономиях, потом работал в Луганске на заводе чернорабочим, пока его не забрали в армию, где он служил рядовым. На фронте стал членом партии большевиков, был в Красной гвардии, в Красной Армии, а когда с Украины гнали белополяков, его послали на эту гуту. До сих пор у него не было времени подумать о женитьбе — так неженатым он и приехал сюда. Как и все не очень грамотные люди, он читал вслух, хотя в холодной комнате, кроме него, никого не было. Маленькие серые глаза его засверкали горячими огоньками.

— Да-а-а, — произнес он, потирая закоченевшие руки, — буржуазия умеет зарабатывать копеечку, а нам приходится голыми руками. Эх, если бы сюда такую «линчу»: бросай, мамаша, и нам бутылочку, на советскую республику!

Он снова склонился над книжкой и дочитал страницу:

«За каждую минуту машина «линча» выпускает по пятнадцать бутылок…»

— А у нас что за работа? Слезы, а не работа!

Как-то Свир услышал, что Митрич ругается с сортировщиком.

— Что это вы тут не поделили?

— Привередничает, будто старый режим, — фыркал Митрич. — «Эта кривобокая, эта в прыщах». Нужно же соображать: придется продавать — что же мы выручим?

— Правильно, Митрич, — сказал Свир, — ничего мы не наторгуем за наши бутылки, потому что они никуда не годятся. На холостом ходу работаем.

— То есть как?

— А так, Митрич, поту много, а толку мало.

Митрич почесал седую голову черными пальцами и произнес обескураженно:

— Я хотя технически, можно сказать, и неграмотный, а все-таки в книге вычитал, что мы и до сих пор выдуваем бутылки

точнехонько так, как их выдували когда-то египетские рабы. Получается, что мы хотя и завоевали для рабочих свободу, а от рабского труда еще не избавились.

— Машины нужно ставить, Митрич, да гуту начисто переделывать.

— Да ты так сразу не сверкай. Что значит — машины?

— А сколько же ты своим животом выдуешь?

— Я? Сравнил! Я и тысячу выдую, а вот около меня стоит Ганджуля, так тот и кашляет, и чихает, и, извините, весь даже потом исходит, а больше семисот не выдует. Бешеная работа.

— Вот видишь, а есть такая машина, «линч» называется, так она за день выбрасывает семь тысяч бутылок — одна в одну, — и людей почти совершенно не нужно.

Митрич разинул рот, склонил голову и посмотрел на Свира так, будто перед ним стоял не директор, а какой-то фокусник.

— Семь тысяч, говоришь? А кто же за ней следить будет? Ты не знаешь, как у нас когда-то один выдумал такую форму, которая сама выбрасывала. Ну, выбрасывала, выбрасывала, пока ее самое не выбросили на свалку. Уже ты ни Софрона не переучишь, ни меня. Тридцать лет так вот дуем.

— Переучим, лишь бы только ваше желание, — уверенно ответил Свир, — и в школу, если хочешь, пошлем.

— Нет уж, хватит, мне теперь ближе к Автоному.

Слух о том, что Свир снова что-то затевает, разнесся по всей гуте, как дым. Поговаривали о новых машинах, о перестройке корпусов, но толком обо всем этом никто сказать не мог: Свир находился в столице, а сведения, которые добыл Митрич, были крайне ограниченными и лишь давали простор для фантазии. Комсомольцы радовались. Софрон ругался, а Митрич растерялся.

Из столицы Свир возвратился с инженером. Это был уже немолодой человек, звали его Михаилом Ивановичем.

Митрич тотчас же обратился к нему со своими сомнениями.

— Вы человек образованный, говорят, и раньше работали на гуте. Скажите же, как это будет, если поставят нам машины. Что же тогда будут делать наши стеклодувы? Люди, можно сказать, этим только и живут.

— Люди будут командовать машинами, — ответил инженер, — как вами теперь командует мастер.

— Легко сказать — командовать. Вам-то хорошо, что вас учили с детства, а поставь меня командовать, так я и машину в один миг в гроб загоню.

— Выучишься, лишь бы охота.

Митрич вздохнул.

— Что ж, охота, а вот соответственная ли у меня голова? Или

же взять Софрона. Он тебе на букву глядит, как на вошь. Вот и выучи его.

Комсомолец Васюта Малай, слышавший этот разговор, попросил инженера рассказать о машинах на общем собрании. Инженер согласился.

Митрич стоял растерянно и все еще задумчиво тормошил черными пальцами свою седую бороду, а когда инженер ушел из цеха, он догнал его уже у самых ворот и застенчиво сказал:

— А все-таки, Михаил Иванович, не верится мне, чтобы и у нас такое можно было внедрить. Наука нужна. Видать, не того… не согласятся. Пробовали уже машины.

На собрании Свир, прежде чем начать свое слово, окинул рабочих прищуренными глазами и хитро улыбнулся.

— Я, товарищи, буду за живой вопрос задевать.

— Задевай! Такой ты уж, видать, уродился, — сказал Митрич.

Возле него стоял старый Ганджуля и кучка младших мастеров. Софрон со своей компанией топтался позади.

— Нужно механизировать гуту, товарищи!

— Тут и одной машины негде приткнуть!

— Правильно, Митрич, эта гута отжила уже свое. Раз жизнь пошла на новую линию, значит, и работать нужно по-новому.

— Для тебя уже и этого мало? — крикнул Софрон.

— Мало, товарищ Софрон. И для вас мало. У нас же с вами теперь такое хозяйство! До самого Тихого океана!

Софрон мигнул глазами с красными прожилками, оглянулся на соседей, слыхали ли они? Скажет же такое: «До Тихого океана!» Но люди сосредоточенно обдумывали услышанное. Не найдя, что ответить, он бухнул, лишь бы только за ним было последнее слово:

— Рассказывай!

— Дальше так работать нельзя. Мы же убыточно работаем. Выходит, лишь бы только считалось, что есть гута, а какая польза государству от этого?

— Пускай государство и делает новую гуту.

— Государство поможет, а если мы сознательные, так должны сами взяться. Это же для нас делается, а не для каких-то там капиталистов… Или вы до сих пор этого не понимаете?

Парни, толпившиеся возле Васюты Малая, возбужденно зашумели, замахали руками.

— Правильно, говорит товарищ Свир! — подал голос Малай. — Правильно! О какой жизни мечтали, такую нужно и делать.

— Чтобы снова на паек? — огрызнулся Софрон.

— К этому нам не привыкать, дядька Софрон, а вот как

машина будет за вас работать, так она не один паек заработает.

— Такая, как форма была! Идите куда-нибудь в другое место играть машинами, а мы кормились тем, что выдували, так будем и дальше выдувать.

— Так уж богом сотворено, чтобы хлеб в поте лица зарабатывали, — поддержал его кто-то из толпы.

— Злой ваш бог, — ответил Малай, — не согласен я напрасно пот проливать, когда можно машину заставить. Нужно к чертям разломать этот шалаш!

— Мы скорее вам головы развалим, чем вы гуту. Понаставите машин, они испортятся, вот и смотри тогда на них.

— А я думаю, — сказал Свир, — что тут другая причина. Кое-кто боится, видно, что тогда придется остаться без работы.

— А что ж, верно. Софрон, к примеру, сейчас мастер, и не плохой.

— А получится возле машины, станет еще лучше. Всех переучим, всех до одного.

— Молод ты еще! — уже гневно кричал Софрон. — Раз бельгийцы не могли ничего выдумать, так куда уж нам, голодранцам. Где мы денег столько возьмем?

— Бельгийцам ты и без машины деньги зарабатывал.

— То-то и оно: нет денег, — сиди и не рыпайся!

— Может, еще и магарыч попросить?

— А что ж, бывало, и магарыч ставили. Нам силы не занимать.

— Если эту силу да с умом использовать, так можно не одну, а десять гут переоборудовать, — послышалось от двери.

Все оглянулись. К столу шел Василий Павлович, секретарь окружкома.

— Слышал, слышал, товарищ Софрон, как ты да еще кое-кто строит социализм, — сказал он, оглянувшись, — На бельгийцев за чарку сил не жаль было, а как советская власть дает вам целую гуту, целое государство, так вам лень и пальцем пошевелить? Нет, товарищи, мы должны жить уже не только сегодняшним днем, но и заглядывать вперед. Для того и революцию совершали. Нам было тяжело, пускай детям будет легче. Товарищ Малай правильно ставит вопрос.

Митрич все еще молчал. Он только перешептывался с Ганджулей, но видно было, что Софроновыми разговорчиками он недоволен.

Когда уже все высказались, Свир поставил на голосование два предложения: первое Малая — «Приступить своими силами к перестройке гуты». И второе Софроново — «Считать перестройку гуты преждевременной».

— Только предупреждаю, товарищи, — сказал Свир, — старую гуту, как нерентабельное предприятие, правительство может закрыть…»

Художник, который не мигая смотрел на рукопись, тревожно покосился в мою сторону, и я заметил, как по его лицу пробежали тени, словно от облака. Возможно, в его представлении уже складывалась картина: последняя седая прядь дыма тает на закопченных устах потрескавшихся труб, а тысячи глаз все еще смотрят вверх, как люди перед смертью смотрят на вечерний луч, угасающий для них навсегда.

Под окном затрубил клаксон. Редактор поморщился и сказал:

— Посмотрите, не за нами ли это?

Я выглянул в окно. По каменной улице города наперегонки мчались переполненные пассажирами одутловатые автобусы и легковые машины, а между ними, как обрывки чего-то давно прошедшего и теперь неуместного, еще плутали со своими аляповатыми дрожками извозчики.

По обеим сторонам улицы, словно все время куда-то спеша, по тротуарам нервно и напряженно колыхалась черной бахромой неугомонная толпа. Машина с округлыми никелированными дугами впереди радиатора стояла на той стороне, и шофер, утопая в оленьей дохе, вызывал кого-то механическим нажимом на клаксон. Я сказал об этом Кругу.

— Это не за нами, — ответил он и начал читать дальше: «Как раз в это самое время по телефону сообщили, что на заводы прибывает зарубежная рабочая делегация. Собрание заволновалось, и вопрос был отложен до следующего раза.

Делегация знала уже о героизме рабочих гуты во время гражданской войны и о том, в каком состоянии гута была еще год тому назад, и искренне восторгалась сознательностью и самоотверженностью советских рабочих. Свир решил показать гостям мастерство стеклодувов. Гости, увидев их багрово-синие лица, когда они выдували бутылочки на память, только покачали головами.

— Совет гут, завод не гут, не карош, — сказал один, тоже рабочий.

— Нехороша гута? — переспросил Митрич. — А где ты лучшую возьмешь? Зато у нас советская власть, а у вас капиталистическая.

Гости через переводчика ответили:

— Это правда, советская власть — это очень хорошо, но плохо до сих пор выдувать бутылки животом. Нужно механизировать заводы.

Митрич посмотрел на своих так, будто хотел сказать им: «Слыхали? И эти о том же!» И, видимо, для большей ясности тоже зашепелявил:

— А если наш гут сделает ошень машин, будет дело? Наши хлопцы смогут управлять ими? Я почему вопрошаю, потому как таких машин еще не видел. Только ты, товарищ камерад, не ври, тут тебе не буржуазные капиталисты и эксплуататоры.

— Для чего же нам врать, — ответил тот же рабочий, — нам странно, что вы зря тратите столько энергии.

— Такое наследство оставила нам буржуазия, — сказал Свир, — как говорят, рада бы душа в рай… но не все сразу.

Митрич и даже Софрон от удовлетворения показали им свои беззубые десны и уже заговорили между собой:

— Слыхал, как рубанул? Видно, обиделся, что ученого учат, а со зла человек всегда режет правду-матку.

Потом Митрич подошел словно бы невзначай к Свиру.

— А ты, Петрович, правильно срезал их. Сами знаем, что к доброму плоту нужен добрый кол. Наша гута все-таки не очень гут, как это они говорят. Спору нет, что машинизированные заводы лучше, разве я это не понимаю? Хоть я человек, говорю, технически и неграмотный, но ведь, Петрович, ихний буржуазиат бесплатно этого нам не даст и не покажет. Значит, деньги все-таки нужны, а откуда же их взять сейчас? Вот в чем вопрос!

— Раз нужно, — отвечает Свир, — так и деньги будут. Только нам нужно приложить усилия.

— А я разве что говорю? Только глядите, хлопцы, потому как нам, беззубым, и на сухом кажется мокро, а вам все море по колена.

Когда делегация уезжала, стеклодувы сказали на прощание:

— Приезжайте через год, тогда и посмотрите на наши гуты: гуты будут гут гутами.

— Гут, гут, — ответили делегаты и помахали шляпами.

Вдоволь наговорившись о неожиданных гостях, на гуте продолжали выдувать бутылки по-старому — изо всех сил напрягая легкие. Однако на следующем собрании, как уж Софрон ни кричал, Митрич таки убедил людей, что Свир говорил правду: нужно приступать к перестройке, а Софрон, мол, уже выжил из ума. Васюта Малай был еще более непримиримым, он даже обозвал Софрона гидрой контрреволюции. С этим согласилось большинство стеклодувов, и было принято постановление:

> «Принимая во внимание, что старые формы производства становятся преградой к социализму, приступить к механизации гуты».

— Ну, а теперь, — сказал довольный Свир, — можно и проект новой гуты показать.

— Уже успел? — всплеснул руками удивленный Митрич. — Ну и быстрый же у нас директор. С такими людьми руки сами тянутся к работе. Так вот какая она? С этого бы и начинал; ишь какие окна — как в церкви.

Ознакомившись с проектом, стеклодувы теперь уже сами подгоняли администрацию — поскорее приступать к работе.

Фундамент новой гуты был заложен рядом со старой, и работа закипела; хотя работать приходилось главным образом сверхурочно, трудились все очень охотно, и уже через год стены были выведены под крышу. За это время Свир с группой инженеров успел съездить за границу и закупить необходимые машины. Случилось так, что в тот момент, когда он возвратился, в Донбасс снова приехала делегация рабочих. В окружном профсоюзе гордились первой в их округе народной стройкой и потому гостей снова повезли на гуту.

К тому времени Донбасс уже был похож на эскадру в море. Дым тянулся проводами по голубому небу — до самого горизонта.

Председатель профсоюза, сопровождавший делегацию, подмигнул гостям и с удовлетворением сказал:

— Своими силами, товарищи! Почти голыми руками!

Гости закивали головами. То, что они увидели в дороге не один, а уже десятки дымящихся заводов и оживших терриконов возле шахт, было для них приятной неожиданностью. С таким настроением они прибыли и на гуту. Перед ними стоял почти законченный огромный корпус новостройки, а рабочие, построившие его своими руками, группами собирались на подворье, не скрывая своей гордости. Председатель профсоюза познакомил гостей с директором.

— Я уже рассказывал вам о нем, это наш энтузиаст!

Свир застеснялся, но руки пожимал по-дружески, так, что кое-кто даже приседал. Оказалось, что в составе делегации были и англичане.

— А я недавно был у вас, — сказал, обрадовавшись, Свир. — Знакомился и с вашими гутами. Мы лучшую сделаем. У вас там машины — враги рабочим, а у нас они будут друзьями.

Гости удивленно посмотрели на Свира.

— Не понимаете? Машины будут работать на нас, а не на капиталистов. Увидел я ваших буржуев, правильно их у нас рисуют, — и он показал на плакат.

Гости улыбнулись и закивали головами.

— Чемберлен, Чемберлен!

— И как только вы терпите до сих пор этих пауков? Нам нужно было раздобыть проект «канала Фурко». Ваши же фирмы не хотят торговать с большевиками, но когда услышали, что мы с деньгами, — будьте любезны. «Мы недорого возьмем». — «Сколько?» — спрашиваю. «Пятьдесят тысяч фунтов стерлингов». В переводе на наши деньги это значит — пятьсот тысяч золотом.

— Пятьсот тысяч? — даже присел Митрич. — Полмиллиона? Бога у них нет в душе!

— И не за машину, а только за секрет. Я к инженеру, к техникам, дескать, вы все-таки демократы…

Кое-кто из гостей покраснел, председатель союза незаметно дернул Свира за пиджак. Свир пожал плечами.

— Пускай краснеют, я не дипломат… Может, говорю, помогли бы. Деньги же все равно пойдут не в ваши, а в хозяйские карманы. «Ол райт», кивают головами, значит, все в порядке, плати. Эх, товарищи заграничные рабочие, да у нас бы такого инженера за шкирку да в конверт. Спрашиваю тогда своих инженеров: «А может, мы сами спроектируем? Жаль ведь отдавать этим сэрам полмиллиона рабоче-крестьянских рублей». Инженеры наши подумали, подумали и говорят: «Действительно, жаль народных денег». Видите, товарищи заграничные рабочие, какие у нас инженеры. «Мудреного в этом ничего нет, говорят, можно и спроектировать». Думаю, конечно, спроектируем: четырнадцать держав разбили, а тут, чтобы не осилить какого-то там Фурко. Ну, а уж как спроектируем…

Председатель союза снова дернул Свира за пиджак и, чтобы он случайно не сказал еще чего-нибудь лишнего, потому что гости уже удивленно переглядывались, произнес вслух:

— Может, хотите поближе посмотреть на строительство?

Два гостя, стоявшие все время молча, подошли к колонне и начали ножичком ковырять серый бетон.

— Крепко, крепко! — закричали из толпы. — Для себя строим.

Гости еще постучали кирпичом о кирпич — они издали звук, который обычно издают хорошо выжженные кирпичи, и даже после крепкого удара остались целыми.

— Гох, большевик! — сказал один, улыбнувшись, наконец.

Стеклодувы не могли уже больше выдерживать прилива сладостной гордости и громко выкрикнули:

— Ура!

Гости тоже крикнули:

— Хорош рабочий совет, пожалуйста!

Митрич — за этот год он успел лишиться своего

единственного зуба — подошел к самому молодому гостю, похлопал его по спине и сказал:

— Хорошо, товарищ камерад, значит — гут! Только меньше верьте своим буржуям, тогда еще больше будет гут.

Когда наконец в цехах были установлены новые машины, Митрич, встретив Свира, сказал:

— У тебя, Петрович, не голова, а, скажу я тебе, просто комячейка. Ну, смотри, какие мадамы стоят. И получились же… Ганджуля и жену свою стал уже Линчей называть.

— Вот теперь, Митрич, — сказал Свир, — и работать будет охота!

— А как же, лишь бы только голова была соответственной. Только, детки, видно, уже сами вы будете работать. Я вот съел свой последний зуб, да и подумываю — видно, и посмотреть не придется, как эта мадама за меня будет надуваться.

— Что ты, Митрич, лазаря запел?

— Автоном мне все снится. Зовет…

— Автоном подождет, а ты на октябрьские праздники нам еще машину пустишь, а потом уже и на отдых. А сейчас пойдемка лучше в корпус.

Новые цеха заливал желтый свет осеннего солнца. Оно, словно играя, мигало искорками на медных гвоздиках, на никелированных деталях. В солнечном сиянии круглые машины, как добротные гроздья винограда, сияли около ванн и всеми своими сверкающими винтиками отражались в белых плитках пола. Вокруг них на цыпочках ходили рабочие и любовно и боязливо ощупывали каждый винтик, каждую деталь. Не видно было среди них только рыжего Софрона. Когда он изредка украдкой заглядывал в дверь, молодые хлопцы поворачивались и раздраженно выкрикивали:

— Ну, что, Софрон, будешь нанимать молебны, чтобы на нас мор наслать?

— Может, и нанимаю, подождите, увидим, чем закончится, — огрызался Софрон и удирал, как волк в лес, в старую гуту, которая, как нищенка, стояла еще во дворе.

Митрич смотрел ему вслед и, вздыхая, говорил:

— А вместе нанимались, вместе и поженились. Сорок лет трудились… На кого, для чего? А как стали работать для себя — уже и ума не хватает: чертом посматривает на товарищей, а ведь мы хотим, чтобы и для него лучше было… Эх, видать, он и ум свой в те проклятые бутылки начисто выдул. Тебя, дурака, бельгийцы уже давно бы и рассчитали, а он еще бормочет «чем закончится»!

Ждали октябрьских праздников, чтобы в этот день

торжественно пустить новую гуту. «Партизаны» ежедневно ходили с инженером на выучку и уже смелее подходили к машинам. Васюту Малая, Ганджулю и еще троих послали даже в специальную школу в столицу, а Софрон стал удирать от новой гуты еще дальше.

Он перестал встречаться даже с Митричем, но к октябрьским праздникам тоже готовился: хотя знали все, что Софрон запьет, как и ежегодно, и будет рыдать навзрыд над старой гутой, проклиная те же сорок лет, которые проклинал и Митрич…»

На этом месте редактор Круг остановился и сказал:

— Ну, дальше автор, чтобы не фантазировать, использовал свою корреспонденцию в столичную газету. Может, скажете, Самсон Петрович, что и это еще не факт?

Художник все время сидел, выгнув спину, и нервно скользил верхними зубами по ногтю. На вопрос редактора он откинул голову на спинку кресла и тихо сказал:

— Ну, читайте.

— А что это за корреспонденция? — спросил критик, подходя к столу. — Я с удовольствием послушаю.

В это время в кабинет вошел курьер и, положив перед редактором пакет, сообщил:

— Машина подана!

— Хорошо, — ответил редактор. — Ну, что же, поедем сейчас?

Мы с критиком запротестовали. Оставалось каких-нибудь две страницы, и на этом кончалась рукопись. Художник тоже произнес:

— Тут уже осталось не больше как на пять минут.

— Хорошо, — ответил редактор, — скажите, чтобы машина подождала.

Когда курьер вышел, редактор вынул из конверта четыре красных билетика и, спрятав один из них в свой карман, два передал нам с критиком, а четвертый, искоса посмотрев на художника, положил на стол.

Пока редактор, выпив стакан воды, вытирал губы, художник, барабаня пальцами по столу, между прочим, взял четвертый билет, окинул его скептическим взглядом и лениво начал острым кончиком чистить себе ногти. Круг еле заметно улыбнулся уголками губ и сказал:

— Далее описано одно из заседаний сессии Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета:

«…Необычайный энтузиазм в зале вызвало выступление директора стеклянных заводов товарища Свира (это, товарищи, впечатления корреспондента). Он, стыдливо одергивая

черненький френч, растерянно поднялся на трибуну и, сбиваясь, начал говорить о значении химической промышленности в нашем хозяйстве.

Депутаты, утомленные десятком предыдущих речей, хотя и старались быть внимательными, но распаренный воздух требовал чрезмерных усилий, и в зале начал вспыхивать говорок, отчего докладчик терялся еще больше. Наконец он закончил, так сказать, вступление и перешел к изложению конкретных фактов. Голос его зазвенел уже более твердо и убедительно.

— Неделю назад, товарищи депутаты, — сказал товарищ Свир, — в день октябрьской годовщины, мы торжественно отпраздновали пуск механизированных стеклянных заводов. Товарищи, наши мечты претворились в действительность. Мы уже твердо стали на путь индустриализации. Кто еще вчера мог без дерзости подумать, что на месте ободранных, беззубых, развороченных гут сегодня будут красоваться железобетонные заводы.

Мы можем гордиться этими заводами не только потому, что они не хуже других заводов в Европе, но и потому, что их спроектировали и построили наши советские инженеры, наши донецкие химики, наши украинские рабочие.

Гомон в зале затих. Депутаты начали выше поднимать головы и внимательнее вслушиваться в слова оратора. А он продолжал:

— Если старые гуты были подлинным адом, где все делалось человеческими ногами, руками, легкими и даже зубами, что выжимало из рабочих реки пота, то теперь, товарищи, механизированные заводы смело можно назвать дворцами труда! Сейчас все это делает система машин, а человеку осталось только управлять ими. Человек теперь не раб производства, а его властелин!

Товарищи! Мы не только построили завод, но уже и не нуждаемся в привозе заграничных бутылок — их уже вытеснили наши, советские! И этих бутылок мы теперь будем давать семьдесят миллионов в год! Точно я говорю!

— Ого! — вырвалось у кого-то из депутатов.

Зал засмеялся.

Товарищ Свир удивленно посмотрел на депутатов, ему показалось, что его словам не верят, потому что действительно цифра была неслыханная. Он пожал плечами.

— Я, товарищи депутаты, не вру! Мы тоже сначала не верили, а потом поверили, потому что это факт! Да я вам больше скажу — наша советская бутылка теперь лучше привозной. И этому не верите? Так смотрите!

Товарищ Свир неожиданно выхватил из кармана брюк

бутылку и гордо, как булаву, поднял над головой. Бутылка была обыкновенная — продолговатая, с ровной шейкой и, верно, гладенькая, без единого прыщика, без заметных швов и заусениц. В ее сверкающих боках, как в зеленой воде, отражались трехъярусные люстры, дугами выгнутые окна с тонкими рамами, стройные колонны стиля ампир, красные знамена и разрисованные узорами стены, портреты вождей в золоченых рамах и головы депутатов — весь зал. Создавалось впечатление, что докладчик в подтверждение своих слов сейчас трахнет бутылкой о паркет, но он продолжал смотреть на нее влюбленными глазами…

Тишина длилась не больше одной минуты, потом зал встрепенулся, сотни рук взметнулись над креслами…»

Редактор Круг поднял лист, перевернул его и, хлопнув ладонью, сказал:

— И… на этом повесть кончается. Теперь поедем открывать новую железную дорогу.

Художник неловко поднялся, переломил пальцами спичку и произнес, глядя в окно на крупные буквы вывески ВСНХ:

— Когда вы предполагаете возвратиться?

— Сегодня же, и не позднее восьми часов, — ответил редактор, надевая кепи.

Художник переступил с ноги на ногу и растерянно сказал:

— Тогда разрешите и мне. — И, спрятав красный билет в карман, впереди всех нас направился к машине.

Харьков, 1927, 1951

НА КАЛИНОВОМ МОСТУ (Избранные новеллы)

Перевод Б. Турганова.

КОГДА СНИТСЯ ВУР

У Боровиков была бабка Явдоха. Как-то она проглотила иголку, все страшно переполошились, а бабка только сказала: «Чего вы беспокоитесь? Иголка была маленькая». И умерла с такой блаженной улыбкой, точно иголка в самом деле ничего не стоила.

Василь хвастался этим перед нами, словно у него самого был такой же характер, а на самом деле, когда один раз уховертка щипнула его за язык, он ревел, как бугай. Мне тоже хотелось похвалиться своей бабкой, но она была от природы тихая и с виду неприметная, всего раз только подавилась непропеченным хлебом. Дед Прокоп, чтобы выручить ее, принялся изо всех сил колотить по спине. Бабка хлеб проглотила, но от дедовых кулаков едва не отдала богу душу.

Получилось так оттого, что бабушка Текля подавилась в то самое воскресенье, когда дед был пьян. Впрочем, если подумать, у бабки выбора не было, потому что дед напивался каждое воскресенье, и все из-за портняжки Семена Лакохи. Жил он на Полтавском шляху, как раз у поворота к нам, в Боровиковский переулок.

За неделю дед Прокоп успевал смастерить всего пару колес. В воскресенье он насаживал их на ось и катил перед собой на базар. Отторговавшись, дед заходил в «монопольку», а стояла она у самой гребли, — и хотел бы, да не минуешь, — к тому же тянуло еще монопольщицу повидать. Красивая была молодичка! Звали ее — Пелагея Евгеньевна, но так как дед обычно вспоминал ее тогда уже, когда язык ему слабо повиновался, то и выходила она у него «Пелагеевна».

Дед покупал у Пелагеевны бутылку водки за сорок копеек, и, ежели с ним был Лакоха, они садились тут же в холодке, чтобы не далеко было ходить за второй, и выпивали. Перед ними был широкий пруд, покрытый ряской, возле пруда дремали в два ряда черные кузницы, а за ними зеленая улица подымалась вверх, на Посуньки. Здесь начинался Полтавский шлях.

Если же Лакоха почему-нибудь на базар не приходил, то сидел у своего окна, пока не завидит на дороге лысину и кудри, как у Николы-чудотворца, серебряную бороду, белую сорочку и шаровары, завязанные гашником. Тогда Лакоха кричал сперва деду, а потом в хату:

— Поди сюда, Прокоп, а ты, жинка, неси с погреба огурцы!

Начинало смеркаться. Над широким шляхом розовела пыль, взбитая возами снежковцев, кантакузинцев, а то и гряковчан,

возвращавшихся с базара. Солнце опускалось по ту сторону шляха, и Кузьмовский лес становился сизым, а на Кириковой Сечке вершины деревьев, казалось, тлели на огне. Дед Прокоп, согнутый в дугу, будто что-то разыскивал под ногами, появлялся в нашем кривом переулке и растроганно приговаривал:

— Так-то, милостивый боже… Ой, горе той чайке, сироте убогой, что вывела малых деток над самой дорогой… Петро, когда будет тепло?

Да может ли быть теплее, когда и так я весь в поту, — запряженный в шлейку, брыкаясь, как жеребец Семена Бородатого, церковного старосты, я уже пробежал до самой посуньковской церкви и обратно. Почти две версты без передышки. Яшкó, мой меньшой брат, то и дело подстегивал меня кнутиком по голым икрам, и так, галопом, с криком: «Так-то, милостивый боже», мы влетали во двор. Этими криками подавали сигнал бабусе и нетерпеливо ожидали, когда дед начнет ругаться. Но дома уже был отец, и дед говорил виновато:

— Осип, сынок, ой, горе той чайке…

Отец, высокий, с седой бородкой, сквозь которую просвечивали сухие щеки, улыбнется, бывало, в реденькие усы над губой и дует на блюдечко.

— Садитесь, отец, чаю с нами выпейте.

Но мать уже поджимала губы: ей не терпится напомнить старику, что он и сегодня пропил весь свой недельный заработок. Дед, головой вперед, вваливался на свою половину хаты, где притаилась бабка Текла. Сейчас начнется… Но в эту минуту раздается крик на Боровиковом дворе. Мы перебегаем через улицу, затаив дыхание приникаем к плетню.

— За Василем погнался!

Василь убегал под поветь, Трофим — на левады, а Тихон — за хату. Старый Боровик, похожий на вывернутый из земли пень, тяжело бежал по двору с лопатой в руках и хрипло кричал:

— Душу из тебя выбью, тварь худущая!

Василь и вправду был худ. Душе его было не больше десяти лет, и она со страху, должна быть, уже давно вся в пятки ушла, потому что лопата больше Василя. Из хаты выбежала Химка, похожая на сухоглазую воблу. Мы так и вертимся от нетерпения:

— Сейчас хлобыстнет Боровичку!

Химка верещала на весь переулок. Василь, захваченный под поветью, визжал, как пойманный за ногу поросенок, а Боровик кричал:

— Развратник, бесова душа, это кто разворотил печь?

Летняя печь была в зарослях вишняка за хатой. Круглый день мы швыряли в нее палками.

— Бежим, Яшко!

Мы готовились бежать, но во двор к Боровикам уже степенно шел, с видом праведного судии, наш отец. За ним спешила, чтобы и свое словечко добавить, мать. Боровик успокаивался, а Василь через дырку в плетне уже вылезал к нам на улицу.

— На шлях!

Топаем босыми ногами, так что пыль столбом.

Было воскресенье. По дороге катились арбы и возы. На них, подложив под себя дерюжку, сидели повязанные платками молодицы, краснощекие девки, а мужики в намазанных дегтем сапогах шагали рядом. Им навстречу сверкали золотые купола посуньковской церкви, слышался густой благовест.

Когда на базар ехал один какой-нибудь дядько, он сидел понурясь на передке воза и машинально помахивал кнутиком, не подозревая, что его давно уже высмотрели торговки.

— Что везешь? — вдруг точно бомба разрывается около воза.

Дядько вскидывается, как спросонок:

— Га?

Это «га» не то раздражало торговок, не то воспринималось ими как приглашение начать торговые переговоры, — они тут же залезали на арбу, а заспанные мальчишки хватали под уздечку лошадей.

Арба останавливалась.

— Свят, свят, — не может опомниться дядько, — ты, часом, не спятила?..

— Сколько за яйца? Тут и масло и арбуз? Сколько?

— Пошла к черту с воза! — уже орет мужик.

— За все чохом — тридцать!

На арбу карабкаются еще две растрепанные молодицы с цепкими руками.

— Тридцать пять…

— Тридцать семь…

У мужика одна надежда — на лошадей.

— Но, проклятые!

Но мальчишки впились в них, как клещи, и лошади только прядут ушами.

Вокруг арбы собираются любители происшествий. Нам становится весело, и мы тараторим на все лады:

— Не отдавайте, дядько, не отдавайте. На базаре — сто!

Ведерко уже прыгает из рук в руки, из него сыплются яйца, желтеет от яичницы сено. Разрезанный арбуз уже доедают мальчишки, а торговки бегут к другому возу. С дороги мы сворачиваем в свой переулок и взбираемся на плетень. Сидим, как орлы на медных пятаках.

— А ты свистнешь так, чтоб аж в Харькове было слышно? — спрашивает Василь.

— Еще громче, — отвечаю я. — Аж в Москве…

Свистим. Даже в ушах звенит.

— А ты свистнешь, как Соловей-Разбойник? — спрашиваю уже я.

— Еще громче. Как сто или десять разбойников!

Свистим так, что воробьи шарахаются с деревьев.

Из хаты выходит Боровичка, берет хворостину и хлещет по плечам сперва своего Соловья, а потом нас — Разбойников.

Мы валимся, как спелые яблоки, на землю и бежим вперегонки на глинища.

Моя мать тоже выглядывает в калитку.

— Ишь, голопузые, гоняют. Хоть бы в школу их, что ли? Может, надольше одежи хватило бы.

Боровичка перегибается через тын и зовет:

— Василь, чтоб ты подавился, зараз мне скинь штаны!

Василь прислушивается какое-то время, потом с разгона скатывается в глубокую яму, где брали глину.

Наш отец совсем не знался с водкой. Может, потому и получилась неприятность, когда выдавали замуж Улю, мою старшую сестру. Отец пригласил на свадьбу приказчика Савченко, Сивокоза. Гость был из почетных почетный, а главное, отец забирал в долг у его хозяина пряники для своей торговли. Прочие еще толклись в другой половине хаты, а Сивокоза отец уже зазвал на чистую половину, где на столе, заставленном всяческой снедью, красовалась ветка вишни, налил гостю и себе по чарке, приговаривая: «Ну, счастья нашим детям!» И выпил. А за ним приказчик. Выпив, они уставились друг на друга, выпучив глаза, и сморщились так, точно наступили себе на мозоли. В бутылке была не водка, а уксус. Хотя уксус тоже за спасибо не купишь, но Сивокоз обиделся и, отплевываясь, ушел со свадьбы.

Опечаленный отец укоризненно покачал головой и сказал:

— Ты к нему как к путному, а он тебе, …собачье, еще и нос воротит.

— Да шут с ним, — успокаивала мать. — Жаль только, может, какого рублишка кинул бы на блюдо молодым.

Нам очень хотелось увидеть отца хоть слегка навеселе, — может, и он какую-нибудь штуку выкинул бы, как Боровик. Однажды в доме начался-таки переполох — прибежала Сашиха и шепнула матери, что Осип в корчме. Уля, сестра моя, заворачивала на столе карамель в цветные бумажки, по копейке за десяток, для лавки Браиловского. При таком известии она надкусила целых две карамельки. Мы тоже накинулись было на

лакомство, но схватили по подзатыльнику и дали стрекача на печь — бросаться горячим просом. Иван был среди нас самый старший. Он тесал посреди хаты спицы для колес, но, заслышав такое, тоже отставил топор. Только дед, будто ничего не слыхал, продолжал выдалбливать ступицу. Мать растерялась: такого с отцом еще никогда не бывало. И она забегала по хате, словно ожидала гостей. Наконец накинула на голову теплый платок и через сад побежала к Якову Грубе, который держал придорожную корчму. Мы поприлипали к окнам.

— Идут!

Сердце запрыгало в груди. Отец долго обчищал грязь с сапог, должно быть, стыдился войти в дом. Дед хитро спросил, когда он наконец перешагнул порог:

— Ты не слыхал, сказывают, шинок закрывают?

Отец отвернулся к притолоке и ответил:

— Закрыли. Ходил в понятых, а Грубы и дома нету.

— Хоть по чарке вам поднесли?

Отец не ответил и тут же взялся за ободья.

Яшко на печи вздумал перевернуться через голову, не попал на припечек и скатился прямо на пол, под самый топор. Отец выпрямился и крепко зажмурил глаза. Для нас это была самая страшная минута. Легче было бы, если б он ударил или накричал, но отец никогда не дрался, только замахивался, зажмурив глаза, а матери потом приходилось стирать наши штанишки. Яшко полез обратно на печь и только тогда разревелся.

Разбуженный его писком, щегленок запел в клетке, синичка запорхала по комнате. Мать уже чесала кудель на лавке, сестра заворачивала на столе карамельки. Иван тесал ободья, дед мастерил сани, а отец, как всегда в парусиновом фартуке, у порога набивал на козлах спицы. Возле лавки еще стояла ступа, в которой мы толкли просо. Схватишься за веревочку, свисающую с матицы, и качаешься, как на качелях. Ступа гудит, молот бухает, топор постукивает, а прялка жужжит, и как будто напевает: «Усі гори зеленіють…» Это же мать поет. Уже и Уля выводит: «Тільки одна чорна…»

— Завтра дядько Данило обещал дать тебе новые сапожки разносить, — говорю я брату. Он перестал хныкать.

— Если б насовсем.

— Да он, только чтобы обдурить на базаре: «Чеботки, новые чеботки! Шил на заказ, а они не пришлись!»

Яшко вытягивает что-то из-под проса.

— Смотри, музыка.

Ржавая завеска пронзительно попискивает под его пальцами.

— А мне крестный даст шарф. Он нашел на Буряковой

полный мешок краденого товара. Видел у Степки шарф? Красный, и белый, и желтый. И у меня будет такой…

Но Яшко уже заснул, и голоса в комнате доносятся до меня приглушенно, как из бочки. Я укладываюсь головой наружу, насыпаю на себя горячего проса и сразу чувствую, что лечу над двором. Ухватился за какую-то тряпку и плыву над домом, над клуней, над садом, так что в животе щекотно. Наконец сажусь на землю. Так стремительно, что сразу проснулся. В хате полно солнца, щегленок порхает под потолком и метит белыми крапинками одежу. Подметенный и побрызганный водой пол пахнет землей. В доме тихо — дед вытащил на двор сани, а отец козлы, нет уже и ступы. Теперь будут все лето работать в хлеву. И мы перебрались бы спать в хлев, да еще холодно.

Помост, на котором мы спали, стоял в углу хлева. Сквозь дырочку, проверченную в досках, мы видели все, что делалось в переулке. Ветви ясеней и берестов почти сходились над ним, вдоль тына росла крапива, а на дороге — спорыш. Полная луна плывет над левадой Боровиков, прозрачная, словно тонкая льдинка. Лунный свет пробивается сквозь ветви и желтыми заплатами лежит на дороге, а под самым тыном — черная ночь. Туда страшно глянуть — из темноты сверкают два огонька, а когда они гаснут, мы видим кошку. Она кралась к нашему двору. Следом лениво пробежал какой-то огромный пес, а сбоку мелко перебирала ножками черная тень.

Пес тоже вскочил в наш двор и тоненько затявкал.

— Наш Каштан! — удивляется Яшко. — Разве ночью собаки вырастают?

За Гончаровым садом кто-то громко запел: «У Києві на риночку пив чумак горілочку…» Послышались голоса и в переулке, у колодца. Идут парубки. Вот уже слышен насмешливый голос Калембета. Он расписывал церкви и умел малевать ломти красных, как жар, арбузов, и спелый виноград, и на всякое его слово дивчата отвечали угодливым смехом. В это воскресенье он приходил к Уле. У нее собрались все ее подруги. Мы с Яшком заглядывали в комнату из сеней. Калембет посадил к себе на колени девку и подкидывал ее. Она начала было упираться, но так, что мы с Яшком чуть не лопнули со смеха. А Харитина схватила со стола гитару и принялась дергать струны, только получился совсем не тот звук. Тогда все захохотали, а девка заплакала.

Тихон Боровик, с бельмом на одном глазу, всегда прикидывался дурачком. Вот и сейчас — за стеной кричит:

— Эхма, какая тьма!

Но его никто не слушает. Антон Сердюк уже затянул: «Та

туман яром, та туман яром…» Другие подхватывают — «мороз долиною»… С парубками идут и дивчата. Они тоже поют, и песня прямо звенит в ушах, эхом откликается в левадках. Запели и на дороге: «Разлука ты, разлука, чужая сторона…» На Бульбашевке, на выгоне, кто-то горланил как оглашенный: «Подай, подай перевозу, я перевезуся».

Песни разбудили соловьев. Они отозвались и на леваде, и в садах. За хлевом, на бузине, тоже посвистывал соловей, за мельницей во ржи перекликались перепела, и на весь двор трещали сверчки.

Парубки прошли стеной. В черных чумарках, все они казались могучими, рослыми. Каждый вел свою девушку, они белели возле них косынками, как полевые ромашки возле дуба. В руках у каждой были цветы. Цветами пахло и с грядок у хаты. Букеты ноготков, настурций, чернобровцев стояли в горшочках на подоконниках. От них шел аромат на всю улицу, но еще сильнее пахло любистком, которым посыпали пол. Из сада тянуло сладковатым запахом акаций, и, должно быть, от этого кружилась голова. Казалось, песни пахнут, цветы поют, луна звенит. Но от всего этого так тихо вокруг, что слышно, как по соломинке ползет жук, в конюшне вздыхает лошадь, а где-то далеко на дороге тарахтит телега.

Яшко вялым уже голосом спрашивает:

— Ты кем хочешь быть, когда вырастешь?

— Псаломщиком в церкви, как Микола Петрович. Смотри, какой он толстый.

— А я буду парубком.

Утром в одних рубашонках мы выбегаем на солнце и садимся у стены. Яшко как будто что-то видит и говорит:

— Мне снился Вур.

Я еще про Вура ничего не слыхал. Мне снилась кошка с раскосыми глазами.

— А что такое Вур?

— Без шеи и без головы — один рот. Ну, такой — Вур!

В хлеву отец уже точил ступицу, а дед под берестом строгал ось. Заспанный Иван повел лошадь к колодцу поить. На сизом спорыше лошадь оставляет темную дорожку, розовый дым лезет из трубы, его тень шевелится у самых наших ног.

— Тебе еще приснится Вур?

Яшко мотает головой:

— Я уже буду большой.

Перед глазами пролетела птичка. Такой красивой птички я с тех пор не видал.

ТРИ КОПЕЙКИ

ПЕРВАЯ КОПЕЙКА

В тот день, наверно, счастливее меня в целом мире не было: я нашел копейку!

Ночью перед тем шел сильный дождь. Это я увидел утром, когда выбежал за ворота, — вся трава пригнулась в одну сторону, а колеи были точно языком вылизаны.

Я сел верхом на палочку и поскакал по переулку, делая вид, что объезжаю норовистого коня, — поэтому извивался, становился на дыбы, взбрыкивал задом, бил копытами о землю. Позади, тоже на палочке, подпрыгивал Яшко. Под ним была, должно быть, какая-то кляча, потому что он то и дело подхлестывал себя прутиком и кричал:

— Но, чтоб ты сдох!

Потом начал вертеться на одном месте совершенно так, как наша лошадь, когда ей не хватало силы тащить тяжелый воз.

Вот тогда и блеснуло что-то в колее. Точно вспыхнул фитиль. Я присмотрелся: из подсыхающей земли торчала медная копейка и прямо горела на солнце.

Настоящая копейка!

У меня даже дыхание перехватило: ведь я могу теперь истратить ее, на что захочу, и перед глазами замелькали маковники, бублики, колбасы, сапожки… Яшко тоже оглядел копейку со всех сторон и даже вздохнул:

— Новая! За такую, пожалуй, и самокат можно купить.

Велосипед мы видели только на обложке журнала «Нива», взятого старшим братом из библиотеки. Возле велосипеда стояли двое хорошеньких мальчиков в коротеньких штанишках, белых воротничках и с подстриженными чубчиками. Эта картинка так нам понравилась, что мы ее потихоньку вырезали. Но я думал уже о складном ножике, как у лавочникова сына Прокопа. Ай да ножик! И шило, и пилочка, и то, чем бутылки откупоривают. Прокоп даже подержать никому не дает. Вот такой и я себе куплю. А еще лучше — сапоги, только на них нужно много денег. Со скрипом! Идешь, а они скрип-скрип, скрип-скрип. Все хлопцы за мной бегали бы.

Целый день радость распирала мне грудь, а к вечеру Иван посмотрел на мою находку, уже мокрую от пота, и фыркнул:

— За копейку и селедки не купишь!

До сих пор я не знал, чего мне сильнее хотелось — ножика

или сапог со скрипом, но теперь я понял: больше всего хотелось селедки, а Иван, наверно, от зависти так сказал. Ого, еще какую селедку куплю!

Я побежал в лавку. Она помещалась в низенькой хатке у дороги. На белой стене чернела широко распахнутая дверь, завешанная веревками, щетками, шлеями. У дверей стояли ящики — один с комками белого мела, другой — с ослизлыми комками соли.

В темной лавке вдоль стен тянулись заваленные разным товаром полки — вот катушки ниток, вот мыло, вот пряники, конфеты, лавровый лист, колбаса, вот сало, вот бублики, а на грязном полу стояли кули с мукой, с овсом, бочки с дегтем, с керосином, а между ними — кадушка с серебристыми селедками. Густо пахло прелой мукой, грушевой эссенцией, уксусом, мышами и кошачьим пометом. Даже дышать было трудно, но такого воздуха больше нигде не было, и я вдыхал его полной грудью, особенно запах селедок, хотя те, которые выглядывали из рассола, больше походили на ржавые обручи.

Продавец долго не обращал на меня внимания. Наконец спросил:

— А тебе чего, малый?

— Селедок, — робко ответил я.

— Сколько — пуд, два?

— Мне на копейку!

Продавец вернулся назад за стойку и презрительно кинул:

— Больше не мог украсть?

— Я не крал, я копейку нашел.

— Так беги поищи еще две, тогда я дам тебе такую селедку, что за неделю не съешь.

Мои иллюзии начали меркнуть: маковники и пряники, колбасы и сапоги уже чуть мерцали, но я еще не хотел с ними расставаться.

— А вы на копейку отрежьте.

— Вот я тебя на копейку отрежу. — И взялся за нож.

Насупленные брови, покрытое черной щетиной лицо и без ножа были страшны, и я не стал дожидаться, пока он выйдет из-за стойки, я проворно выбежал на улицу со своей копейкой.

Легко сказать — поищи еще две копейки, словно дождь бывает каждый день. Вот уже с месяц капли не выпало, хотя и ходили в поле с молебном. Да хоть бы и пошел дождь, так теперь Боровиков Василь первым выбежит на улицу. Еще до света. Он и из-под земли добудет.

Мои мечты начали развеиваться, да и копейку надоело прятать. Из золотой она уже стала почему-то рыжей, совсем

черной, как мои пятки, и я закопал ее в саду под вишней.

ВТОРАЯ КОПЕЙКА

Был какой-то праздник, потому что в хате промазали пол, даже положили у порога дерюжку — вытирать ноги. На дворе грязь по самые уши. Пришел дядько Павло с теткой Ориной. Она сухонькая, черненькая, а он как нетесаное бревно. У них был дом под железной крышей, а у нас под соломой, и мы с уважением смотрели на такого гостя. Пожаловал дядько Хома — косматый, широкоплечий и крепкий. Хотя и у него был дом под железной крышей, но от него и от сухой, серой тетки Ульяны несло таким духом, будто в комнату внесли дубильный чан. Третьим пришел дядько Иван с женой Татьяной, и комната наполнилась его крикливым голосом. Жил он в глухом переулке, и хата у него тоже была под соломой, как наша, а подарки приносил лучше всех.

Однажды подарил мне даже красный шарф, когда другие дали только по пирожку.

— Ишь какой у тебя щедрый крестный отец, — с завистью сказал Яшко. — А мой даже пирожка не дал.

Теперь я тоже с нетерпением ожидал, чем одарит меня дядько Иван. Тетка Татьяна дала уже по пригоршне тыквенных семечек, но я не спускал глаз с дяди Ивана. Он, как видно, заметил, усмехнулся, — хотя усмешку трудно было разглядеть за его густой бородой, но у него смеялись еще и круглые глаза, — и протянул мне копейку.

— Подрастешь, — сказал, — хату построишь!

Я поцеловал ему руку и от радости залепетал что-то такое, чего и сам не разобрал.

Если б на дворе не смеркалось уже, я тут же побежал бы в сад и откопал там спрятанную копейку, чтобы полюбоваться на обе вместе. Такого капитала еще ни у кого не было — ни у Яшка, ни у Гальки, моей старшей сестренки, пожалуй, и у Ивана даже, хотя он ходил уже в школу.

— А где ты зарыл свою копейку? — спросил он, когда я похвалился ему своим богатством.

— Под вишней.

— Под какой?

В саду было только две вишни.

— Под крайней.

— Попрощайся со своей копейкой: там отец вчера выкопал яму для золы.

Я почему-то глупо улыбнулся, потом сморщился, как от

хрена, и заревел на весь дом.

Меня не стали успокаивать, просто отец отворил дверь в темные сени и толкнул под зад коленом:

— Остынь там малость, хлопче!

В сенях и вправду холодно, но можно было бы перебежать в другую половину хаты, если б я не обиделся на всех: у меня такое горе, а они еще и посмеялись. Ладно, я решил назло им простудиться. Вот так и буду стоять босиком на полу, пока не умру. Но в комнате почему-то говор затих, слышалось только что-то похожее на блеянье овцы. Любопытство перебороло и обиду, и скорбь по копейке. Размазывая слезы на щеках, я снова тихонько вошел в комнату.

Тут уже горела большая лампа, тетки, как рябые куры на насесте, сидели вдоль стены, а мужчины вокруг стола. Все они были в чумарках, сапоги густо смазаны дегтем, а головы — деревянным маслом. Покрытые оспинами, заросшие волосами лица были строги и торжественны. Перед дядей Павлом лежала раскрытая Библия, он тыкал в нее кривым пальцем и, как бы норовя перепрыгнуть через ров, выкрикивал слоги: «…и ре-ре — ч-че…» Потом с облегчением сводил слоги вместе: «рече-го-го-с… госпо-по-подь… господь…» Тетки набожно перекрестились. Дядько Павло взглянул на них и повысил голос: «из-из-зы-зыд-зыд…» Слово «изыдите» никак ему не давалось, он придавил его пальцем, как блоху, снова вспомнил, как смотрел в Народном доме «кумедию».

— Вот так и на театрах — пык, мык, а не разберешь, что к чему. Вроде и по-нашему балакают, а как в книжке. Только девка как живая, с коромыслом и ведрами, такая алюрная да красивая, как наша учителька.

— То-то тебя и понесло в эту грязь. Старый пес, а туда же, — проговорила тетка Орина, поджав губы.

— О чем же они балакали? — громко, точно не в комнате, а на выгоне, спросил дядька Иван.

— Да мне захотелось спать, так я пошел подремать в тарантасе.

Пока шел разговор о театре, дядько Павло закрыл Библию и тихонько прижал ее локтем. Избавившись от «изыдите», он даже вздохнул облегченно.

— Кабы моя власть, я б этих артистов в плуг запрягал. Больше пользы было бы!

Мы с Яшком сели на кровати рядом, как ласточки на проволоке, и незаметно заснули.

Проснулся я только утром, но уже не в постели, а в горячем просе на печи. Раскрыл глаза, из угла на меня не мигая смотрел

Иисус Христос. И всегда-то он следит за мной глазами. Других икон почти не видно, хотя их полон угол, — утро было хмурое, а оконца в хате узкие.

Иконы напомнили мне вчерашнее чтение Библии, дядю Павла, других дядьев, и я так и подпрыгнул. А где же копейка?

Опрометью соскочил на пол. Посреди комнаты дед, похожий на Николая-угодника, только не в синем уборе, а в штанах с гашником, строгал на козлах обод. Отец тут же тесал спицы. Глиняный пол побелел от стружек, за окнами висел туман, потные стекла плакали.

Я смотрел на всех, ничего не соображая. У печи возилась мать, она спросила:

— Двери не найдешь, что ли?

— Копейка, — захныкал я.

— Он под вишней свою копейку зарыл, — пояснил Иван, одеваясь, чтобы идти в школу, — А отец там яму выкопал. Пропала твоя копейка!

— Нет, вчерашняя копейка! — уже ревел я.

— Вот так всегда, с деньгами поведешься — беды наберешься, — усмехнулся отец.

Все принялись искать. Копейка валялась на полу, возле кровати, где я заснул. Теперь я зажал ее в кулак, так что рука побелела. И снова перед глазами замелькали маковники, бублики, колбасы, и селедки. А когда отыщу и вторую копейку, тогда чего только не накуплю! Но отчетливо ничего представить себе не мог. Может, оттого, что не очень надеялся на первую копейку, хотя она преспокойно лежала в спичечном коробке там, где я ее зарыл, потому что яму отец выкопал под другой вишней, Теперь я и вторую копейку присоединил к первой.

Оставалось добыть еще одну копейку — и тогда сбудется моя мечта.

ТРЕТЬЯ КОПЕЙКА

Днем в колеях журчала талая водица, желтая от конских кизяков, а ночью замерзала. Покрывалась то сизой, то белой пленкой. Ударишь по ней каблуком, лед хрустнет и рассыплется стеклянными брызгами. Хотя посреди двора торчала снежная горка, но снег уже почернел, и только брошенные санки напоминали, что еще недавно мы скатывались на них к самому дому. А то спускались на куске льда, похожем на полную луну. Гур, гур, гур! И вертится во все стороны, поспевай только ноги задирать.

У плетня появились черные проталины, а на колья начали

вылезать, греясь на солнце, божьи коровки, похожие на красные ягодки барбариса. Значит, весна. Наступала она очень быстро: еще вчера лежала ослизлая льдинка, а сегодня на этом месте зеленеет травка.

С каждым днем я все чаще наведывался к вишне, пробовал даже копать, но сверху земля размякла, а копнешь глубже — как кость. Зимой как-то забылось, а теперь снова начал терзать меня вопрос: где же добыть третью копейку? Начал по утрам бегать вдоль дороги, — может, еще уродится копейка, — но щедро родилась трава, а копеек что-то не видно было.

Зеленел уже не только наш переулок, а и выгон, на котором гуси щипали травку. Они забирались даже на огороды, и женщины гоняли их хворостинами.

— Чьи это гуси?

— Боровиковы гуси, — говорил я.

— А что у них, пасти некому?

— Трохим еще в школу ходит.

— Так ты присмотрел бы, ничего ведь не делаешь!

Когда бы Боровик за это что-нибудь давал, а то к чему мне задарма пасти чужих гусей!

И тут я чуть было не подпрыгнул от счастливой мысли.

— Дядя, дядя! — кричал я уже сквозь плетень Боровику. — Хотите, я буду пасти ваших гусей?

— Ну и паси, коли хочешь, — ответил Боровик откуда-то из-за кучи навоза, которая курилась на солнце. Он ездил каждое лето в Ростов за рыбой, и мы считали его богачом.

— А сколько дадите?

— А ты сколько хотел бы?

— Копейку! — Потом немножко подумал и добавил: — А то и две!

— А может — три?

Я не понял его иронии и молчал. А он уже сердито продолжал:

— Больно лакомый на деньги. Я трех копеек, может, и за месяц не заработаю. А гуси и без тебя знают, где пастись.

— Ну, чтоб они у вас подохли! — буркнул я, но так, чтобы Боровик не расслышал.

В небе, как серебряный колокольчик, звенел жаворонок, откликнулась первая кукушка. В другой раз я спросил бы: «Кукушка, кукушка, сколько мне жить?» Но после того как попытка заработать копейку потерпела крах, ничто меня уже не радовало.

— А ты знаешь, где взять копейку, а то и две? — спросил сочувственно Яшко.

Он повел меня за хлевушок, боязливо огляделся по сторонам и тихонько сказал:

— Выпроси!

— У кого выпросить, где?

Яшко снова оглянулся.

— Под церковью!

И, должно быть, сообразив, что предлагает мне какую-то пакость, испугался и удрал за ворота.

Под церковью, с протянутой рукой, стояли нищие — кривые, слепые, безносые. Мы иногда играли в нищих: «Подайте копеечку Христа ради!», но ведь это была только забава. Как ему не стыдно предлагать такое. Вот бы мать узнала! Она ему покажет, как попрошайничать. Дурень!

Но мысль, зароненная Яшком, все чаще приходила мне в голову. Возле нашей церкви просить, конечно, опасно, могут узнать. К другим церквам — их было в городе целых пять — мы дороги не знали. Но можно попробовать выпросить у кого-нибудь.

В начале лета в Валках открывалась ярмарка. Больший праздник трудно себе представить. Еще за несколько дней до этого мать начинала готовить квас. Мы полоскали бутылки, потом помогали разливать в них рыжий квас, закупоривали особой забивачкой, похожей на маленькую дыню, — насквозь дырка, чуть поуже в одном конце, а сбоку прорезано отверстие. Вставишь распаренную пробку в это отверстие, потом сверху шкворнем — раз! И пробка уже в бутылке. Только пузырьки воды сверху лопаются. Когда квас, перебродив, начинал стрелять, его выносили на лед.

Через день-другой отец ставил на базарной площади парусиновую палатку, а в субботу начиналась торговля. Мать продавала квас по три копейки бутылка. Крепкий, прямо в пятки ударяет!

Такими временными палатками была заставлена вся базарная площадь. В одном ряду торговали пряниками, конфетами, паляницами, бубликами, в другом — мануфактурой, галантереей, шапками, картузами, а прямо на земле тянулись ряды с молоком, сметаной, картошкой, свеклой — всем, без чего хозяйка не сварит обеда. Там, где бабы кричали охрипшими голосами: «Сластены, сластены!», несло подгоревшим маслом, чуть подальше ржали лошади, мычали коровы, верещали поросята, привязанные за ноги, а им вторили шарманки: «Разлука ты, разлука, чужая сторона…»

Прямо перед нашей палаткой кружком сидели в пыли слепые лирники, крутили свои лиры и пели Лазаря. Возле них останавливались жалостливые женщины и кидали в шапки,

лежавшие на земле, подаяние — то кусок хлеба, то медяк. Тут же стояли в ряд нищие с поводырями в длинных холщовых штанах на одной шлейке и канючили милостыню у прохожих. Им тоже клали в протянутые руки.

Я смотрел на нищих с завистью: сколько они за день насобирают денег! Наконец решился и сам. Отбежал чуть подальше от нашей палатки, высмотрел какого-то барина в белой фуражке с кокардой и с дамой под руку и робко проговорил, подражая нищим:

— Подайте милостыньку!..

Дама, подхватив одной рукой длинную юбку, сокрушенно покачала головой:

— Сколько этих попрошаек развелось!

— И еще больше будет, — ответил ее спутник. — Мотают денежки по заграницам! — И почему-то сердито поглядел на меня.

Я испугался и шмыгнул в толпу. Меня дама назвала попрошайкой, нищим. Стало так стыдно, что даже слезы выступили на глазах.

Ярмарка продолжалась два дня, но после этого случая она утратила для меня всю свою привлекательность. А может, я просто устал от непрестанного шума, новых впечатлений и пыли, которая лезла в нос. Она оседала только ночью, прибитая росой, а тогда в воздухе приятно пахло влажной землей.

В саду уже начали поспевать груши, а у меня все еще было только две копейки. Мне казалось, что я испробовал все, что только можно было. Разве еще раз попытаться заработать, хотя и на это мало надежды. Но, наверно, так уж повелось, что счастье приходит в последнюю минуту.

За выгоном был овражек, а за овражком — ветряная мельница. Мы часто бегали туда — посмотреть с ветряка, что делается вокруг: нас манили левады, среди которых проступали белые хатки. Из города выползал широкий большак и прятался в зеленом хуторе. За большаком зеленели холмы, на них тоже раскинулись левады.

По воскресеньям с большака долетали грустные песни. Пели их пьяными голосами те, кто возвращался с базара. От их песен становилось так тоскливо, что даже за сердце брало. Должно быть, оттого и я невзлюбил воскресенья и прочие праздники. Лучше всего — канун праздника. С большака доносятся тогда совсем другие песни. Слышно, как поют парубки и дивчата:

Ой на горі тай женці жнуть,
А попід горою,

Попід зелено́ю
Козаки йдуть… Гей…

И кажется, будто ты летишь без крыльев, только небо да необозримые степи… Гей… Долиною, гей… Но вот ударил бубен, заныли струны… Ого, уже там пыль столбом стоит!

Мы с Яшком лежим на помосте в хлеву, затаив дыханье, и прислушиваемся, а за стеной насвистывают соловьи, трещат сверчки. Мы никогда не могли дождаться, чтобы они замолкли, — засыпали.

В овражке всегда паслись гуси, но на этот раз дядько Иван посеял там просо. Уродилось густое и зеленое, а когда выбросило метелки, точно дымом покрылось. Чтобы его не расклевывали воробьи, дядько Иван поставил чучело, похожее на него самого, — низенькое, круглое, с кривыми ногами, — но воробьи его не боялись, и, когда бы мы ни прибегали к ветряку, птицы вспархивали над просом и садились на крылья ветряка. Дядько Иван чесал в затылке и сердито кричал:

— Киш, чтоб вы издохли!

Воробьи чуть взлетали над ветряком и тут же опускались назад, терпеливо дожидаясь, пока уйдет это живое чучело.

— Ты бы, Петько, гонял мне воробьев, — говорит дядько Иван.

Я виновато улыбаюсь: ведь это не мои воробьи причиняют ему ущерб.

— Будешь? Я тебе копейку дам!

Я думал, что дядя шутит, но он даже не улыбнулся. От неожиданности на меня прямо икота напала. Получу сейчас копейку, достану из тайничка еще две — и уже сегодня у меня будет селедка!

Дядько Иван почему-то не спешит. Я смотрю на него вопросительно и тревожно. Наконец он дает мне, но не копейку, а длинную хворостину и говорит:

— Почаще их пугай, тогда и заработаешь копейку.

Чтобы показать, на что я способен, я тут же так засвистел, так завизжал по-поросячьи на воробьев, что они поднялись живой тучкой и куда-то полетели, лишь бы не слышать моего поросячьего визга, лая и свиста.

Я начал бегать на просо по нескольку раз в день, даже тогда, когда соседские хлопцы принимались за свои игры. Яшко сперва охотно бегал со мной, но, когда прошла неделя и вторая, а просо все еще соблазняло воробьев, начал уклоняться от такого монотонного развлечения. Я пообещал и ему кусочек селедки, и

мы снова гоняли воробьев вдвоем, и то и втроем: Гальке тоже хотелось полакомиться селедкой, и она этим зарабатывала маленький кусочек.

— Хоть такусенький. — И показала кончик своего мизинца.

Время от времени я наведывался в лавку, проверить, не распроданы ли селедки. Кадушка, как и прошлым летом, стояла возле дегтя, и в ней серебрились густо уложенные в ряд рыбы.

Однажды, когда мы прибежали в овражек, на месте проса желтела только стерня. Даже снопов уже не было. «А копейка?» — первое, что я подумал. На это никто не мог ответить — ни гуси, которые разгуливали уже по стерне, ни воробьи, — они поглядывали на меня искоса, ожидая, когда я начну кричать. Но я больше не кричал.

Через несколько дней был Спас — день, когда святят возле церкви яблоки, и только после этого можно их есть. Но мы не дожидались, пока их освятят, а потихоньку ели и до этого. У самой дорожки в парильню, где дед гнул ободья, росла старая яблоня, на ней родились красные, полосатые яблоки. Мы давно уже их посбивали, а сослались на бурю.

— А куда же девались яблоки? — удивлялся отец.

— Поросята поели, поросята! — в один голос завопили мы, с животами, еще набитыми этими яблоками.

Возвращаясь из церкви, зашел дядько Иван с теткой Татьяной, она оделила нас свяченными яблоками. Но я ожидал копейки и смотрел на дядю так выразительно, что он наконец вынул кошелек.

— Хочешь расчет получить, Петько?

Я не удержался и быстрее, чем нужно, кивнул головой.

— На, парень, честно заработал!

Я был уверен, что заработал не одну только, а может быть, две, а то и три копейки. Но дядько Иван заплатил точно по условию — одну.

Спустя минуту я с тремя копейками бежал в лавку. Время было послеобеденное, и пьяные голоса наполняли воздух надсадными криками. В таком же состоянии возвращался домой и мой дед.

— Так-то, милостивый боже… Горе той чайке, горе той убогой, что вывела малых деток над самой дорогой. Петро, когда будет тепло?.. — Больше ни на что он уже не был способен и потащился дальше, опустив руки почти до земли.

Однажды отец напоил деда чаем. Должно быть, он пил его впервые, потому что чересчур смаковал, причмокивал губами и хвалил. Мы, малыши, смотрели деду в рот и откровенно радовались: теперь дедусь вместо водки начнет пить чай!

Но он снова шел по переулку, согнутый в дугу, и всхлипывал совсем не от чая:

— Ой, горе той чайке… Петро, когда будет тепло?

— Идите уже! — насупясь, ответил я и еще быстрее побежал к лавке.

Лавка была заперта. Из окна ее вырывались пьяные голоса, но я все-таки постучался. Никто не ответил.

Возвращался я домой грустный. На углу нашего переулка стояла кучка мальчишек, голова к голове. Я миновал бы их, если б они не выкрикивали что-то так азартно, и это меня соблазнило. Лавочников Прокоп кричал:

— Ну, угадывайте, орел или решка?

Одни кричали «орел», другие — «решка». Прокоп как-то по-особенному подкинул вверх пятак, все чуть расступились, и медяк упал на голую землю. Головы, как по команде, нагнулись вниз и закричали:

— Орел, орел… Я угадал, я угадал!.. Еще кидай!

— Расчету нет, — возражает Прокоп, — давайте на деньги играть. Угадал — выиграл, не угадал — проиграл. По пятаку, а?

Хлопцы виновато сморщились.

— Если б на пуговицы.

— Ну, по три копейки. Ну, по копейке, а?

Хлопчики переступали с ноги на ногу, но молчали.

А что, если мне повезет, и я выиграю еще три копейки? На большее я не надеялся. Ведь это сколько будет денег? Холодный пот выступил на лбу. То, что я могу и проиграть все свои три копейки, мне и в голову не приходило.

— Давай! — сказал я, загоревшись.

— А чем ты будешь платить?

Я раскрыл кулак, у Прокопа заблестели глаза.

— Давай! По три или по копейке?

Я смутился, но в эту самую минуту из соседней хаты выбежала растерзанная женщина и закричала:

— Спасите, люди добрые, убивают!

Следом из дверей вывалился с искаженным лицом, растрепанный, косматый, с топором в руках, Степан Калитка. Мы знали, что он дерет кожу с дохлых лошадей, а это делало его в наших глазах еще страшнее. Мы кинулись к плетню и припали к щелям. Женщина выбежала на улицу, а Калитка, пошатываясь, вышел на середину двора, икнул и начал чесать волосатую грудь, как медведь лапой.

— Убью! — снова икнул, еще сильнее скривился, ударил ногой щенка, который вздумал ласться к нему, и поворотил назад.

Ярко-красное солнце садилось уже за Кирикову Сечку. Спускался удушливый вечер, и я почувствовал ту тоску, которая обычно давила меня по праздникам. Не хотелось уже ни выигрывать, ни проигрывать. Я поплелся домой, нарочно взбивая босыми ногами пыль.

Нет ничего хуже, когда приснится веселое. Ночью-то хорошо, а встанешь — и ожидай какой-нибудь неприятности. Снилось мне, что старшая моя сестра Уля выходит замуж. Справляли свадьбу, и стол был сплошь заставлен пирогами с печенкой, холодцами, как бы присыпанными снегом, селедками в масле, а над тарелками стояли бутылки, но не прозрачные, в каких продавали водку, а темные, будто с квасом. Уже не припомню, то ли меня кто-то угостил водкой, хотя людей почему-то не было видно, то ли я опьянел от новых сапожек, от новой рубашки, от музыки. Знаю только, что выбежал во двор в одной рубашонке, а было уже холодно, и начал плясать. Ну точно так, как прыгает воробушек по земле. Как же не плясать, когда изо всех окон свет падает на самую середину двора, а двор полон телег, лошадей…

Проснулся я от пронзительного визга, но это визжала уже не скрипка, а пила, которую точил отец. Потом пилу и топор он понес на телегу и засунул под сено.

— Куда вы, батько?

Отец насупился:

— Не кудыкай, а то закудыкаешь!

— И я с вами.

Яшко, еще не раскрыв глаз, тоже запищал:

— И я, и я!..

Отец собирался ехать на хутор к тетке Домахе. Статная, рослая и пригожая тетка Домаха служила там у помещика Безобразова в работницах, а потом стала его невенчанной женой. У Безобразова была небольшая усадьба, и все хозяйство он переложил на тетку Домаху, а сам жил лето и зиму в городе, где у него был свой дом. Ни с кем из родичей тети Домахи не водился, а если кто придет, прятался на задворках. Мы видели, что другие тетки завидуют тете Домахе, хотя она почему-то чувствовала себя перед ними виноватой.

Отец ехал на хутор добыть береста на ступицы для колес. Самое лучшее дерево: волокна у береста свиты так, что ступица никогда не треснет. Ободья из него тоже выходят крепкие, а вот для спиц нужно, чтобы волокна древесины не мешали раскалывать колоду на ровные бруски. Для этого лучше всего пригоден ясень. И строгать легко, и от рашпиля не ершится.

Когда мы выехали за хутор Водопой, хорошо видный с ветряка, перед глазами начала разворачиваться степь. Разве что

где-нибудь вдалеке, над жнивьем, зазеленеет хуторок или помещичья усадьба. Я уже знал, что справа зеленеет экономия помещика Яхонтова. Это был великий пан, главный над панами в нашем городе. Как-то я видел его — ехал в город в блестящем фаэтоне и сам так и блестел, особенно его белая борода. Дальше начиналась экономия пани Задонской, но нам нужно было сворачивать с широкого большака на проселочную дорогу к хутору. При дороге — колодец. Отец начал поить лошадь.

— И я хочу!

— Она поганая, зацвела даже.

Но я продолжал ныть, пока отец не сказал:

— Ну на, да не пей много!

Вода в самом деле была плохая, но я надулся ее так, что даже живот под рубашкой вспучило.

Едем дальше. Кое-где пашут на зябь, за плугами летают грачи и выклевывают червяков из вывернутых влажных комьев. Кое-где еще торчат копны. Значит, хозяин не допросится у соседей лошадей, чтобы свезти считанные снопы. Их уже сверху расклевали воробьи, а снизу погрызли мыши. У меня урчит в животе, потом начинает болеть. Я вытягиваюсь на сене — болит, поджимаю колени — еще сильнее.

Пока доехали до хутора, я только и делал, что соскакивал с воза и отбегал от дороги, но боль не утихала.

На хуторе отец поздоровался с сестрой не с радостью, а с тревогой:

— Нет ли у тебя чего от живота малому?

— Это Петько? Видно, воды напился из степной криницы?

— На черта вы ее держите? Только людей травите! — сердился отец.

— А в жнива где коня напоишь? Пригодится! Я сейчас…

Отвар из скорлупы грецких орехов хоть и горек, но живот болеть перестал, и уже можно было осмотреться — куда мы приехали. Усадьба, казалось, доживала свой век: крыши на строениях поросли зеленым мхом, плетни в крапиве покосились, от ворот остались одни вереи, только за домом шумели высокие деревья да под окнами цвели мальвы, настурции, ноготки.

Когда мы с отцом вошли в комнату, двое моих двоюродных братьев и сестренка, завидев чужих, опрометью кинулись под стол, под кровать и не вылезали оттуда, как их ни кликали, пока мы не уехали с хутора.

И только теперь я вспомнил про селедку.

Едва мы подъехали к своему двору, я спрыгнул с воза и помчался в лавку.

Еще с порога крикнул:

— На все три копейки!

— Чего? — равнодушно спросил небритый лавочник.

— Селедки!

— А «здравствуй» твое где? Дома забыл?

Я смутился и уже тише сказал:

— Здравствуйте. Селедку…

Я думал, что он снова спросит: «Пуд, два?» Но лавочник молча завернул в бумагу селедку и ткнул мне:

— На, да знай мою доброту!

Возвращался я домой вприпрыжку и то и дело облизывал хвост селедки, который прямо искрился от соли. Мне уже стало жалко, что я пообещал дать по кусочку Яшку и Гальке. Словно они тоже заработали! Начал думать, как бы их обдурить, тогда бы я наелся на всю неделю, а может, и на год.

Во дворе не видно было никого. Я тихонько прокрался в подклеть, забрался в угол и начал лакомиться. Пробовал чистить, но селедка была такая сухая, что я насилу содрал с нее кожицу. Соль сыпалась на пол, как снег. Откусил разок, второй и чувствую, что от соли у меня прямо скулы сводит. Но пересиливаю себя, а для бодрости приговариваю, как слышал когда-то за столом: «Ешьте, очи, хоть повылазьте, — видели, что покупали!» И в это время чувствую, как кто-то хлестнул меня по плечам кнутом. Я вскочил. Позади стоял отец, дальше — Яшко, а под телегой сидела на корточках Галька.

Это, значит, Яшко и Галька прибежали за селедкой. Они думают, что я жадина, а я, может, потому и не поделился с ними, что это была не селедка, а какая-то засоленная щепка. А меня еще и кнутом. За что?

— Лишь бы только самому нажраться! — приговаривал отец, нацеливаясь еще раз вытянуть меня кнутом.

— Вы бы попробовали сами ее съесть! — Меня охватила злость: как будто легко было насобирать целых три копейки, как будто легко съесть такую селедку, что у меня все руки прямо побелели от соли, — и я заревел на весь двор. Мне стало жалко себя. Я начал растирать слезы кулачками и почувствовал, как в глаза попала соль, забралась и в царапины на щеках. Я принялся кричать. Даже отец испугался:

— Беги, дурень, промой глаза!

За слезами я уже не видел дороги, и отец повел меня за руку к дому. Возле телеги хныкала Галька. Яшко тоже шмыгал носом. Должно быть, им было жаль меня, а может быть, селедки, от которой остались одни косточки да сухой хвост.

ТРОПИНКА В ГОРОД

За садом, у дороги, было глинище. В летнее время там по целым дням бегала с криком детвора, прыгая в желтую яму, где обычно валялась дохлая кошка или собака. На зеленеющих пригорках паслись овцы, белые гуси щипали траву, а свинья рыла мордой землю.

Иногда на глинищах располагались табором цыгане, тогда детвора становилась в отдалении голопузой стеной и, засунув в рот пальцы, счастливо наблюдала, как цыгане возятся в своих дырявых шатрах.

Глинище одним краем выходило на Полтавский шлях. В дальнем углу стоял на кочке почернелый столбик с зарубкой сбоку. Здесь кончался город Валки, и дальше шел уже общественный выгон с хлебными амбарами. За выгоном махал крылом Болюбашев ветряк, а там, вплоть до Водопоя, было поле. Здесь в хлебах всегда перекликались перепела.

Чтобы быть псаломщиком, нужно уметь читать. Отец охотно учил нас, только заставлял водить по буквам не пальцем, а указкой, выструганной из ясеневой щепки. Когда я уже читал букварь, на выгоне начали рыть канавы и укладывать в них кирпич. На красном фундаменте выросла беленькая школа, огражденная от дороги штакетником. Над воротами высилась дуга с прорезанными посредине цифрами — «1898».

Хотя Галька была старше меня на целых два года, а Сердюков Антон уже был парубком, нас всех записали в первый класс. В каждом классе стены были густо увешаны цветными картинками. Мне больше всего понравилась картинка с бородатым Авраамом. Если бы ангел не схватил его за руку, он заколол бы Исаака, который уже и не сопротивлялся. На всех картинках люди были в цветных одеяниях и в кожаных сандалиях, а по Боровиковскому переулку осенью не пройдешь даже в юфтевых сапогах, лучше обходить огородами, если кому нужно в город, а то и в церковь.

Во втором классе висела карта, на ней между рыжими землями с синими прожилками, совсем такими, как на руках у нашей бабуси, как бы плавали в воде большие буквы. Когда эти буквы складывали вместе, выходило «Атлантический океан». Павло Пересада, из Гонтова Яра, однажды сказал на уроке «акиан». Мы захохотали, а учитель, Павел Григорьевич, даже похвалил его:

— Он правильно говорит. Так и нужно по-русски выговаривать: «акиан», чтобы «а» слышалось. Повтори, Тупица.

Марко Тупица, из Бабырки, засопел, вырос над партой чуть не

до потолка и с натугой сказал:

— Атлантический акеян!

— Сам ты — окаянный. Сядь!

С попом Слюсаревым Марку пришлось еще горше. Он на уроке «закона божьего» прочитал в книжке: «Мытарь вынул кошелек…»

— Ну, довольно, — говорит поп, — теперь повтори, что ты прочитал.

— Мытарь вынул… кошелку.

— Кошелек, — поправил Слюсарев.

— Вынул… ко… кошелку, — повторил Марко.

— Кошелек, — уже сердится поп.

— Ко-ко-кошелку, — сквозь слезы снова говорит Марко.

Слюсарев ударил его по голове линейкой.

— Что это, ирод? — И сует ему под нос свой кошелек. Марко уже заревел, как бугай:

— Гаманец![13]

Поп плюнул и ушел из класса.

За окнами выгон курился под солнцем, желтел уже козлобородник, зеленели кустики паслена, пробивался спорыш. В Нестеровой леваде белел терн, а на дубках громко кричали иволги. Там, верно, вся поляна синеет пролесками, между ними выглядывают мохнатые лесные фиалки, розовый медок, покачиваются на сизых стеблях алые головки анемонов, а по насыпи рва уже желтеют тюльпаны. Но после уроков еще нужно идти копать ямки для школьного сада.

Учитель Павел Григорьевич с первых же дней решил завести при школе большой сад. Деревья привозили из-под самого Харькова, а сажать их должны были школьники. Уже от большака была высажена широкая аллея тополей, а под ними — держидерево. За хлебными амбарами, на открытом месте, посадили несколько кустов винограда, а еще дальше сделали перевалы для питомника. Вокруг всего сада насадили неведомое до этих пор у нас дерево — «маслину». Учитель такое же точно дерево показывал школьникам на картинке, где Иисус Христос едет на осле.

— Потому называется еще «иерусалимской вербой», — пояснил он.

Но на вербу оно совсем не похоже, у него сизые листочки, а ветки снабжены такими колючками, что, когда кусты поднялись выше плетня, ни одна корова не могла продраться в сад. Второе неизвестное в Валках дерево было «тутовое», или «шелковица», с крупными листьями. Этими листьями учитель откармливал шелковичных червей. Мы с Яшком тоже посадили у себя

шелковицу и выкормили на подоконнике целых три червя, а потом кинули им мятой бумаги. Зеленые гусеницы залезли туда и начали обматывать себя паутинкой, пока совсем не спрятались в розовый кокон.

Такие коконы учитель собирал и отправлял прямо в Москву, на фабрику.

Ученики еще продолжали сажать новые деревья, а беленькая школа уже выглядывала из зеленого венка. Вокруг были проложены и посыпаны песком дорожки, канавки под деревьями протянулись по шнурку, в кольце из синих цветов стояло несколько ульев, и над ними переливались золотом пчелы. Тут же стоял на белой лесенке дождемер.

Ученики приходили теперь в школу, как в церковь, а когда учитель намечал очередную работу в саду, все только этого и ждали: тут были незнакомые породы яблонь, вишен, слив, по обочинам дорожек полоски шелковой травы, за ней — ленты цветов, таких, что глаза разбегались, а от запахов дух захватывало.

Под окнами школы зеленели густые кусты. Только протяни руку, и можно играть кистями сирени или белоснежным жасмином. Учительница сердито захлопывает окно и собирает с парт тетради с диктантами.

— Тупица Марк! Почему ты везде пишешь простое «е»?

Марко делает удивленные глаза:

— Ей-богу, Глафира Семеновна, пишу «ять», а выходит «е»!

— Пересядь на другую парту. Это у тебя от сирени туман в голове.

Марко с глупой улыбкой садится на свое место. Учительница вспыхивает:

— Останешься без обеда.

И выбегает из класса.

Но когда окончились уроки, Тупица бросает в сумку книгу для чтения «Наше родное» (мы, не понимая, что это значит, выговаривали слитно — «Нашеродное») и направляется к выходу. Завшколой загораживает ему дорогу.

— Останься без обеда! — говорит он хмуро.

Тупица молча идет дальше. Завшколой берет его за плечи и бесцеремонно поворачивает назад, но Тупица упирается. Учитель краснеет от злости, сгребает его уже двумя руками. Марко молча берет завшколой за лацканы, и они вдвоем катятся на пол. Мы в дверях виновато хлопаем глазами. Наконец учитель посадил-таки Тупицу за парту, а чтобы он не удрал, запер класс. Марко Тупица просидел в пустом классе до вечера, а вечер этот был необычный.

Мы играли на улице в «клёка». Ставили в город клинышек и

от лунки швыряли в него палками. Если ты сбил клинышек, нужно поднять свою палку и бежать назад, наперегонки с тем, кто подхватил и снова поставил в город клинышек. Кто первым воткнул палку в лунку, тот бьет снова, а кто опоздал — идет ставить клинышек.

Вечерело, сиреневые сумерки обволакивали переулок, за ветряком небо сделалось оранжевым, а взбитая на улице пыль была розовая, как малина с молоком. К отцу пришел Карпо, муж Ули. Он был чем-то озабочен, говорил шепотом и часто выглядывал на улицу, а там начали сходиться люди со всех дворов и все тоже о чем-то тревожно перешептывались. Мы бросили играть и забегали между взрослыми. На детей никто не обращал внимания, и мы тут же узнали, что мужики взялись за господские имения. Будто бы сам великий князь Михаил, наследник царя, ездит на белом коне и велит разбивать помещичьи усадьбы. В эту ночь собирались идти в Кантакузовку, в имение пана Яхонтова.

Когда мы встали утром, и выбежали погреться на солнце, Иван уже показывал один дубовый подлокотник с головой льва от какого-то кресла, книжку, очень мелкой печати, и круглую рамку с фотографией какой-то важной барыни. Мы с Яшком выбежали на большак. Учитель Павел Григорьевич сидел на скамейке перед школой и укоризненно покачивал головой. В этот день в школе не было занятий. В воздухе стояла серебряная мгла, солнце тоже скрылось за мглой. Стало тоскливо, может быть, оттого, что взрослые тоже ходили понурясь.

Вечером снова пришел Карпо, еще более взволнованный; он уже прослышал, что наехала карательная экспедиция харьковского генерал-губернатора Оболенского и казаки бьют всех, кто разбивал панские усадьбы. Степана Яловенко за то, что не скинул шапки перед губернатором, избили на дороге, и он, видно, помрет. Семен Воловик взял с сахарного завода только мешок сахару на пряники, которыми торговал на базаре, но Семен больше уже не будет торговать, — сахар высыпал в колодец, а сам пошел на огороды и утопился во рву. Вода была только на три пальца выше рта. Мы побежали пить сладкую воду. Люди уже кончали вычерпывать тот колодец. Никто не плакал. Наоборот, смеялись, потому что Максим Груба принес из панских покоев бюст какого-то генерала, а прослышав о казаках, кинул его в нужник. Теперь весь день сидит там с шестом и прямо плачет: никак не может затолкать генерала в помои — все вылезает.

Карпо тоже ходил в усадьбу и принес одно одеяло. Он уже зарыл его в землю, а сверху посадил сливу, но казаки шарят повсюду.

— Может, назад отнести?

Отец, нахмурив брови, молчал.

— Сказывают, вокруг усадьбы уже целый вал вырос из плугов, из борон. Во дворе управитель берет всех на заметку, так они прямо в поле сбрасывают.

— Черт знает что, — буркнул наконец отец, — ударили, да не перерубили! Теперь нашивайте, хлопцы, на задницу лубки.

Конные стражники в тот же вечер начали целыми толпами гнать людей в тюрьму, которая белела на Сенном базаре.

Василь поставил в город клинышек, я повалил деревяшку ногой и заплакал.

— Не хочу больше играть.

В школе было два класса по два отделения. В таблице умножения дважды два составляло четыре, но у меня вышло пять. Не помогли и пряники, которые отец принес перед выпускными экзаменами учителю. А ведь какие вкусные — белые «мятные», «шоколадные» и крохотные «гербики».

— Хороший у тебя отец, — сказал учитель, надкусывая мятный пряник. — А ты лодырь. Посидишь еще год.

— Если б не маленькие дроби. Ведь целые числа я правильно складываю.

— На следующий год и с дробями справишься, — возразил учитель.

Принесенное наконец свидетельство об окончании школы отец оправил в рамку и повесил на стене.

— Теперь с осени пойдешь в городское училище.

Отец глядел куда-то вперед и улыбался про себя.

В центре города, напротив собора, стоял под тополями низенький домик с широким окном посередине. На переменках из двора выбегали ученики в серых блузах, подпоясанных ремнями с серебристыми бляхами. На бляхах и на фуражках стояли две буквы: «Г. У.». Ученики из посуньковской школы мучительно завидовали этим ученикам, их красивой форме и тому, что они учились в высшем начальном училище. Из него можно было поступить в гимназию или в реальное училище. Тех, кто закончил посуньковскую школу, в городском училище брали в четвертый класс.

Услышав от отца, что я буду учиться там, я вприпрыжку выбежал на улицу. Теперь я буду гимназистом, могу даже стать учителем, не только псаломщиком. В школе у меня будет уютно, ученики по целым дням будут сажать деревья и цветы, разведем пчел, у каждого класса будет своя пасека, свой огород, будем устраивать выставки. Все село будет приходить смотреть, и ни одного лодыря не будет в школе… Я еще что-нибудь придумал

бы, но уже очутился за калиткой. Хлопцы на улице играли в бабки. Ягнячьи мослаки стояли парами на земле, как маленькие старушки. Ставил каждый поровну, а забирал столько, сколько сбивал; для этого отходили на десять шагов и целились битой из мослаков побольше, налитой свинцом.

Если б нас не загоняли спать, мы бы играли в бабки непрерывно. Еще интересно было бегать к ветряку за школой. Если взобраться на помост, видны зеленые леса за Гонтовым Яром и за Кириковой Сечкой, овраг за мельницей Яловенко и крест посуньковской церкви.

Можно еще сбегать на пруд. Возле кузниц были мостки, с противоположной стороны — купальни, где дремал маленький челнок. Там он и сгнил посреди зеленой ряски. Если перейти плотину, обсаженную вербами, можно увидеть, как Каруник повезет на станцию почту в кожаном мешке.

Сад уже стал оранжевым от спелых груш и яблок. По утрам они желтыми кружками покрывали землю, мы собирали их полными ведрами и ссыпали в клеть.

Когда на току возле клуни выросли два стожка — один ржи, другой пшеницы, — отец спросил:

— Ты в книжку заглядываешь?

Я решил непременно разыскать учебники, но тут подоспела молотьба. Мы ждали ее, как праздника. Еще за три дня до этого отец выстрогал ток и присыпал его соломкой. Наконец утром привезли молотилку. Все мальчишки переулка бежали следом и смотрели на нас завистливыми глазами: мы с Яшком и Боровиков Василь будем погонять лошадей.

Молотьбу кончили к обеду. Деревья в саду покрылись пылью, а новый омет соломы совсем заслонил сад от двора. Пахло свежей мякиной и сбоем, от этого делалось тоскливо и совсем не хотелось искать учебники, тем более что через два дня будет первая Пречистая, храмовой праздник на Посуньках. После церковной обедни приехали тетка и дядя из Халимоновки. Они громко обсуждали свои хуторские дела, а я с грустью думал о завтрашних экзаменах и никак не мог припомнить, чему мы вообще за все эти пять лет научились в школе. Пожалуй, только читать и писать, это у меня хоть и плохо, но получалось.

Наконец настало шестнадцатое августа. Я пришел в городское училище на экзамены. Хотя на мне и была уже серая блуза, но нужно еще писать диктант. Потом задали задачу на дроби. Я увидел маленькие десятые и сотые, с которыми всегда почему-то не ладил, и завертелся, как жук на иголке. Обернулся назад, — там сидел Дмитро Головко, он все знает и мне подскажет. Но передо мною, как сизая туча, вырос страшный

учитель Кудрявцев в форменном сюртуке. Я потянулся было к передней парте — снова Кудрявцев. Я в сторону — Кудрявцев. Дальше уже ничего, ни одной цифры, даже целой не видел, кроме Кудрявцева, с широким красным лицом. Он, казалось, плавал в тумане и застилал мне глаза.

Отец с грустью посмотрел на меня, когда я, заплаканный, приплелся домой, и сказал:

— Думал, хоть тебя вывести в люди. Ну, раз не хочешь — ступай волам хвосты крутить.

— А вот бы вам дроби задали, — сквозь слезы ответил я.

Небо было серое, под ногами чавкала грязь, а с мокрых крыш тоскливо падали капли, подпрыгивали и разбивались на маленькие дроби.

В Народном доме по Водолазной улице, на рождество, на пасху, да еще один раз, летом, местные любители давали спектакли. Это был праздник. Играли украинскую пьесу «Пан Штукаревич». Я с необычайно суровым видом хожу по рядам и проверяю билеты. Проверяю даже у своих знакомых, делая вид, будто их не узнаю.

На мне куртка из шинельного сукна, и я в ней похож на рыцаря, закованного в серебряные латы. Этому способствовал в основном Матвей Яковина, который никак не мог решить, что шить мне — пиджак или пальто. Одеться по-городскому мне нужно было потому, что я уже третий месяц служу в Валковском обществе трезвости, которое ведало чайными всего уезда, а помещалось в Народном доме.

Служба у меня была неопределенная. Может, оттого мне ничего и не платили. Но я должен был каждый день ходить на почту и разносить пакеты по городу, а в свободное время переписывать разные бумаги.

Перед сценой за низеньким барьером оркестр пробовал инструменты. Дирижировал Тихон Рудаков, который собирался стать кузнецом, но почему-то целыми днями играл на кларнете. Из таких же кузнецов, мясников и прочих любителей музыки состоял весь его оркестр. Наконец звуки «польки-кокетки», как стадо коров после водопоя, вырвались из-за барьера. В первом ряду сидел корнет Яхонтов с каким-то поручиком. Рядом с ним — супруга акцизного чиновника. Ее телеса занимали весь проход, пробегали только мальчишки, ныряя, как в нору. Дальше сидели податной инспектор с женой, нотариус, инспектор училища, как всегда с посоловелыми глазами. Это была местная аристократия.

Едва заиграл оркестр, как публика в первых рядах начала затыкать уши и мотать головами, точно на них падали не бравурные звуки, а настоящие камни.

Я тоже мотал головой, показывая, что и мне не нравится их игра. А игра их производила на меня такое впечатление, словно они кого-то передразнивали: зал наполнил писк, визг, скрежет и страшный барабанный грохот. Я так представлял себе шабаш ведьм.

Наконец медленно раздвинулся занавес. Первое действие пьесы происходит в школе.

Режиссер, как видно, решил, что учеников натурально сыграют коржевские мальчишки, такие же школьники, как и в пьесе, и выпустил их на сцену больше десятка, чтобы они изобразили перемену между уроками.

Мальчуганы решили, что они уже стали артистами и должны играть, как артисты. Они начали бегать по сцене, кататься по полу, кричать, визжать, ломать парты. На сцену вышел уже по ходу действия учитель и что-то грозно кричал, суфлер ловил мальчишек за ноги. Но утихомирить их было невозможно. Тогда из-за кулис вышел бородатый пожарный с палкой.

— А ну, ракалии, — заорал он, — марш отсюдова, сто чертей вашей матери!

Суфлер начал подавать слова учителю, который наконец остался один. Подсказку было слышно даже на галерке, но учитель, только хлопал глазами. У него был такой глупый вид, что из зала послышались сочувственные реплики: «Ну, ну! Бедный!»

Шум усиливался.

Из первого ряда начали выходить.

Во втором громко объявляли, кто играет учителя. А он все еще хлопал глазами.

Воспользовавшись паузой, хлопцы знакомили своих приятелей с дивчатами, а у выхода кто-то наглядно пояснял, как бы он сыграл эту роль. Женский голос по соседству реагировал на это приглушенным писком и шлепками по рукам.

Я искренне переживал провал спектакля и, хотя не имел никакого отношения к любительскому кружку, решил все же выразить свое возмущение незадачливым артистам.

За кулисами стоял сплошной шум: артисты, загримированные и незагримированные, ругали друг друга. Я заметил того, который играл учителя, и уже раскрыл было рот, сказать что-нибудь ехидное, но артист решительно содрал с себя парик, и я увидел нашего учителя Павла Григорьевича. Однако слов уже нельзя было удержать, и я спросил:

— Это вам так по роли полагалось — дурака сыграть?

Павел Григорьевич разъярился:

— Пошел вон!

И я ушел.

В СТЕПИ НАД ОРЕЛЬЮ

Я не считал себя больным, хотя отличался худобой — «кожа да кости». Но врач, обстукав меня молоточком, сказал:

— Хотите, батенька, быть здоровым, ищите себе работу в поле.

Так я очутился в Полтавском землемерном училище. Учусь уже третий год, ношу тужурку с зелеными кантами и золотыми наплечниками, как настоящий студент, хотя гимназисты, даже ученики коммерческого училища, на свои вечеринки нас не приглашают. Мы их — тоже.

Состав учеников «землемерки» выделяется пестротой. Большинство из них, как и мой друг Ходнев, либо не попали в гимназию, либо уже изгнаны оттуда за неуспеваемость.

Комнату мы наняли наверху, в двухэтажном домике. В соседней, почти в то же время, поселились две сестры. Старшая училась в школе кройки и шитья, младшая — в гимназии.

Познакомились мы с ними довольно оригинально. Форточка у нас всегда была открыта, но комнатка такая тесная, что вскоре нечем стало дышать.

— А что, если выжечь этот спертый дух, — придумал я. — Воздух уже так сгустился, что должен спекаться в шлак.

Ходнев сразу согласился:

— Давай!

Мы налили в оловянную пепельницу бензина и зажгли. Пламя неожиданно вскинулось до самого потолка. Больше того, бензин почему-то начал переливаться через края пепельницы, брызгать огнем на скатерть. Горит, гудит даже, но за дымом уже не видно, чему еще угрожает огонь.

Дым становился гуще, окно было заклеено на зиму, форточка крохотная — только руку просунуть. Мы оба закашлялись, а огонь полыхает.

Распахнули дверь на лестницу. Дым заполнил площадку, полез в соседнюю комнату. Оттуда выскочила перепуганная соседка:

— Что случилось?

Бензин пылает. Соседка видит и бледнеет. Но мы, хоть и растерялись, все же кавалеры. Поэтому стараемся принять равнодушный вид, галантно кланяемся:

— Ничего особенного, маленький опыт по физике. Вот только как погасить…

Соседка метнулась к себе в комнату, схватила одеяло и накрыла им бензин.

Огонь погас. Мы были в восторге от соседки, особенно я, потому что видел — еще минута, и пришлось бы уже кричать: «Пожар, пожар!» Ходнев и сейчас кричал, но потому только, что стены и потолок стали черными, как голенища.

— Вы только посмотрите, что он сделал из комнаты!

— Кузницу, — сказала соседка, мило улыбаясь.

Простое, немного широкое лицо ее, когда она начинала говорить, становилось особенно милым, А в серых глазах как бы вспыхивали фонарики.

— Вас звать Таней? — спросил я смущенно.

— Откуда вы знаете?

— Военная тайна. А вот как по отчеству — не знаем.

— Если угодно — Петровна!

— Татьяна Петровна. Вы не из рода польских князей Собеских?

— Мои предки — украинцы.

«Скромничает», — решили мы. Брат учится в дворянской гимназии, сестра тоже. Значит, недалеко и до княжеского рода. Долго не осмеливались обращаться к ней по-простому. Но постепенно «Петровна» отпало, и стала она Таней. А подошли летние каникулы, — и нам уже не хотелось расставаться.

— А вы приезжайте к нам на хутор, — предложила Таня.

Ходневу я соврал, будто приглашают в гости и его. И мы уже вдвоем еле дождались субботы, когда назначено было ехать в полтавские степи.

В молодости мы готовы жениться на всех девицах и… ни на одной. Может, оттого я так искренне плакал во сне, когда мне вдруг приснилось, что я женюсь. Прощаясь с шаферами, чувствовал себя так, словно иду не под венец, а на казнь. О, как горько я плакал! Даже проснулся с мокрыми глазами. Но отчего именно плакал, так и не мог понять, — не то страшился возмужалости, не то жаль было беззаботной поры холостячества.

На станции Малая Перещипина вышли из поезда. Первое, что мы увидели, — фаэтон, запряженный парой сытых лошадей. Да, это для нас. И мне снова пришел на память мой сон. Невольно почувствовал, как моего сердца коснулся холодок.

Уселись в фаэтон на мягких рессорах. Сразу же за селом начиналась степь. Раскаленное солнце уже опускалось в зеленые поля, как в море, и поля эти становились сизыми, потом сиреневыми. Под конец начали покрываться серебряной пеленой. Ровная дорога, как зеленая плахта, расстилалась до самого горизонта, где видна была церковь. А когда лошади свернули под прямым углом направо, к горизонту потянулась такая же дорога, и впереди показалась еще одна церковка. Они маячили, как

сторожевые башни, и на них лежал округлый купол синего неба.

Если бы не топот лошадей и не урчанье колес, похожее на урчанье кота на коленях, было бы почти неприметно, что мы передвигаемся. По обе стороны дороги без конца и края колосилась пшеница, расцвеченная синими васильками, розовыми цветочками повилики и белой кашкой. Серебристые с черным трясогузки неутомимо бежали впереди лошадей. Хищные кобчики сидели у обочин, пока лошади не подбегут к ним вплотную, а затем лениво перепархивали дальше и снова садились у обочины дороги. Лошади приблизятся — они снова взлетают.

Верст через пятнадцать в нос ударило густым запахом конопли. Это означало, что где-то поблизости — жилье. В овраге раскинулся хуторок Свистуновка. Наше появление разбудило всех собак. Косматые, страшные, с репейниками в хвостах, они кидались то на лошадей, то на колеса, заливаясь на все голоса, пока Свирид не вытягивал какую-нибудь из них кнутом.

За хутором снова потянулась гладкая, как скатерть, степь, а на горизонте замаячили церкви далеких сел.

— А вот впереди и наша, — наконец отозвался Свирид, тыча кнутовищем в степь.

— А сколько еще верст? — спрашиваю.

— Коли по-нашему — пятнадцать с гаком, ну а по-ученому — не знаю: на этом не практикованы.

— А чьи это поля?

— Панские.

— Мы и сами видим: ни одной межи. Какого пана?

— Гриневича!

— А позади чьи были?

— Панские!

— Ну, а какого пана?

— Гриневича!

Наконец Свирид набрался смелости. Полуобернулся на козлах и спросил нас:

— Ну, а вы тоже на менины к Григорьевичу, чи по службе?

— А кто это — Григорьевич?

— Так наш же хозяин — Петро Григорьевич.

— Когда же он именинник?

— Сказывают, будто завтра. Значит, не на менины. То, может, насчет закладной? И человек, сказал бы, не гуляка, а вот не хватает. Дети! Трое дивчат да хлопец, и все учатся. Тянись, коли ходишь в дворянах. Рощу продал, а вот уж и землю закладывает.

— А много земли?

— Для кого и много. Целых сто десятин.

— У Гриневича больше?

— Так то ж над панами пан. Это еще не все, что видели. Дальше арендатор уже держит.

— И вы что-нибудь арендуете?

— Станет пан с мужичьем водиться. Арендатор Дохман ему на тарелочке ту аренду принесет, да еще ручку барыне поцелует.

Из наших разговоров, хоть и негромких, Свирид, должно быть, сообразил, что «панычи из Полтавы» едут к Григорьевичу не по службе. И, как видно в поученье нам, тихонько замурлыкал:

Та й не жалько мені,
Та й ні на кого,
Тільки жалько мені
На йотця свого.
На йотця свого
На старенького,
Оженив мене молоденького…

Мы с Ходневым и в самом деле были молоды, но в женихи еще не спешили. Однако от его песни холодок касался моего сердца!

Экипаж, колыхаясь, въехал на широкий двор. Два косматых пса со страшными мордами кинулись навстречу, но служанка быстро загнала их палкой под крыльцо. На открытой веранде нас ожидали обе сестры, а в комнатах встретила и третья, самая старшая. Как и полагалось курсистке, у нее были умные глаза, слегка ироническое выражение постного лица и ровный голос.

Гимназист Сашко смотрел на нас, как все гимназисты, скептически и старался держаться обособленно. Ведь не к нему приехали.

Хозяина дома не было. В гостиную вошла полная, с лукавыми глазами и еще красивым лицом хозяйка и сразу начала обращаться с нами, как с родными.

— Вы, наверно, есть хотите? — сказала она сочувственно. — Девочки, очаровывать кавалеров еще успеете. Приглашайте к столу.

Впервые в своей жизни я очутился в барском доме. Невольно это сковывало движения, язык. Однако я осматривался по сторонам с любопытством.

Усадьба раскинулась на берегу реки Орели, за рекой густой стеной зеленел лес. Дом под железной крышей был одноэтажный. В углу большой комнаты, служившей гостиной, стояло пианино, в кабинете ломберный столик — наглядное свидетельство уровня

культуры хозяев. Еще одна комната разгорожена пополам, а рядом — столовая. Пахло парным молоком и сушеными вишнями. За домом подымался вверх заброшенный сад, а за хлевом до самой реки тянулись огороды. Был еще посреди двора колодец с журавлем и длинным желобом. Никакой ограды не видно.

Усадьба лежала посреди степи, как большое гнездо, — до ближайшего хуторка было версты две, а с противоположной стороны, на высоком берегу реки, высился курган, должно быть, еще скифских времен. Его мы видели из степи. Впечатление такое, будто какой-то великан забыл в хлебах свою шапку.

Спали мы вместе с Сашком в амбаре, а разбудила нас курица, которая громко закудахтала под самой дверью. В щели пробивались золотые уже лучи.

Розовые на утреннем солнце просторы, широкая река в камышах, мелодичный говор, сердечное радушие хозяев — все это было как бы воплощением воочию гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

То, что батраки ходили за скотом, работницы доили коров, пололи огород, никак не нарушало чар, которыми я был полон с самого утра. Для них были будни, а для меня — праздник!

За завтраком познакомились и с Петром Григорьевичем. Был он в широких штанах, вышитой сорочке, в прищуренных глазах его светилась доброта. Впечатление усиливала еще ласковая улыбка на бритом лице с седоватыми усами и серебром седины в волосах. Теперь стало понятно, почему мебель в доме была не так красива, как добротна, — иначе она не выдержала бы восьмипудового веса хозяина. Вдобавок к весу у него была и соответствующая комплекция: рослый, широкоплечий, крепкий.

Петр Григорьевич выглядел совершенным степняком, как я их себе представлял.

После обеда, — когда мы уже успели накататься на лодках по Орели, прогуляться на курган, откуда было видать с полтора десятка сел и хуторов, промокнуть до нитки под внезапным дождем, — начали съезжаться гости. Для полноты впечатления о степняках только их и не хватало.

Первым приехал на лошаденке в веревочной шлее дальний родич с козлиной бородкой, с короткими рукавами и в таких же обдерганных брюках. Убожество костюма бросалось в глаза, он старался затушевать его живостью и разговорчивостью. Первым же вопросом его было:

— Мартыновича пригласили?

— Он и без приглашения прибудет, — ответила хозяйка с ноткой иронии.

Затем приехал брат Петра Григорьевича, безногий, но веселого нрава. Мы уже слышали, что половина детей на хуторе походит на него, а его дети похожи на кучера Митрофана.

— Мартыновича известили? — спросил и он.

— Как будто сам не знает.

— Говорят, уже всю степь объездил со своей музыкой.

— Пусть человек хоть этим потешится.

— А жена дома сидит: до того дошли, что на людях уже не в чем показаться.

Хозяйка тяжело вздохнула. То ли сочувствовала, то ли сама опасалась подобного же.

Затем прибыли две дамы. Ходнев подтолкнул меня локтем:

— Дама просто приятная и дама, приятная во всех отношениях.

Иной рекомендации не требовалось.

Наконец во двор въехала бричка, битком набитая людьми. Она напоминала балагулу, в каких возят пассажиров на Подолии. Первым вылез из брички тощий и высокий мужчина в изжеванном костюме, но в белой фуражке с красным околышем. Дворянин! С великой осторожностью он снял с брички что-то замотанное в дерюжку. За ним начали соскакивать, как куры с насеста, и другие. А Таня — она стояла с нами на веранде — называла каждого по очереди:

— Вот этот небритый — учитель из соседнего села. За ним — землемер. Мой верный рыцарь.

И лукаво улыбнулась. А у меня от ее слов почему-то сердце екнуло. Я нашел ее руку и пожал. Она не отнимала, пока не подошли гости.

— А с бандурой кто? — спросил я, указывая на человека в изжеванном костюме и тоже давно не бритого, хотя он и вышагивал, как признанный артист.

— Мартынович со своим граммофоном. Здесь это еще новинка.

Последним плелся разбитой походкой гость лет тридцати, с одутловатым лицом, хранившим следы интеллигентности, которые, казалось, еще подчеркивала маленькая бородка.

— О, и Левицкий приехал! — сказала Таня без особой радости. — А ведь был такой интересный!

После дождя приятно было вдыхать запахи влажной земли, и гости столпились на веранде. Отсюда видна была река, и это тоже как бы освежало воздух.

На берегу полольщицы запели:

Тихо, тихо Дунай воду несе,
А ще тихше дівка косу чеше…

Все притихли, слушали. Только небритый учитель стал в театральную позу и продекламировал:

Выдь на Волгу, чей стон раздается
Над великою русской рекой?

И кивнул на огороды. Но вместо «раздается» у него получилось «роздается». Дама, приятная во всех отношениях, деланно поморщилась и искоса глянула на нас. Мы тоже скептически улыбнулись.

Среди гостей учитель и землемер, видимо, не принадлежали к дворянскому сословию, и присутствующие не скрывали своего превосходства над ними.. Только тот, кого Таня назвала Левицким, стоял в углу, задумавшись, и не старался попасть в тон остальным. Даже дернулся, когда безногий брат грубо сказал:

— Жена стонет от его кулаков, а он думает, что от царского режима.

На загорелом лице небритого учителя проступила растерянная улыбка, словно он в чем-то провинился. Сашко, видимо, знал его материальное положение и сказал:

— Нищета до петли доводит. А нам безразлично…

— Своя рубашка ближе…

— Это заповедь шкурника!

Сашко заикался. И прежде чем он выговорил слово «шкурник», его безногий дядюшка высоко поднял брови:

— То есть все мы шкурники, племянник? Это кто же так считает, социалисты?

Изжеванный Мартынович поучительно сказал:

— Теория социализма лжива и порочна.

— Правильно! — поддержал его родич с короткими рукавами. — Мужики не хотят революции. А что в городах рабочие затевают, так это с жиру бесятся!

— Столыпин тоже так думает, — сказал заикаясь Сашко.

— Ну и молодчина Столыпин. Храни его бог! — спесиво проговорила дама, приятная во всех отношениях.

— А вы знаете, что сказал граф Толстой? — выкрикнул учитель, ободренный Сашком. — «Самодержавие есть форма правления отжившая. Все это отжило и идеалами не может быть. Нужна революция…»

— Как, как? — вытянул вперед шею родич с короткими

рукавами.

— А ты, хлопче, лишнего не болтай, — уже угрожающе проговорил Мартынович. — Квод лицет йови… — Но сбился и докончил уже по-своему: — Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку, как говорят по-латыни. Я не консерватор, и я не революционер.

— А молится за царя, — тихонько шепнул нам землемер.

— А я никакой политики не признаю, — проговорил безногий брат. — Не верю и в революцию.

— А в бога? — уже громко спросил землемер.

— Богу до меня нет дела, как и мне до него.

— Павел Григорьевич с ума спятил! — перекрестила объемистую грудь дама просто приятная. — Ты что, турок или православный?

— Мелкопоместный дворянин я, Мария Игнатьевна, как и ты. Дворяне, у которых ни цели, ни надежды. Пусто и в кадушке, и в клетушке.

— А при чем тут дворянство? — обиженно сказал Мартынович.

— Правда, дворянство не виновато. Оно веселится, пьет и гуляет. А большего от нас никто и не требует.

Левицкий, который до сих пор старался быть как можно незаметнее, вдруг обернулся к Павлу Григорьевичу и истерически выкрикнул:

— Так, так! Правильно, Павел Григорьевич! Скажите, какая полезная мысль выросла на нашей ниве? Какая приметная истина вышла из нашей среды? А?

Петр Григорьевич, стараясь обратить все в шутку, с улыбкой сказал:

— Левицкий, не мерь на свой аршин. У тебя все полезные мысли вылетают сквозь дырку в шляпе.

Я взглянул на шляпу, которую тот все еще мял в руках, — в ней действительно была большая дыра.

— Скажете, неправда? — продолжал выкрикивать Левицкий. — Что мы дали людям? Чему научили?

— Драть семь шкур с мужика! — вставил иронически Сашко.

— Может, скажете, пошли мы дальше французской Коммуны? Содействовали прогрессу?

Мартынович испуганно оглянулся:

— Хоть я не консерватор, но… с такими разговорами… и ты тоже, Павел Григорьевич, придержи язык за зубами.

Павел Григорьевич громко захохотал:

— Ты меня, Мартынович, в либералы не шей. А хочешь знать, что я думаю, так слушай. Все это буза. У нас есть, слава богу,

царь-государь, и ему виднее, какие нужно или не нужно делать реформы.

— Если уж на то пошло, так я могу напомнить Левицкому про его божка Герцена. Почему ты о нем позабыл? — не успокаивался Мартынович. — Или, может, и он уже ничего не стоит?

— Оставьте, господа! — уже без улыбки прикрикнул Петр Григорьевич. — Девочки, ступайте, помогите матери.

— Я отвечу, — сказал Левицкий. — Господин Герцен тоже недалеко от вас откатился. Он тоже смотрел на Александра Второго, как вы на Николая Второго.

— Что-что?

— Я говорю про его статью в «Колоколе»…

— Мартынович, заводи свою машину! Разговорились! — уже сердито закричал хозяин. — А ты, Сашко, не забывай, что тебе с завтрашнего дня нужно думать о военной службе, а не о революции. Тоже мне Бакунин нашелся!

— Я царям не служу и к вашему воинскому начальнику не пойду! — выкрикнул в ответ Сашко и демонстративно подошел к Левицкому.

— Черт знает что плетет! — через силу усмехнулся отец. — Сказано, ребенок еще!

Мартынович занялся своим граммофоном, его окружили старшие.

На минуту воцарилась напряженная тишина. Все делали вид, будто внимательно слушают, как скрипит пружиной Мартынович, заводя граммофон.

Мы с Ходневым подошли к учителю и землемеру, хотя я и побаивался продолжения разговора. Довольно и того, что харьковский губернатор не хотел выдавать мне свидетельство о политической благонадежности при поступлении в землемерное училище. Но еще больше я боялся выказать свою политическую безграмотность. В землемерном училище почему-то меньше всего говорили о политике. Мы старались не отставать от жизни, но наши стремления были направлены в сторону чисто этическую. Надо быть честным. Честным по отношению к товарищам, девушкам, работе.

Учебная программа училища была обширна, работать приходилось много, а сверх того еще ежегодная практика. На чтение книг оставалось мало времени. Больше того, мы даже не затрудняли себя определением своего политического кредо. Одно было ясно — правые партии нам чужды, тем более монархисты. Но дальше этого не шло.

Небритый учитель, как я и думал, сразу же спросил:

— Ну, как вам нравятся наши доморощенные политики?

Но, к счастью, его перебил дородный, простоватый землемер:

— И вы, значит, собираетесь у господ стены подпирать?

Его вопрос уколол меня. Я уже видел, что и он, и учитель низкопоклонствуют перед дворянством, которое, может быть, и не стоит их. Но я старался успокоить себя и поэтому ответил:

— А без этого нельзя?

— Чтобы, значит, между молотом и наковальней? Мужичкам мы тоже чужие стали. Видят ведь: кто выходит на столыпинские хутора, тому и землицу получше нарезают. Политика хитрая, а жар нашими руками загребают.

Граммофон сперва зашипел, потом заскрипел. И наконец приятный голос Вяльцевой запел:

Ой, полным-полна коробушка,
Есть и ситец и парча…

Из комнат выбежали служанки, вышла распаренная хозяйка, даже выглянули работницы из кухни. А от хлевов спешили батраки. У всех на лицах удивление и восторг: обыкновенный ящик и труба, точно огромный цветок «крученых панычей», а выводит на весь двор. Вот услыхали и полольщицы и тоже со всех ног бегут к веранде. Мартынович стоял у граммофона с таким видом, точно это пела не Вяльцева, а он сам.

Со следующей пластинки полился густой бархатный голос Вари Паниной, которая брала низы не хуже московского протодьякона Михайлова:

Колокольчики-бубенчики звенят,
Простодушную рассказывают быль…

На лицах у всех сияла блаженная улыбка. Но когда Мартынович поставил третью пластинку и собравшиеся услышали, как придворная капелла начала «Иже херувимы» Бортнянского, у всех лица сразу вытянулись, стали торжественными, глаза увлажнились. Кто был в шапке — скинул ее и даже перекрестился.

Под впечатлением услышанного уже не именинник, а Мартынович, который умел так хорошо «играть на граммофоне», стал центральной персоной. Он первым и порог переступил, когда хозяйка пригласила всех к столу.

Левицкий приехал непрошеный, он это понимал и потому плелся позади всех.

Была уже глухая ночь, когда последняя бричка с гостями отъехала от крыльца. А когда их не стало слышно, из темноты вынырнули фигуры небритого учителя и землемера. Им в бричках не нашлось места, а вернее — о них попросту забыли. Уныло оглянувшись на освещенные окна, оба зашлепали куда-то по грязи.

Ливень, начавшийся еще до рассвета, помешал выехать утром на станцию, а к вечернему поезду можно поспеть и после обеда. Вмешательство природы неожиданно ускорило события, связанные с нашим приездом.

День начался, как обычно, курлыканьем журавля над колодцем, мычанием скота у корыта, кудахтаньем кур в подклети, гоготаньем гусей в траве и голосами работников, но все это меня уже не волновало. С каждым часом я все больше ощущал горечь разлуки с Таней, и потому мы искали любого повода, лишь бы остаться вдвоем.

Так мы очутились в разрушенной беседке, в самом конце сада. Сердце забилось сильнее.

— Слушай, Таня, я… Нам нужно… Я уже давно…

— Я сама хотела, — перебила меня Таня грустно. — Ты думаешь, никто не догадывается?..

— О чем?

Я еще и сам не знал ничего. О чем же могут догадываться посторонние?

— О чем?

— Ты же видел, к нам в Полтаве больше никто, кроме вас, не был вхож. Родители…

— Ну, что же ты остановилась?

Меня это начинало раздражать: к чистой любви, бесплотной, как воздух, терпкой, как вино, пугливой, как ласточка, прикасалась проза жизни.

Я начинаю чувствовать, что невыразимое очарование заслоняет какой-то туман.

— Ну, говори, говори…

— Родители говорят, что это несерьезно. Я дальше так не могу.

— И ты так думаешь?

— Отец… Эти попреки… Я не могу…

— Я сейчас поговорю с ним!

Петр Григорьевич был в своем кабинете. Забрызганные грязью сапоги, широкие штаны, вышитая сорочка. Наступают жнива, поседелую голову обступили заботы. Я растерял свой азарт и робко пробормотал:

— Я хочу…

Петр Григорьевич, сдерживая раздражение, перебил:

— Лошадей? Жнива, хлопцы. Не до катанья.

— Я хочу… руки…

Петр Григорьевич захлопал глазами:

— Чего, чего?

— Я хочу просить руки… Мы серьезно с Таней…

— Тьфу! — словно разрядился он. — Вам что, жизнь надоела? Сказано, молодое, глупое. — Но глаза его уже искрились добрым смехом.

После обеда распогодилось. Светило солнце, земля курилась. Снова затопали лошади, и снова заурчали колеса, будто кот на коленях, но почему-то не так мелодично, как два дня назад: я уже был обручен. Много было впечатлений, но обмениваться ими с Ходневым почему-то не хотелось. Вместо этого в голову лезла песенка:

Та й не жалько мені
Та й ні на кого,
Тільки жалько мені
На йотця свого,
Оженив мене молоденького…

Я оглянулся — на веранде все еще стояли три сестры, и над ними возвышалась, как дуб над орешником, фигура Петра Григорьевича.

Только через год Татьяна Петровна стала моей женой, а я уже закончил Одесское артиллерийское училище и на следующий день после свадьбы выехал в армию: шла война с немцами.

Когда вспыхнула гражданская война, я был в армии. Татьяна Петровна жила у моих родителей, а по степям Украины все еще гуляла чубатая анархия. Темными ночами на хуторах раздавались выстрелы и отчаянно выли собаки.

Телеграмма

Валки. Посуньки. Панченко.
Наташа и папа убиты семнадцатого вечером.

Сашко.

ЦАРЬ БЕЗ ТРОНА

С придворной дамой царицы Марии Федоровны я встретился в гостиной известной артистки Мариинского театра Сметаниной.

Хозяйка подвела меня к женщине, которая артистически маскировала свой возраст черным шелком, он делал ее фигуру стройной, а ее тонкая улыбка — лицо ни старым, ни молодым, но просто приятным.

— Бредова Ада Викентьевна, — повела хозяйка рукой в ее сторону. Потом в мою: — Поручик артиллерии! — И назвала меня по имени и отчеству.

Услышав фамилию, я звякнул шпорами. Военным имя генерала Бредова было достаточно известно. Председатель гвардейского экономического общества! В магазине его общества на Мойке можно было приобрести все необходимое офицеру — от савельевских шпор до Георгиевских крестов.

— Господин поручик, вы знаете, что сегодня женский день? Вы должны нам служить!

Я поклонился и хотел было сказать, что рад служить ей каждый день. Но она уже обращалась к хозяйке:

— Елена, ты знаешь, Александра Федоровна сегодня в домовой церкви справляла сорокоуст по Гришке Распутину.

— Неужели уже сорок дней?

— В самом деле, как быстро бежит время! Царь уехал в ставку, и теперь Аннушка Вырубова хочет протащить «старца» в святые или великомученики. Носится с ним, как с писаной торбой.

Потом снова обернулась ко мне:

— Ваш приятель, — и повела подкрашенными глазами на поручика Суходолова, — похож на Вырубову.

Я взглянул на Суходолова. Он был кособок.

Хотел спросить: чем? Но она уже говорила хозяйке:

— Ее только корсет и держит.

Вырубова тоже была придворной дамой, только уже не матери, а жены Николая II — Александры Федоровны. На страницах газеты «Вечернее время» в заметках о скандальных оргиях Распутина нередко появлялось и ее имя, оттого и у меня сложилось впечатление о Вырубовой как о гнусной твари. Ее чаще презрительно именовали «Аннушкой», так же как Александру Федоровну, урожденную герцогиню Гессенскую, враждебная партия величала «Алисой».

Наследник трона российского, цесаревич Алексей, от рождения страдал кровоточивостью (гемофилией). Суеверная

царица лечила его молитвами и мощами святых, вот почему «старец» Григорий Распутин был допущен в царский дворец.

Хитрый пройдоха сумел повести лечение цесаревиче так, что вскоре подчинил своей воле царицу, а через нее и Николая II. С тех пор ничего не делалось без его согласия. Он назначал и увольнял министров, как хотел. По его совету плюгавенький Николай II въехал в завоеванный Перемышль на белом коне, в огромных сапогах «старца».

— А вы знаете, почему князь Меньшиков так ничем и не поплатился за растрату? — спросила Ада Викентьевна.

— Наверно, добровольно поехал на фронт? — многозначительно заметил седой статский советник, хозяин дома.

— Меньшиков — на фронт? Ха-ха! Своими глазами читала записку на клочке бумаги от Распутина: «Министеру Хвостову. Милой дорогой красивую посылаю дамочку бедная спаси же нуждаетца поговори з ней Григорі». Ирина Меньшикова — красавица! Как вы, мужчины, нетребовательны!

Это уже было сказано по моему адресу, хотя в гостиной, кроме меня, были и другие мужчины. Потом скривила полные губы и добавила: «Милой». Я вспыхнул: неужели и меня приравняла к косолапому мужику? Но она хоть и поморщилась, но в то же время прищурила глаза. Лукавые глаза! Как это понять? К счастью, хозяйка пригласила всех к столу.

Придворная дама Марии Федоровны не переставала и за столом поносить придворных дам и фрейлин Александры Федоровны.

— Я просто не знаю, до чего дошло бы, если б Юсупов не пристрелил его.

— И Пуришкевич, говорят, — добавил хозяин.

— Там их много было. Во дворце Юсупова. Вы будете смеяться, — это уже к нам, мужчинам, — наши дамы начали было этому царскому лампаднику ноги мыть и своими волосами вытирать. Не верите? Они даже подрались из-за того, у кого больше прав стирать его грязное белье!

— Ада, это не аппетитно, — остановила ее хозяйка. — Возьми лучше рябчика.

Мы сидели друг против друга.

— Вам положить рябчика?

— Мой прадед Тадеуш Костюшко тоже любил это кушанье. Давайте выпьем за то, чтобы его правнучка скорее увенчала свою голову польской короной. Я — единственная претендентка!

Шустовский коньяк был довольно крепок, и я набрался смелости.

— Мадам, видимо, не предполагает, что ее визави еще больший претендент на польскую корону по линии Собеских. А эта ветвь, прошу прощения, больше по вкусу вельможной шляхте, чем ветвь вождя повстанцев Костюшко, который хотел лишить ее привилегий.

Если б моя дама не пила коньяк наравне со мной, она сообразила бы, что фамилию созвучную с Собеским, носила моя жена, а не я, и поняла бы мою шутку. Но сейчас она поняла другое — что наследнику короля Яна Собеского нужно поклониться, как кланялась она царю, царице и царятам. Так она и сделала, совсем растерявшись.

Это было даже не смешно, а скорее трагично.

Но этими чудесами ночь не закончилась. Она готовила мне еще большую неожиданность.

Уже далеко за полночь мы, трое поручиков, попрощались с гостеприимными хозяевами и перешли к Суходолову, у которого была комната в том же доме, на втором этаже.

Высокое окно, завешенное глухой шторой с белой бахромой, выходило на Конюшенную улицу. Царское Село, засыпанное снегом, уже давно спало.

Мы пили черный кофе и говорили о концерте нашего земляка Ивана Алчевского в офицерском клубе. Потом начали возмущаться безразличием высшего света к окружающей его жизни. На фронте солдаты уже поняли преступность войны и не хотели воевать. Оружия не хватало, в окопах маялись одни ополченцы чуть ли не пятидесятилетнего возраста. На города надвигался голод. Всего два дня назад жены петроградских рабочих разгромили пекарни и лавки. Листовки Петроградского комитета РСДРП(б) призывали рабочих к всеобщей забастовке. В одном лишь Петрограде бастовало уже почти двести тысяч человек. А наша аристократия жила, казалось, в каком-то другом царстве и забавлялась только сплетнями и пересудами про придворных блюдолизов да про Григория Распутина, выискивая все новые и новые анекдоты.

— Вы знаете, где его похоронили? — спросил Суходолов.

— Говорят, где-то здесь, в Царском Селе.

— Под окнами царицы. И часовенку поставили.

Постепенно мы перешли к рассказам о Григории Распутине. В это время за окном послышался какой-то шорох.

Насторожились. Шуршит!

Три часа ночи.

Я крадусь к окну, слегка отодвигаю штору и отскакиваю. На всю раму распят человек.

На втором этаже!

К окну можно добраться только по крыше над крыльцом, оттуда по карнизу в один кирпич шириной.

Глянул еще раз — висит!

— Там человек! — говорю сдавленным голосом. — Бегите двое вниз, а я здесь!

Побежали, выхватили револьверы. Я тоже стал у окна с револьвером.

Прислушиваюсь: что-то кричат снизу Суходолов и Рагозин, что-то бубнит человек за окном. Выглядываю: незнакомец идет к крыльцу. Слышны уже голоса на лестнице, а я продолжаю раздумывать: «Вор? Агент? Ну конечно же, агент, шпик. Но что мог он расслышать сквозь двойную раму? Ну, напишет в рапорте, что говорили о царе, против царя, о существующем строе. Но ведь об этом открыто говорят, даже с трибуны Государственной думы! И заядлый монархист Шульгин кричит, что если мы поднимаем знамя борьбы против власти, то лишь потому, что мы действительно дошли до предела! Путиловцы даже вышли на демонстрацию с красными флагами: «Долой самодержавие! Долой войну!»

Топот ног и возбужденные голоса поднимались все выше. Любопытно, как он будет выворачиваться! Наверно, обозленный собственной неосторожностью, напишет такой рапорт, что завтра же сюда пожалует жандармерия. В мирное время — высылка или Нарымский край, а в военное время — на фронт! Пусть враг вместо них сделает черное дело. А не угодит в тебя пуля — воюй! За что? Чтобы помещики и дворяне по-прежнему смотрели на нас как на рабочий скот? После войны мы, скороспелые офицеры, больше им не понадобимся. Ступайте, копайтесь в земле, а они будут командовать. Приезжий с фронта офицер рассказывал в офицерском собрании: в окопах большевистские агитаторы кричат, что нужно превратить нынешнюю империалистическую войну в гражданскую. Что это — единственный путь для пролетариата? А мне жертвовать жизнью за то, чтобы Украина по-прежнему оставалась Малороссией, чтобы мы у себя, в своем доме, не могли говорить на родном языке? К черту всех самодержцев, царей и императоров!

В комнату вошли Суходолов и Рагозин, а между ними щуплый солдатик. Видно, сильно замерз, прямо весь посинел. Однако сразу же вытянулся и замер.

— Ты кто такой? — спрашиваю.

— Рядовой лейб-гвардии его императорского величества полка, ваше императорское величество!

Я невольно усмехнулся: запутался, бедняга, в императорских

титулах.

— Фамилия?

— Даниленко, ваше императорское величество!

Я захлопал глазами:

— Как, как?

— Даниленко, ваше императорское величество!

— Кому ты отвечаешь?

— Вам, ваше императорское величество!

— А я кто?

— Вы — ваше императорское величество!

— А это кто? — показываю на Суходолова.

Солдат все время держит руку под козырек и вытянулся уже чуть не до потолка.

— Кто это?

— Поручик антилерии, ваше императорское величество!

Я глубоко вздыхаю и указываю на Рагозина:

— А это кто?

— Поручик антилерии, ваше императорское величество!

— Ну, а я кто? — И тычу пальцем в свой погон, точно такой же, как и у них.

— Вы — ваше императорское величество!

Может, я похож на Николая II? Так нет же, видел его — роста ниже среднего, мелкие черты лица, русая бородка и голубые глаза. А я гладко выбрит, волосы черные.

— Как ты тут очутился?

— Провожал наследниц вашего императорского величества!

— Вы что-нибудь понимаете? — обратился я уже к своим приятелям.

— Стоп! — захохотал Рагозин. — Над нашим окном есть еще окно?

— Мезонин, — сказал Суходолов. — Там кухня.

— Вот и разгадка. Где твой денщик? Павел, позовите сюда девушек из кухни!

Минуты через две появились заспанная горничная и кухарка.

— Вы этого кавалера знаете? — спрашиваю.

Они завизжали, как обваренные:

— Какого кавалера? На черта он нам сдался, такой сморкач! Первый раз видим!

«Сморкач» моргал глазами и шмыгал носом.

— Это они — наследницы? — спрашиваю солдата.

— Так точно, ваше императорское величество.

Горничная и кухарка снова завопили было, что он жулик, а они — честные девушки, а не какие-то там «наследницы», что сам он — последний. Но тут почему-то испуганно заморгали глазами

и попятились за дверь.

Я позвонил дежурному офицеру полка и попросил забрать своего солдата.

Пока пришел патруль, мы уже успели выяснить, что Даниленко — родом из Гадяча. Там у него мать-вдова с малым хлопцем. А что они едят — он не знает. Выговор у него был чистый, полтавский. Понемногу он, должно быть, забыл, как оказался в этой комнате, и охотно рассказывал о своем Гадяче, о его чудесной природе. Но когда я задавал вопросы, он вскакивал и, как заведенный, тараторил: «Так точно, никак нет, ваше императорское величество!»

— Ты как себя чувствуешь, здоров ли? — спросил Суходолов.

— Это фельфебель выдумывает, ваше благородие. А я здоров.

— Что он выдумывает?

В это время пришел фельдфебель с двумя солдатами. Мы рассказали ему, в чем дело. Он слушал, вытянувшись в струнку, но кидал на Даниленко злобные взгляды.

— Так точно, ваши благородия! — И повертел возле лба пальцем. А на Даниленко тут же прикрикнул: — Пошел вон сцюдова, хохлацкая морда!

Даниленко сразу втянул голову в плечи, сжался и, как побитый пес, поплелся в прихожую. Рагозин сказал:

— На таких плечах не долго продержится царский трон!

РЕВОЛЮЦИЯ!

Фельдфебель вбежал в столовую офицерского собрания, насмерть перепуганный, и крикнул:

— Бунт, ваши благородия!

Как раз в это время мы лакомились гречневой кашей, запеченной в белых ракушках. И поэтому, должно быть, реакция была замедленная.

— В чем дело, Мартыненко? — недовольно спросил старший офицер.

— Всех выгоняют из казармы… на Петроград…

— Кто?

— Солдаты из пехоты… Я хотел… Кричат: «На плац, на плац!» И бах, бах! Меня чуть не убили…

Мы вскочили из-за стола, начали одеваться. А командир батареи все еще допытывался у фельдфебеля:

— Зачем на плац? На какой плац?

— В Петрограде, сказывают, уже революция, ваше благородие!

С этого момента и начинается в моей жизни новая эра. Всего два дня назад наш дивизион переехал из Царского Села в Красное на практические стрельбы. Орудия шли своим ходом и застряли где-то в сугробах. А командиры ехали поездом через Петроград.

Переезжая с Царскосельского вокзала на Балтийский, мы уже видели на улицах столицы усиленные отряды конных полицейских, они разгоняли не только демонстрации рабочих, но и кучки людей. Привычное зрелище, но увидели и непривычное. По Невскому проспекту двигалась большая колонна. Над головами реяли красные платки и флаги, транспаранты с грозными словами: «Долой царя!», «Хлеба!». Возле Аничкова моста из-за угла выскочил отряд конной полиции, и пристав ударил шашкой женщину, которая несла красный флаг. Рабочие тут же стащили его с седла и швырнули в Фонтанку. Полицейские начали размахивать шашками, появился еще отряд казаков. Но от казаков бежали уже не рабочие, а полиция.

В поезде услышали и такое:

— Учебная команда Волынского полка всего три дня назад расстреливала демонстрации рабочих, а вчера убила своего командира и вышла на улицу с красным флагом.

— Революция?

— Ну, до этого еще далеко. Из ставки от Николая Второго командующий войсками Петроградского военного округа получил распоряжение: «Приказываю завтра же прекратить беспорядки в

столице…» А генералы уж постараются, будьте покойны. Что крови прольется много, это факт!

В батарее было только двое кадровых офицеров. Остальные, как и я, вчерашние студенты. Поэтому отношение к событиям было далеко не одинаковое. Услыхав от перепуганного фельдфебеля: «В Петрограде бунт», младшие командиры реагировали единодушно:

— Пошли, едем сейчас же!

— Куда? — растерянно спросил старший офицер.

— Туда, куда и наши солдаты. Или вы хотите, чтобы мы сразу очутились за бортом? Едем!

— Не разрешаю! — завопил командир батареи.

— Ну, так оставайтесь один!

Такое непослушание во время войны каралось военно-полевым судом. Мы это знали и все-таки выбежали из столовой. Пошел за нами, тоже сам не свой, и старший офицер. А позади слышался истерический крик командира батареи. Но на него уже никто не обращал внимания.

Своих солдат мы догнали у самых пехотных казарм. Ополченцы тоже выстраивались на снегу, готовые выступать, даже взяли с собой походные кухни.

Смеркалось. В одном окне временных бараков, построенных для солдат, из которых комплектовались маршевые роты, мерцал огонек.

Вокруг единственной свечки, как на оторвавшейся льдине, сидели офицеры пехотного полка.

— Пора выступать, — говорим мы.

— Вы что, идете с солдатами? — удивляется полковник.

— А то как же?

— С бунтовщиками? Вы что ж думаете, так и не найдется никого, чтобы их перестрелять?

— Царь распустил Государственную думу!

— Значит, нужно было!

— Но, говорят, она не подчинилась.

— Завтра в Петроград прибывает сам царь. Конная гвардия получила приказ немедленно выступить из Новгорода на столицу. Она вам покажет кузькину мать!

Солдаты двинулись наконец на Петроград, а их офицеры остались вокруг свечного огарка.

Уже где-то на полдороге стало видно, как в Ораниенбауме что-то горит, зарделось небо и над Петроградом. С каждым шагом настроение у солдат повышалось. Внезапно колонну остановил какой-то полковник в санях и сердито спросил:

— Вы за кого? Правительство свергнуто. Государственная

дума, вопреки приказу царя, создала Временный комитет!

— Ура! Ура! — закричали солдаты.

— Так кому вы идете на помощь? Бунтовщикам или…

Но солдаты продолжали кричать «ура», и полковник повернул лошадь назад, еще более рассерженный.

То, что мы были заодно со своими солдатами «за Временный комитет», им нравилось. Однако с командирами они уже перестали считаться. Руководил ими кто-то другой. Когда мы сделали привал у станции Логова, а сами зашли в буфет погреться, солдаты без нашей команды снялись и пошли дальше. Снова пришлось догонять.

Огонь всегда возбуждает человека, а так как впереди пылал не обычный костер, а целая арка Нарвской заставы, зарево подействовало на солдат, как призыв к бою. Это было видно по тому, как они с ревом кинулись к дому, откуда послышалась пулеметная очередь.

Огоньки вспыхивали в слуховом окне, но спустя несколько минут брызнули стекла, вниз полетел пулемет «шоша», а вслед за ним — и городовой.

К нам подъехал верхом офицер военной академии с красной повязкой на рукаве. От него мы услышали вторично:

— В Петрограде революция! Вы за кого?

— За Временный комитет! — закричали солдаты.

— Тогда идите на Балтийский вокзал и ожидайте распоряжения.

— А что это горит?

— Полицейский участок!

— Ура! — закричали солдаты. — Революция, бей фараонов!

Но полицейский, которого сбросили с шестого этажа, уже лежал на тротуаре бездыханный.

Вокруг все бушевало. Одного городовика слишком мало было, чтобы насытить жажду мести за всю вековую неправду, изведанную русским солдатом, мужиком и рабочим. Мы ехали впереди, тоже исполненные бунтарского духа, но чувствуя себя буквально на краю бездны. Достаточно кому-нибудь крикнуть: «Бей командиров!» — и это будет сделано мгновенно.

Балтийский вокзал напоминал встревоженный муравейник. Там уже были солдаты Ораниенбаумского пулеметного полка. Своими тачанками с пулеметами они сплошь заставили круглую привокзальную площадь. Все были возбуждены, перебегали с места на место и наперебой делились друг с другом новостями.

— Нет, вы только послушайте, что писала царица в ставку Николаю про революцию: «Это хулиганское движение. Мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у них нет хлеба

(«Вот сволочь!» — солдат), — просто для того, чтобы создать возбуждение, — и рабочие, которые мешают и другим работать («Ну и стерва!» — солдат). Если бы погода была очень холодная, они все, вероятно, сидели бы дома». А?

Солдаты дружно захохотали.

— А ты за адъютанта при царице, что ли? — послышался чей-то скептический голос. — Откуда это знаешь?

Солдат читал по бумажке. Он аккуратно свернул листок, засунул его за пазуху и хитро подмигнул:

— Значит, знаю. А откуда знаю, это уж мое дело.

Впоследствии я среди документов гражданской войны напал на это самое письмо. Солдат процитировал его слово в слово. Он, должно быть, не знал только, что в ответ Николай II писал царице: «Беспорядки в войсках происходят от роты выздоравливающих, как я слышал. Удивляюсь, что делает Павел? [14] Он должен был бы держать их в руках».

— Жандарма поймали! — крикнул кто-то. — Ведут!

Солдаты провели через весь зал к коменданту усатого мужчину в каракулевой шапке и в штатском пальто, из-под которого выглядывали диагоналевые брюки, заправленные в начищенные сапоги.

— А что я слыхал, братишки! — кричал другой солдат.

По что он хотел сказать, осталось неизвестно, потому что несколько голосов закричали еще громче:

— Фараоны стреляют!

Из дома напротив стучал пулемет.

Солдаты забегали, засуетились, закричали. Оказалось, что с ними не было ни одного офицера: все по дороге на Петроград сбежали. Тогда они обратились к нам:

— Мы их сейчас ликвидируем. Дайте только командира!

Пока мы улаживали это дело, стрельба утихла. Этого полицейского вместе с пулеметом, как и первого, скинули с чердака на тротуар и без командира.

Прошла ночь, настал уже и день, а никакого распоряжения ниоткуда не поступало. О нас, по-видимому, забыли. Мы решили сами обратиться во Временный комитет и доложить о том, что наш артиллерийский дивизион его поддерживает. Пушек мы с собой, правда, не привезли, потому что это был дивизион дальнобойных орудий системы «виккерса», для переброски которого нужно несколько железнодорожных эшелонов. Но все солдаты, целых пятьсот человек, были вооружены револьверами. Вооружились, правда, они сами, разбив батарейные цейхгаузы.

В делегацию солдаты выделили меня и еще двоих рядовых.

Временный комитет помещался в здании Государственной думы на Шпалерной улице. Добраться туда можно было только пешком, и мы отправились охотно, потому что повсюду было много интересного. В одном месте группа солдат и рабочих старалась сбросить с крыши огромного двуглавого орла. Как видно, это было не так легко, потому что рабочие начали рубить ему ноги и крылья топором и сбрасывать в костер, разведенный на тротуаре.

На костре уже горели скипетр и держава.

Стоял сильный мороз, да еще при восточном ветре, и костры пылали повсюду, но не для того, чтобы жечь на них царские эмблемы. Нужно было погреться и людям.

По улицам пробегали грузовики, битком набитые солдатами. Иные лежали и на крыльях машин. Они выставляли вперед винтовки со штыками, это придавало машинам грозный вид. С одной полетели, подхваченные ветром, листовки. Это был манифест Центрального Комитета РСДРП(б), он призывал к созданию Временного революционного правительства. Я успел прочитать только три строки: «Граждане! Братскими дружными усилиями восставших мы закрепили новый свободный строй, который рождается на руинах самодержавия!..» Какой-то солдат, должно быть, недовольный, моим бормотанием, вырвал у меня листовку:

— Дай-ка и я почитаю!

На шинели у меня блестели погоны с тремя звездочками, но пожилой солдат уже не обращал на них никакого внимания. Я тоже сделал вид, что не расслышал его, и отвернулся, глядя на здание суда, которое пылало от земли до крыши.

К Таврическому дворцу, где помещалась Государственная дума, то и дело подходили какие-то воинские части, подъезжали грузовики, во дворе стояли пулеметы, хотя солдат возле них не было. В обширном вестибюле горой лежали желтые седла и железные ящики с патронами. В зале заседаний и на балконах полно солдат в шапках и с винтовками за спиной. Кто-то на трибуне обращался к ним с речью. По лестнице на второй этаж спешили какие-то военные и штатские. Не мог бегать из-за своей комплекции только председатель распущенной Государственной думы — теперь уже Временного комитета.

Я встретил и его на лестнице. Грузный, с короткой шеей, с круглой, как тыква, головой и остановившимся взглядом человека, проигравшего последнюю ставку, Родзянко шагал тяжело и растерянно. Но мне был нужен не он, а руководитель военного отдела, полковник Энгельгардт. Нашел я его в кабинете, заполненном телефонными звонками и солдатами. Полковник

одновременно слушал посетителей и говорил по телефону. Так же обошелся он и с нашей делегацией. Даже не дослушал меня, кинул через плечо:

— Власть уже передана Временному комитету. Кормить вас в Петрограде нечем. Возвращайтесь назад в свои казармы!

— Как так? — выкрикнул солдат из нашей делегации.

Я тоже был поражен таким ответом и тоже начал было возражать. Но Энгельгардт уже обращался к другой делегации. И говорил им то же самое: «Возвращайтесь назад».

— Что вы его слушаете? — вмешался какой-то солдат. — Уже создан Совет рабочих и солдатских депутатов!

Энгельгардт сделал вид, что за телефонными разговорами не расслышал этого выкрика, и все повторял делегатам: «Кормить нечем, возвращайтесь назад!»

Когда мы вышли во двор, у входа остановился грузовик с арестованными царскими министрами. Через борт перелезал министр внутренних дел Протопопов, организатор расстрела рабочих демонстраций. Но солдаты не шумели, не оскорбляли этого перепуганного насмерть сановника, а только посмеивались над его неловкими движениями.

Принесенное нами распоряжение полковника Энгельгардта не понравилось солдатам батареи. Если кое-кто расценивал этот ответ с точки зрения политической, то другая часть, особенно крестьяне, смотрели на это как на продолжение осточертелой казарменной дисциплины. Здесь они были свободны, к тому же можно еще ходить из одного продовольственного пункта в другой и бесплатно угощаться и жареной и вареной рыбой, а то и мясом. Такие пункты были за ночь организованы по всему городу.

Офицеры молчали, потому что каждое их слово брали теперь под сомнение. Выступил мобилизованный питерский рабочий Нестор Натура.

— Товарищи!

Такое обращение к солдатам прозвучало впервые, и у них заблестели глаза.

— Товарищи! Господа офицеры пускай себе уезжают, если хотят. А мы должны остаться. Разве непонятно, зачем нас отсылают назад? Чтобы легче задушить революцию! Николашка уже шлет с фронта дивизии. Будем слушать не бывших буржуев, а Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов!

— Никуда не поедем, не поедем! — кричали солдаты.

Старший офицер Алексеев хотел было что-то сказать, но его прервал тот же Натура.

— Господин капитан, — сказал он, прищурясь, — вам тут нечего будет есть, негде спать. Поезжайте назад, в Красное Село.

А мы уж и одни обойдемся.

О том, что отныне отменялось обращение рядовых к офицерам с обязательным приветствием — ваше благородие или превосходительство, мы узнали только во Временном комитете, как и о создании Совета рабочих и солдатских депутатов. А солдат Натура уже знал об этом до нашего возвращения.

По-видимому, у него были инструкции, что надо делать солдатам.

Нам стало понятно: фактически командир батареи теперь уже не капитан Трусов, кадровый офицер, со страху заболевший экземой, а рядовой Нестор Натура, мобилизованный питерский рабочий.

МОЙ ГЕРОЙ

В начале апреля повеяло теплым ветром, по небу побежали пушистые облачка, ночью через них перепрыгивал серебряный месяц, а днем ослепительно сверкало солнце. Деревянные ступеньки казармы густо облепили божьи коровки.

Весна!

Нестор Натура потянулся всем своим телом так, что даже кости затрещали. Он сидел у пыльного окна, смотрел на желтые ручейки в дорожных колеях и маялся от избытка сил.

Вот уже четвертый год, как война с немцами вырвала его из Путиловского завода. Побывал на всех фронтах, потерял половину пальцев на руке, а конца войны не видать. С остатками разбитого дивизиона он попал в Конотоп на новое формирование. Солдат разместили за городом в бывших холерных бараках.

Командиры, напуганные отменой отдания чести, не слишком нажимали теперь и на занятия «словесностью», а потому солдаты все свое время посвящали митингам в селе либо лузганью семечек. Толстым слоем шелухи был покрыт не только пол казармы, а казалось, весь город.

Местные фронтовики и крестьянская беднота, покорствовавшая все еще кулакам, теперь старалась во всем подражать артиллеристам. Они даже ввели в состав своего революционного комитета взводного 3-й батареи Нестора Натуру.

Но постепенно дружба между солдатами и крестьянами начала омрачаться. Особенно с весны. Артиллеристы, не зная, к чему приложить молодую силу, начали заигрывать с девчатами, а на тех, что покрасивее, жениться. Местных фронтовиков одолевала ревность.

Сходка крестьян и на этот раз собралась возле сельской управы, беленькой хатки с одним окном, выходившим к церкви. Артиллеристов и на этот раз пришло больше, чем крестьян, но Нестора Натуры среди них не было. Батарейный комитет послал его квартирьером в Ростов, куда намеревались перевести артдивизион, якобы на формирование. Но подозрительной казалась близость Дона, где уже скапливалась белогвардейщина. Это и было поручено разведать Натуре.

Крестьяне, собравшись загодя, сидели кучками на траве. К одному кружку подошел местный фронтовик в шинели внакидку и в обмотках на босых ногах. Роста он был маленького и с лица мелкий и старался возместить это хотя бы голосом.

— Триста лет романовский строй, — закричал он фальцетом, — значит, кровопийцы из нас кровь пили, и все

буржуи, капиталисты, разные анархисты хочут нам вернуть контрреволюцию. А мы кровь и пот проливали. Теперь требуем землю, потому что все народное!

Повернулся и пошел к другому кружку, а на его месте стал теперь солдат с одной половиной козырька на мятой фуражке. От него нестерпимо несло йодоформом. Взяв мужика за рукав, он как бы закончил мысль предыдущего оратора:

— Мы требуем, товарищи, восьмичасового рабочего дня — раз! — и ткнул собеседника черным от йода пальцем в раскрытую пазуху. — Дальше, мы требуем, чтоб землю отобрали у дворян и саботажников, и разделили ее напополам, так, чтоб не досталось кадетам, контрреволюционерам и меньшевикам-оборонцам, — два!

Его спокойный, будничный голос привлекал все новых слушателей. При каждом его слове они кивали головами, как бы подсчитывая всех своих врагов.

— Потом, товарищи, мы требуем, чтобы все были равноправны — и бабы и девки.

Последнее требование крестьянам не нравилось.

— Может, скажешь, и в министрах может ходить баба?

Вокруг засмеялись.

— Ихнее дело горшки да миски! — поучал бородатый мужик.

Прочие уже с сожалением посмотрели на солдата с переломанным козырьком и отвернулись.

Между тем сторож вынес из управы столик и скамейку. За ним вышли с бумагами писарь и председатель ревкома. Когда сторож разогнал хворостиной детвору, которая тут же играла в лошадки, и подогнал поближе крестьян, уже кричавших: «Громче, громче», писарь начал читать:

— «Согласно постановлению Временного правительства…»

Но его остановил председатель комитета:

— Ты скажи толком, что им надо?

— Чтоб мы выбрали от себя одного представителя в уездный земельный комитет.

Не дав ему закончить, на скамейку вскочил все тот же замухрышка-солдатик, в шинели внакидку и с обмотками на босых ногах. Уже охриплым голосом он прокричал те же слова, что и раньше, только добавил:

— Нас, товарищи, ждут немцы, и мы уже им написали, чтоб, значит, без аннексий и контрибуций!

Его спихнул другой солдат и сразу же замахал руками:

— Товарищи, у нас в Москве как было, когда контрреволюция и саботажники хотели назад посадить на престол Романова? Собрались и выбрали семерку…

— А нам одного нужно, — прервал его председатель. Но солдат на его слова не обратил никакого внимания, только закричал еще громче:

— Надо землю поделить так, чтобы всем по семь, а буржуям да кадетам — дулю! — и ткнул ее почему-то под нос председателю комитета.

Затем взял слово человечек с блудливыми, глубоко запавшими глазками. Он приложил сухую ручку к вышитой манишке, подобострастно поклонился на все стороны и вкрадчивым голосом начал:

— Люди добрые!..

— Нету теперь людей! — выкрикнул кто-то из толпы. — Теперь все равные — товарищи!

Оратор виновато усмехнулся:

— Я не видал буржуев, контрреволюционеров, они, может, по большим городам, а я вижу, что у нас такая беднота да теснота, что курицу некуда выпустить. Земли у нас разве что под ногтями…

— Твоя не уместится, — перебил тот же голос.

— А вот здесь, у пана, ее и собаки не едят. Значит, надо такого выбрать человека, чтобы по справедливости.

Начали выкрикивать кандидатов:

— Пономаря!

Человечек все еще стоял на скамейке. Он благодарно поклонился.

— Не надо. У пана служил. Снова будет холуем!

Человечек с обиженным видом соскочил со скамейки.

— Чуба! Не Ивана, этот не подходящий… Максима!

— А Максим чем лучше? Аж две коняки. Буржуй!

Часть крестьян отошла и стала в сторонке.

— Осыку Грицька! — выкрикнул уже председатель комитета. Но и его отвели:

— Больно ученый твой Осыка — за панов будет тянуть!

Кто-то назвал бабку Петриху. Это показалось таким несусветным, что все захохотали.

— Она бы дала духу твоей анафемской революции!

Наконец на скамейку взобрался какой-то и не солдат и не мужик. Голова обмотана платком, глаза красные, сам косматый, бородатый, один нос выглядывает. Пальто на нем состояло из заплат и кусков проволоки, заменявших пуговицы. Уже взобравшись на скамейку, он продолжал лущить семечки, выплевывая шелуху прямо на стол. Наконец выплюнул остатки себе в бороду и начал хриплым голосом:

— Товарищи, то есть солдаты! Я принадлежу к той партии, с

которой уже семнадцать лет борюсь. Принципиально я говорю, что все буржуи, кадеты и юнкера пили из нас кровь. Отнюдь не должно быть такого теперь, а для этого мы должны сразу же образовать всякие дружины. Вы должны оборужиться от большого до великого. И чтоб не критиковать себя, а иметь контакт и всякие программы. Только тогда мы сможем бороться с контрреволюцией и дойдем до рукомыслящего фронта!

Закончил он неожиданным предложением:

— А если выберете меня, старого шахтера Лежня, в земельный комитет, так я всех буржуев выведу. Я их по глазам узнаю!

Артиллеристы видели этого человека впервые. Поначалу они посмеивались над его диким видом. Но речь им пришлась по сердцу.

— В самую точку бьет!

Однако крестьяне были искренне возмущены. «Лежня в земельный комитет?» Вот уже сколько лет он живет при жене и ничего не делает. Жалея детей, мужики и Лежня подкармливали кусками хлеба. И уверены, что такой Лежень не знает, откуда этот хлеб берется. И чтобы теперь от него земля зависела? Та самая земля, о которой они мечтали всю жизнь?

— Ступай к своим на шахту и там распоряжайся! — истерически закричал кто-то из толпы.

— Думает, видно, что в комитете его задаром поить будут! — добавил второй.

Они даже кулаками начали грозить ему.

— Ты ее скорее пропьешь, чем поделишь!

А Лежень снова равнодушно лущил семечки.

Артиллеристы твердили свое: «В самую точку бьет. По-рабочему, правильно! Его послать в комитет, картинка будет, а не делегат!»

— Что это — насмешка?

Местные фронтовики решительно стали на сторону крестьян, закричали артиллеристам:

— Вам лишь бы только из села девчат волочить!

— Нешто им наша беда болит? Не имеете права влезать в наши дела!

Осмелели и другие:

— Им только бы на чужой спине революцию делать, царей скидывать! Мешал он вам?

— Дубиной их. Нехай идут на фронт!

Обиженные артиллеристы теперь уже нарочно стояли на своем, и в земельный комитет выбрали-таки Лежня, закутанного в платок.

Дня через три после этого возвратился из командировки и Нестор Натура. Я встретил его случайно в канцелярии батареи. Когда писарь куда-то отлучился, он сказал:

— Вы, говорят, были на этом собрании?

— Был.

— Что же вы не вразумили наших дураков? Ведь это явно идти на разрыв с крестьянством.

— Лежень — шахтер.

— Что с того, что он шахтер. А какой? Вы его знаете? Может, это видимость одна. А для крестьян земля — больной вопрос.

— Он же в самую точку, как кричали солдаты.

— Хотеть стать разумным, товарищ, — еще не значит быть разумным.

— Как, как? — переспросил я удивленно. Но Натура только нахмурил лоб.

— А может, это точка Керенского или Церетели? С селом нам нужно контакт иметь, а не раздражать. Вот и сказали бы им это.

— Так бы они меня и послушались.

— Вас послушались бы. Но у меня к вам другое дело. Мы думаем выбрать вас дивизионным судьей.

В последний раз мы с Натурой встречались с глазу на глаз еще на фронте, при обстоятельствах, которые на всю жизнь оставили знак на руке Натуры. На ней не хватало двух пальцев. Он заметил, что я смотрю на его искалеченную руку, и наверняка тоже вспомнил ту ночь.

Наша батарея стояла тогда на позиции под Обринчевым лесом в Галиции. Была душная ночь, поэтому солдаты спали прямо во рву, хотя днем он служил совсем для других надобностей. Как раз на эту ночь выпало мое дежурство.

Обходя батарею, я заметил в одной землянке свет. Это меня удивило, — кто-то не побоялся вшей, клопов и прочей нечисти, оставленной нам в наследство стоявшей здесь до нас воинской частью. Но могло быть, что солдаты завели в землянку какую-нибудь девушку из села. Случалось и так, что голодные матери сами приводили своих дочерей, лишь бы раздобыть хоть корку хлеба. Кое-кто из распутных солдат этим пользовался, не думая, что и немецкая разведка прибегает к таким методам.

Меня охватило возмущение, и я поспешно полез наверх, к землянкам. Вдруг свет исчез. До землянки было еще далеко, и я никого уже там не застал бы. Решил повернуть назад, но свет блеснул снова. Как видно, его кто-то лишь заслонил собой. Теперь он уже не гас, пока я не подошел совсем близко.

Шагах в десяти от землянки я поднялся на цыпочки, чтобы заглянуть в оконце, уверенный, что увижу именно то, чего

ожидал. Но вдруг там что-то взорвалось так, что земля содрогнулась под ногами. На один момент землянка ярко осветилась и сразу потонула во мраке, из которого послышался приглушенный стон.

В долине рвались немецкие снаряды. Такие же снаряды методически завывали над головой. В небе жужжал аэроплан. С разных сторон в него стреляли из винтовок солдаты, поэтому никто не обратил внимания ка взрыв в землянке. Должно быть, где-то вблизи разорвался снаряд!

Чувствуя, что в землянке произошло что-то необычное, я выхватил из кобуры наган, из кармана — электрический фонарик и кинулся туда.

От разрыва дверь распахнулась настежь. Свет фонарика осветил широкую спину в солдатской гимнастерке. Поднял выше — солдат был высокого роста, поэтому пригнул голову с черными усами. Он заполнял собой всю землянку, где обычно помещалось четверо, и оттого я сразу узнал в нем своего взводного Натуру.

Кроме него и едкого дыма, больше никого не было.

Нестор Натура, заметив на стене свет от фонарика, повернул голову к двери, но против света ничего не мог разобрать, между тем как я видел его хорошо — раздраженный взгляд холодных глаз, а под усами — сжатые губы.

Я молчал, не двигался и не отводил фонарика. Натура, наверно, про себя соображал, кому из офицеров может принадлежать эта удобная штучка, и даже прищурился. Потом нагнул голову и выставил на свет руку. Одного пальца на ней не было, а второй, окровавленный, висел под ладонью.

Невольно свет запрыгал и выхватил на полу из темноты четыре гильзы от шестидюймовых снарядов, ключ для вывертывания капсюлей и огарок свечи.

Нестор Натура, осмотрев искалеченную руку, рванул отбитый палец и кинул его на пол. Потом задрал гимнастерку, прижал широким подбородком к груди, а нижней рубашкой обмотал окровавленную культю.

— Правильному[15] хватит и этих трех, — прохрипел он наконец и шагнул к двери.

Я немного отвел фонарик, в его свете блеснула мушка моего нагана, точно перстень, который я носил на левой руке. Может, это и помогло Натуре догадаться, кто загородил ему дорогу.

— Так, — и шагнул к выходу.

Не сходя с места, я спокойным голосом проговорил:

— А может, тут побеседуем? — Невольно почувствовал раздражение и… зависть. Такая выдержка, такое самообладание!

Среди солдат он тоже пользовался гораздо большим уважением, чем любой из командиров. Ведь это по его подсказке во время пробной стрельбы на полигоне, в присутствии английского военного атташе, солдаты вывесили на батарее красный плакат с надписью:

«Долой Временное правительство! Долой Милюкова!
Вся власть Советам!»

И в довершение всего никто на батарее не ответил на приветствие английского полковника. А ведь перед этим командир батареи объяснял, что орудия системы «виккерс» привезены из Англии и что нужно приветствовать гостя хотя бы из дипломатических соображений.

Послушались, как видно, Натуры, а не командира.

Вскоре после этого я проведал, что несколько солдат, которыми командует Натура, давно уже агитируют против Временного правительства. Этим они могли бы и со мной поделиться. Хотя разговоры о том, будто Ленина немцы пропустили в Россию в своих целях, тревожили и меня, но Временное правительство и для меня не было идеалом, как, впрочем, и Совет рабочих и солдатских депутатов. Дальше шел такой туман, что я и не старался проникнуть вглубь, но Натура и его единомышленники не пожелали склонить меня на свою сторону. Офицер, мол. А поинтересовались хотя бы, почему я стал офицером? Ведь я совсем не хотел этой войны и был уверен, что, пока закончу ускоренный выпуск военного училища, война уже окажется в прошлом. Не моя вина, что так не произошло! Ну, а не пошел бы в артиллерийское училище, все равно мобилизовали бы в армию, только на шесть месяцев раньше. Сразу же по окончании землемерного училища. Теперь на меня надели золотые погоны с тремя звездочками, но разве я и мои товарищи относятся к солдатам так же, как кадровый капитан Трусов? Я даже намекал, что откровенность со мной солдатам не повредит. А что они ответили? «От откровенности с господами офицерами у солдат бока болят». Это все больше и больше раздражало меня, и я уже чувствовал, что ненавижу Натуру.

А теперь он в моих руках. Наставив фонарик, как рогатку против медведя, я сказал:

— Ну-с, любезный, домой захотелось?

Натуру, должно быть, это обидело, он хотел выпрямиться, гулко стукнулся теменем о потолок.

— Разве не пора?

— Хотели один, а тут целых два. Чем же это вы? Наганчиком или из винтовки?

Из окровавленной сорочки начала сочиться кровь. Натура опустил гимнастерку и обмотал ее вокруг красного комочка.

— Потом посмотрите, а сейчас пропустите меня в госпиталь! — И он, как вол, головой вперед двинулся на меня.

— Вы арестованы!

— Знаю!

— Ваше оружие?

— На батарее.

— То, что при вас?

— Никакого оружия тут у меня не было!

Я растерялся, В голосе Натуры не слышалось никакой фальши. Я посветил фонариком по землянке, — кроме четырех гильз, ключа и огарка, ничего не было. Даже будь у Натуры оружие, он не успел бы его спрятать. На земляной лежанке отблескивал еще развернутый капсюль.

— Что вы тут делали? — спросил я растерянно.

— Капсюли откручивал.

— Для чего?

— Для бомб. Революцию голыми руками, господин поручик, даже такими, как мои, не сделаешь. — И Натура поднес прямо к лицу мне растопыренную пятерню, точно собирался раздавить в ней мою голову.

Я инстинктивно отшатнулся. Тогда Натура перешагнул порог и выпрямился во весь рост.

— Ну, зовите караул, или как?

Я и на этот раз почувствовал себя маленьким перед ним. Поганенькое чувство обиды зашевелилось где-то в глубине души, но я сдавил его, как паршивого щенка, и, сердясь сам на себя, сказал, отвернувшись:

— А это уж от нас обоих будет зависеть, когда вызвать караул. Ступайте в околоток, а там увидим! — И я ушел в темную ночь, отмечая след только малиновым звоном савельевских шпор.

Теперь я по глазам Натуры увидел, что он вспомнил ту ночь в землянке, с четырьмя гильзами на полу и с окровавленной рукой, как вспомнил ее до мельчайших подробностей и я. Спросил:

— В судьи меня?

— Да, в судьи!

— За два пальца?

Натура наморщил лоб:

— Может, и за пальцы, товарищ! — И невольно взглянул на свою искалеченную руку.

ВО ВРАЖЕСКОМ СТАНЕ

Петра Тишу я знал, как самого себя: вместе росли, вместе учились в школе, вместе отбывали и воинскую службу в артиллерийском дивизионе, который принимал участие в наступлении Керенского. Потом наступали немцы, и нам пришлось взорвать все свои орудия.

Дивизион оттянули в тыл для переформирования. Так мы очутились в Конотопе, на Черниговщине. Солдат разместили в бараках, командиры поселились в самом городе.

То, что затем произошло с Тишей, было для меня полнейшей неожиданностью.

С каждым днем фронт все больше разваливался. Противник все легче продвигался вперед, потому что реакционные генералы российской армии — Корнилов, Каледин, Краснов, Деникин — накапливали силы для борьбы уже не с немцами, а с революцией. К Киеву, под желто-голубое знамя, стягивались украинские воинские части, изгонялись части с трехцветным знаменем. А там появился и гетман.

Обычно мы приезжали в казарму около десяти часов утра, но в этот день ординарцы подали лошадей, едва начало рассветать. Они были чем-то встревожены.

— Что такое? — спрашиваем.

— Куриная смерть! — выкрикнул один.

— Гайдамаки. Курень смерти, — пояснил другой. — Обложили казармы!

Когда мы прискакали к баракам, наши солдаты уже выносили из помещения оружие и сердито швыряли его к ногам казаков в серых папахах с синими шлыками. С двух сторон на казарму были нацелены пулеметы.

К командирам гайдамаки отнеслись снисходительнее: оставили нам сабли и револьверы, но батарею их сотник С обвислыми усами властно приказал расформировать.

— Через два дня чтоб вашего духу тут не было! — И презрительно добавил: — Защитники царя и отечества! А кто хочет, может присоединиться к нам — казакам!

Таких в батарее не нашлось, и через два дня бараки опустели. А еще спустя два-три дня выехали к себе на родину и командиры. Подгоняло наступление частей Красной Армии с севера.

Когда собрался наконец и Петро Тиша, поезд был забит битком. Насилу втиснул свою жену в тамбур, а для него самого уже не нашлось места, и он вынужден был ехать, несмотря на лютый мороз, на буферах.

Только после Харькова удалось не только влезть в вагон, а даже усесться возле окна. Хотя на Тише была еще шинель, но золотые погоны он уже снял. На память оставался только браунинг, да и тот был ни к чему.

На первой же большой станции после Харькова в их вагон вбежали матросы. И сразу послышалась ругань, выкрики. Кого-то повели по перрону.

Петро Тиша не собирался поддерживать оружием престол Николая II, но и расставаться ни с того ни с сего с браунингом не хотелось. За окном возились с чем-то дивчата. Он опустил окно и передал им браунинг.

— Пускай пока что у вас побудет!

Девушка, стоявшая с ведром, нисколько не удивилась. Взяла револьвер, положила на дно ведерка и прикрыла тряпкой.

Жене Петра, должно быть, уже представлялось, что матросы сейчас заберут ее мужа, — сидела перепуганная, растерянная. Он тоже нахмурился.

— Оружие! — крикнул матрос в пулеметных лентах крест-накрест.

Тиша еще больше нахмурился: матрос тыкал в него винтовкой.

— Ступайте к черту! — проговорил сердито. — Уже отобрали.

Так оно и было: шашку и наган пришлось сдать еще в Конотопе. Матрос поверил и пошел дальше.

Когда в вагоне снова установилась тишина, Петро кивнул дивчатам, и они, не сказав ни слова, вернули ему браунинг.

На следующий день Тиша был уже дома. Отец и радовался и горевал.

— Спрячь ты свою пушку. Шарят по всем хатам, и хоть бы кто путящий, а то Гнат с Водопоя. Прежде такой и не пискнул бы.

— Ладно, вечером куда-нибудь под стреху засуну! — ответил Тиша.

Направляясь домой, он надеялся, что его знают и что он будет чувствовать себя обыкновенным человеком, а не ответчиком за проступки всех офицеров царской армии. И барством его никто не попрекнет, потому что нужда постоянно гостила в их дому так же, как и в соседских. Слова отца кольнули неприятно, — словно бы земляки уже зачислили его во вражеский лагерь.

Загавкал на цепи Рябко.

— Вот и пожаловали, — сказал отец, глянув в окно.

В комнату вошли двое в потертых шинелях, с таким видом, словно настигли наконец преступника.

— Давайте оружие!

От их тона и поведения — даже «здравствуй» не сказали, — Тишу словно ткнул кто-то вилами.

— Нет! — громче, чем нужно, выкрикнул он.

— Так-таки и нет? А коли найдем?

— Ищите!

Тот, что был помоложе, явно смущался, но старший, тот самый Гнат, о котором говорил отец, с угрозой сказал:

— А вы, ваше благородие, не того, не дюже. Это вам не старый режим.

— Гнат, — оскорбленный за сына, укоризненно проговорил отец, но Гнат словно и не слышал — пытливо осматривался по сторонам.

— Ищи, Наум!

Когда они вышли ни с чем из дому, перепуганный отец вопросительно уставился на сына. Тиша подошел к постели и откинул вышитое полотенце. Под ним на гвоздике висел браунинг вороненой стали.

— Ну, а если б нашли?

— Забрали бы. Завтра я сам отнесу его в комитет.

— Да они ж и были — комитет.

— А мне откуда знать? Хоть бы ордер показали.

— Должно быть, сами хотели обзавестись оружием.

Браунинг был системы «астра», в нем почему-то больше пуль шло в перекос, чем стреляло. Тиша решил было сдать его и разделаться вчистую, но в последнюю минуту жаль стало этой игрушки. Зашел в хлевушок и засунул оружие между стропилами.

События развивались с каждым днем, и то, что возникало перед Тишей, ничуть от него не зависело.

По своей специальности он мог найти службу только в Харькове. В Харькове уже была советская власть, но одновременно через Харьков передвигался на Киев гайдамацкий полк атамана Болбочана, который восстал против гетмана, но и советской власти над собой не признавал.

Петро Тиша вернулся домой и застал повестку от воинского начальника. Его призывали, как офицера, в войска гетмана. В Харькове он сам видел, как военкоматы брали на учет бывших офицеров и относились к ним не слишком благосклонно. За неявку на мобилизацию грозила суровая расправа, и ее легко могли совершить люди, под ногами у которых уже горела земля. Петро порвал повестку.

— Оставьте меня в покое. Нужен мне ваш гетман, как прошлогодний снег!

К полку, восставшему против гетмана, Тиша примкнул, когда

эшелон остановился на ближней станции.

— Артиллерист?

— Командир батареи!

— И у нас батарея есть. Вот и будешь стрелять по гайдамакам.

Тиша про себя решил, что долго не задержится. Прогонят гетмана Скоропадского, а там будет видно. Может, из Киева сразу и домой вернется.

Киев на этот раз ему не довелось увидеть, потому что, пока эшелон дополз туда, гетман Скоропадский успел сбежать вместе с немецкими оккупантами в Берлин, а в Киеве уже правила Директория во главе с Симоном Петлюрой.

Тиша хотел тут же распрощаться с эшелоном, — уже вдоволь нагляделся, какой сброд прикладывал руки к созданию независимой Украины. Были здесь кадровые офицеры царской армии, цинично заявлявшие, что они воюют за тех, кто воюет против большевиков; было здесь и кулачье, вздыхавшее по своим уютным хуторам; были здесь и уголовники, которым казацкие жупаны помогали греть руки. А против кого воевать? Но их эшелон почему-то без задержки погнали в Галицию — бороться с поляками.

Возникала ясная, исторически оправданная цель: помочь украинской галицкой армии в ее борьбе с Польшей, собиравшейся оккупировать западноукраинские земли. Представлялся случай побывать в Галиции, о которой он так много читал, но которой до сих пор не видал.

А дни шли. В мыслях Тиша не раз уже возвращался домой, где оставил жену с грудным ребенком, пообещав через неделю-другую вернуться. Вот сбросит гетмана и вернется! Но прошла уже не неделя, и не две, — десять раз по две, а выбраться из паутины, которая опутала его в этой армии, становилось все труднее.

Сотник Тиша не задумывался да и не догадывался, что Западная Украина не одной только Польше, а всему международному империализму нужна прежде всего как «санитарный кордон» от Советской России, да и западноукраинский диктатор Петрушевич ничем не отличался от такого же диктатора Речи Посполитой — Юзефа Пилсудского. Когда вспыхнуло в Дрогобыче восстание рабочих, требовавших присоединения Галичины к Советской Украине, напуганный Петрушевич поскорее призвал поляков.

А как же с исторической необходимостью?

Польские части помогли Петрушевичу подавить восстание, но заодно выбросили за Збруч галицкую армию и оккупировали

Западную Украину.

Очутившись с остатками разбитого полка на родной земле, Петро Тиша задумался было о том, что настала пора расстаться с недобитыми петлюровцами, но… между частями армии Директории и частями Красной Армии, которая изгоняла союзников диктатора Петрушевича с украинской земли, был уже фронт. С юга надвигалась армия Деникина, намереваясь восстановить «единую неделимую Россию». Этих он будет бить, но ведь Красная Армия не только бьет, а помогает народу разорвать вековые оковы, создавать новый строй без господ и рабов. А он? Он все еще ищет себе оправдания. Ну же, соберись с силами, порви эти путы! Но таких сил он в себе не нашел. Боязнь ответственности за содеянное пересилила. Тишу уже трудно было узнать, он ходил черный как туча.

Директория из Винницы уже перебазировалась в Каменец-Подольск, а остатки разбитой армии очутились у самого Могилева.

Дальше отступать было некуда — за Днестром лежала уже Румыния. Вот она! Петро Тиша тупо смотрит на другой берег, а видит свой город. Люди там ложатся спать и встают, полные надежды на лучшее. Они сами его творят — невиданное, неслыханное. Новый мир! А мы? Живые мертвецы! Нужно бежать, бежать с этого кладбища, спасаться. Еще не поздно. У него становится так легко на сердце, словно и он уже кладет кирпич в здание нового мира, но из подоплеки едким дымом встают сомнения. Кто поверит его искренности? Где он раньше был? На что надеялся? Он увидел на противоположном берегу женщину, она вела за руку ребенка, и у него сжалось сердце. Там чужие, тут не наши. Горько!

— Пан сотник, вас зовет пан атаман! — крикнул еще издали казак.

Командир дивизии атаман Лизогуб мерил шагами комнату, как лунатик. В руке он держал записку, только что полученную из штаба командования. За окном падал мокрый снег, улицы были покрыты грязью, по ней не ходили, а казалось, ползали серые, безликие фигуры. Он наблюдает их уже не первый день, но сегодня среди них какая-то тревога: почти все движутся в одну сторону, к площади. Записка начинает вздрагивать в руках атамана. На пороге Петро Тиша.

— Вы меня звали, пан атаман?

Атаман Лизогуб выделялся среди прочих командиров дивизии интеллигентностью, мягкими чертами лица, подчеркнутой опрятностью и культурой. Это и привлекло к нему Петра Тишу с самых первых дней. Атаман тоже относился к нему

более благожелательно, чем к другим. Часто вызывал к себе и за стаканом чая вел с ним долгие беседы на исторические темы, но говорил только по-русски. Стороной Петро слышал, что у Лизогуба были на Полтавщине обширные имения и что крестьяне сожгли всю господскую усадьбу в первые же дни революции. Лизогуб об этом никогда не вспоминал, но в беседах с Петром постоянно заговаривал об исторических традициях, которые, мол, разрушает революция. Был он неплохой эрудит, умел внушить свою мысль.

Так шло, пока армия Директории не начала разваливаться. Теперь Лизогуба трудно было узнать. Похудел, осунулся, стал злым и жестоким. Только сотник Тиша все еще оставался у него как бы доверенным лицом.

— Вы знаете, в чем дело? — круто повернулся к нему атаман.

Сотник Тиша апатично бросил на стол мокрую папаху и тоже посмотрел в окно.

— Этого следовало ожидать, пан атаман.

— Чего именно?

— Говорят, что это по вашему приказанию тифозных больных оставили в селе, где ночевали в последний раз.

— Нам нужно думать о живых.

— Крестьяне выбросили их на улицу, и они приползли за нами. Босые и голые.

Атаман быстро глянул в окно: казаки уже группами шли на площадь.

— Говорите, выбросили? Вы мне морочили голову классовым расслоением, а тут мужик мужика выбрасывает на улицу. Вот вам и расслоение!

— Мы для них — враги. Враги своим! Это страшнее всего, пан атаман.

— Волка бояться… Значит, черная рада?[16] — И он кивнул на площадь.

— Лишь бы не хуже.

— Вот какое настроение?

— Дайте только им вырваться из этого чертова кольца, ни одного не увидите.

— Это нужно предупредить.

— Как?

— Оторваться от противника.

— На раскованных лошадях и с босыми людьми?

Атаман вдруг побагровел:

— Хоть на карачках!

От удара кулаком по столу зазвенел стакан с недопитым чаем, подпрыгнуло блюдечко, полное окурков. Сотник Тиша

невольно вытянулся в струнку, и на его грустном лице сразу проступила тупая покорность. Атаман даже отвернулся, вспомнил, должно быть, каким он впервые увидел этого молодого человека — волевое лицо, независимость мыслей, твердый взгляд на события. Понравилась и его лихость. Тогда перед ними были части не Красной, а деникинской армии. Дивизия Лизогуба остановилась на ночлег в селе Германовке, на Киевщине. Тут же к их дивизии примкнул какой-то безымянный отряд. Пехота и артиллерия расположились по одну сторону пруда, а все обозы — на другой стороне.

Ночью Тиша долго не мог заснуть. После того как на петлюровскую армию напали деникинцы, ему полегчало. Теперь его служба в армии снова оправдывалась исторической необходимостью: бороться с провозвестниками «единой неделимой». А дальше? Дальше мысли почему-то возвращались к родному дому, к жене, к ребенку. Где-то послышалась музыка. Далеко, но звуки оркестра становились все отчетливее, и наконец Тиша различил уже и мотив. Играли марш «Черные гусары».

Бодрые звуки оркестра невольно вызвали у него улыбку: давно он не слыхал музыки. Но вслед за тем по спине пробежал озноб. Откуда оркестр? Чей оркестр? «Черные гусары»! Гусары? Он окинул взглядом солому, на которой вповалку спали казаки. Кроме него, никто больше не пошевельнулся. Не слышат! Тиша выбежал из клуни. Часовой, обняв винтовку, громко сопел носом.

Только на рассвете хватились и обнаружили — ночью бесследно пропал весь обоз. Крестьяне не могли объяснить толком, что случилось. Кто-то пришел с оркестром и погнал обоз на Васильков. Деникинцы были еще за Днепром. Значит, кто? Красные! Но Тиша настойчиво утверждал, что это были деникинцы.

— Почему вы так думаете? — допытывался атаман дивизии.

— «Черные гусары»! Марш! Я слышал отчетливо.

— Так-с, — проговорил наконец атаман, уставясь в землю. — «Черные гусары». Жалко обоза, но ничего не поделаешь. Значит, деникинцы. — И он почему-то вздохнул, глубоко и печально.

— А я думаю, красные, — сказал предводитель безымянного отряда, черный, как жук. И фамилия у него была — Жук. — Откуда тут взяться деникинцам?

— «Черные гусары»? Их еще можно нагнать!

Днем наконец все прояснилось. Возвратились трое обозных, и у каждого справка на руках: «Марковский полк. 2-й эскадрон. Первого сентября 1919 года (такой-то) отпускается домой из армии по демобилизации». А на словах приказ офицера: «Больше к своим не возвращаться».

— Целый эскадрон. Они и сами не надеялись встретиться с нами.

— Можно живьем забрать. Вон в том селе!

— Где? — поспешно спросил Жук.

Атаман Лизогуб молчал. На вожака отряда поглядывал искоса и недружелюбно. Его хлопцы, как потревоженный муравейник, уже подходили ближе, наводя страх своим диким видом даже на расхристанных казаков. В это время на дороге появился трубач с белым флагом. За ним на белом коне капитан в черном френче с «адамовой головой» на рукаве и еще двое всадников. Они остановились на пригорке. Навстречу им выехали, любезно улыбаясь, атаман Лизогуб и все командиры полков. Позади охал на пузатой кобыле предводитель повстанцев, волосатая грудь его выглядывала из распахнутой рубахи.

Капитан иронически кривил губы.

— Наши требования кратки, — объявил он, — складывайте оружие!

— А это видал? — перебил его Жук, тыча рукой за переднюю луку.

Капитан оскорбленно пожал плечами и развернул лист бумаги.

— Вам известен приказ генерала Деникина по Южной армии? Нет?

Атаман Лизогуб спросил:

— Допустим, мы сложили оружие, а дальше? Не забывайте, тысячи отдали жизнь!

— А остальные вступают в нашу армию. Кто не желает — может расходиться по домам.

— А Украина? — выкрикнул Тиша из задних рядов.

— Украина? О такой мы не слыхали. А Малороссия остается на месте! — насмешливо ответил капитан.

— То есть — никакой Украины?

— А вы видели ее до революции? Была матушка-Россия.

— Единая неделимая! — проговорил кто-то вызывающе.

— Оказывается, и вы грамотные! — съязвил капитан.

Атаман Лизогуб поморщился:

— Господин капитан, у вас всегда не хватало клепок в голове или только теперь?

Капитан покраснел и уже громко закричал:

— Еще раз приказываю — сложить оружие!

— А иначе? — задорно выкрикнул вожак повстанцев на пузатой кобыле.

— Увидишь, морда!

Теперь обозлился вожак повстанцев:

— Пустите меня. Вот я с ним поговорю. Хлопцы!

Его придержали за рукав разодранной рубахи. Атаман Лизогуб нахмурился:

— Погодите, Жук. Господин капитан, вам дается пять минут. А дальше… — Он не закончил, повернул коня и поскакал назад.

Парламентеры кинули злобный взгляд на Жука, крутнулись на лошадях и исчезли в поднятой копытами пыли. Косматый Жук так и метнулся за ними, как за диким зверьем, да еще взревел вдогонку:

— Лови их!

Сотника Тиши это не касалось, но он первым выбежал вперед. Подбежали и «хлопцы».

— Скидывай сапоги! Собачьей рысью! — заорал Жук. — Ату их!

Сотня босых пяток замелькала по жнивью и быстро исчезла за холмом.

Примерно в полдень над селом появился аэроплан.

— Большевистский! — закричали казаки.

— Присмотрись лучше — с царскими знаками!

Под крыльями были трехцветные кольца.

Пилот кого-то искал, — уже снизился так, что видно было, как он выглядывает из кабины. На площади у церкви стояли крестьянские телеги со снарядами. По уличкам слонялись казаки. Сверху они казались столбиками, но тени на земле рисовали очертания человека. Пилот высунул руку, и из-под самолета выпала длинная трубка. Ветром ее занесло на огороды.

В это время в штаб прискакал гонец из безымянного отряда. Жук писал на вырванном из бухгалтерской книги листке:

> «Полдня гоняю барбосов по кругу. Верст двадцать сделал, а сейчас гоню к Днепру. Только это, пожалуй, красные надели погоны: что-то больно проворны. Мы уж и рубахи поскидывали».

…Воспоминания Лизогуба прервал стук тарелок за дверью: хозяйка, должно быть, готовила обед. Пообедает и спокойно подремлет часок, а ему думать о «черной раде», которую собираются сейчас провести казаки. Взглянул на сотника Тишу. Что от него осталось? А ведь был полон энергии… Лизогуб снова погрузился в воспоминания…

Вскоре принесли трубку, сброшенную с аэроплана. В вымпеле был приказ:

> «Капитану Строганову. Киев уже в наших руках. Генерал Бредов приказывает вам также спешно идти на

Киев».

Командир первого полка, с усами стрелкой, скрипнул зубами.

— Лопнул, значит, Киев?

— Пожалуй, ничего и не вывезли, — в раздумье сказал атаман дивизии.

— Такие вывезут. Они, говорят, парад вздумали устраивать, когда враг был уже на мосту. В солдатики играли! — И он сочно выругался.

Бородатый командир второго полка, всегда ходивший с карабином поперек широкой груди, сверкнул на всех белками из-под косматых бровей.

— А им, видать, этого и хотелось. Лишь бы не красные. А мы за них головы кладем. Жука бы на них напустить. Чтобы знали, как играть в гетманцев. Всякая бездарь, а туда же.

— Ты это о ком? Может, об атамане Петлюре?

— А хотя бы и о нем. Крутится, как дерьмо в проруби, и сам не знает, кто он такой!

— А ему и не надо знать, — вставил атаман Лизогуб.

— Правда ваша. Скачи, враже, как пан скажет. Что угодно берите, только меня не гоните! И торгует бедной Украиной, как цыган лошадьми.

— В тебе, должно быть, сто чертей сидит, — сказал командир первого полка.

— Я и одному был бы рад, так ведь, говорят, черт тобой занят.

Между тем возвратился отряд Жука. На плечах предводителя красовался теперь капитанский френч. Под ним играл белый жеребец, а на пузатой кобыле ехал чубатый мужик, тоже не в своей шапке, а в кавалерийской фуражке. Только сотник Тиша остался в своей одежде и даже босиком.

— Красные! — небрежно сказал Жук, от которого на версту несло по́том и самогоном.

— А ты разве взял пленных? — спросил бородатый командир полка.

— Не успел. На дно пошли все, как камешки.

Ему показали приказ генерала Бредова. Жук крякнул:

— Я так и думал, только воображение было другое.

В ту же ночь хлопцы Жука разграбили в селе кооператив. Казаки, которые делали то же самое, только под видом покупки в кредит, подняли шум: «Пускай отобьет у Бредова Киев, а тогда и грабит сколько влезет!» На это уже обиделся Жук, не согласился с программой Петлюры, объявил себя «самостийником без программы» и повернул со своей ватагой на Фастов…

…Могилев лежит, как горсть вареных груш на дне глиняной миски, в расселине у самой реки. Это катит свои воды в Черное море Днестр.

С противоположного берега смотрит сюда подслеповатыми окнами городок Атаки и пачкает румынское небо дымом из мокрых труб.

Проходя по главной улице к площади, атаман Лизогуб в одном из переулков, сбегавших к воде, увидел скорчившуюся фигуру. Человек следил за кем-то на другом берегу. Атаман подошел ближе. Сотник Тиша!

— Что вы тут делаете?

Тиша вздрогнул и поднял на атамана глаза, полные невыразимой тоски.

— Смотрю, пан атаман! Вот поглядите на тот берег. Баба высыпала за хату мусор. Из решета!

— Ну и что же?

— Смотрите, как спокойно. Должно быть, подметала хату, вынесла мусор на задворки и спокойно высыпала на снег. Она не боится за свою голову, за завтрашний день.

Атаман Лизогуб закусил кончик уса и взглянул, но не за реку, а направо. Там, точно кит с перебитым хребтом, лежал в воде ребристый мост, а в конце его, с румынской стороны, двигалась какая-то фигура, — наверно, часовой.

— Так вас заинтересовал мусор?

Тиша глубоко вздохнул:

— Пан атаман, скажите… Э, да что говорить.

— В чем дело?

— Вы будете смеяться. Но, по совести, вам не хочется завыть волком, так, чтобы излить все отчаяние обманутых нами людей? Ведь они голые, босые и живут только нашими обещаниями. И таких большинство. А мы им лжем, лишь бы удержать при себе. Ведь это правда. А там баба высыпала мусор, пошла к соседке. Вместе, должно быть, будут удивляться, чего это не поделили их соседи по ту сторону Днестра.

— С такими мыслями, пан сотник, вам надо было идти в монастырь, а не в армию.

— Нас не спрашивая, продают оптом, — продолжал Тиша, — кому угодно, даже этим… цыганам.

— Эти «цыгане» дают нам снаряды.

— Ненужные им или негодные. Половина не разрывается… Смотрите, смотрите, их офицер!

— Ну и что с того?

— Сытый, обутый… Нас румыны не пропустят на ту сторону?

— К ним никто и не собирается. А вы, пан сотник, как вижу, жалеете, что мост взорван.

Сотник Тиша вспыхнул было, но тут же погас. Он утратил уже свою волю, стал тряпкой в руках у пана атамана. Сперва это хотя бы мучило, но постепенно смирился.

— Пан атаман, скорбь о наших бедах — еще не дезертирство! — ответил, как бы оправдываясь.

— Как кому взглянется. Зайдите ко мне, потолкуем.

Повернулся и твердо зашагал дальше.

Однако Тиша уже знал: и походка, и спокойное выражение лица лишь для виду, а на самом деле атамана тоже грызет какая-то неотвязная мысль; только мысли у них далеко не одинаковы. Вот и сейчас, явившись по вызову, Тиша прочел в его лице растерянность и даже удивился, но через минуту атаман стоял перед ним точно закованный в панцирь.

— Сколько из вашего дивизиона сбежало тогда в Черном Острове?

— Казаков много, а еще больше старшин. Эти — в Польшу. Даже государственный инспектор.

Атаман надкусил конец сигареты и выплюнул под ноги.

— Это доказывает, что нам нужно как можно скорее пробираться на Полесье.

— Чтобы ближе было бежать в Польшу?

Атаман нахмурился, но тона не менял.

— Забьемся в глухие углы, а весной как снег на голову… Красным будет не до нас, а может, их к тому времени совсем прикончат деникинцы.

— А мы своих и без деникинцев потопим в болотах.

— Почему? У Шепетовки поляки будут и дальше соблюдать нейтралитет.

— Пока не перебежит остаток наших командиров. Извините меня, пан атаман, — робко улыбнулся Тиша. — Мы уже поумнели. Все это — такая же утопия, как признание Европой нашей независимости, как слепящие лучи, которыми приманивали неразумных. Такая же утопия, как переговоры с деникинцами, — они и на порог нас не пустили, — как сотни других выдумок, которыми заставляли тысячи доверчивых, немудрящих мужичков погибать, воюя и с поляками, и с белыми, и с красными. Ради чего? Чтобы в конце концов очутиться в каких-то болотах и потихоньку вымирать от тифа? Нет, пан атаман, наша песенка спета!

Атаман Лизогуб наморщил лоб, заложил руку за борт френча.

— С чьего голоса поете, пан сотник? Тур тоже мне что-то такое плел.

Тур — командир второго полка.

Тиша покраснел. Ему хотелось крикнуть: «Что ж, Тур, может, и прав. Каких только мерзавцев не тащили мы за собой, пока они не драпанули за рубеж. А ведь они нас направляли! Они нашими руками надеялись вернуть себе имения, из которых их выгнал народ. И правильно сделал!» Но что до того Лизогубу, когда он и сам таковский. Глядит, точно насквозь прошивает электрическим током. От этого взгляда у Тиши всегда слабела воля, и он только сказал:

— Пан атаман, это не чужие, а мои собственные мысли. Разве не понятно, что, если мы по доброй воле вскочим в новое окружение, Пинские болота в один прекрасный день станут для нашей армии подлинной Сциллой и Харибдой? И это интуитивно чувствуют казаки. Вы сами знаете, что влияние атамана Тура на них очень велико, и своими лозунгами на нынешней «черной раде» он может положить конец этой бесславной эпопее. Тифозные — только предлог!

С каждым его словом лицо атамана все больше омрачалось. Он понимал опасность задуманной операции, но, как незадачливый картежник, видимо, решил уже идти ва-банк.

— Вы преувеличиваете опасность, пан сотник. Вся сволочь уже выветрилась из армии. А тех, кому пришла охота стать красным генералом, мы сумеем унять.

— Так, как сегодня?

— Что вы подразумеваете?

— Стрельбу на станции.

Атаман быстро отвернулся к окну.

— Знаете, по ком стреляли?

— По ком? — потянувшись к окну, бесстрастно спросил атаман.

Тиша сгреб со стола папаху.

— По нашей же делегации, которая ездила в Москву. Вы пойдете на собрание? Там об этом будут спрашивать.

— Не собираюсь.

— А я пойду. Мы ведь умеем только умирать, а за что?

— За Украину!

— И галичане за Украину, а перекинулись к Деникину. И красные за Украину! Выходит, нет единой Украины?

В комнату вошел ординарец атамана.

— Архипенко, за что ты воюешь? — спросил его атаман.

— Затем, чтоб домой вернуться, пан атаман!

— Не зачем, а за что?

— Прежде так сапоги давали, а теперь… — И он указал на свои опорки.

— Чего пришел? — уже сердито спросил атаман.

— Сказывают, митинг или рада какая-то.

— И ты туда же… Кликни мне комдива!

С ординарцем вышел на улицу и Тиша. Он морщил лоб: стрелять по своим? Ведь они даже и в Москву поехали, может быть, не по своей воле? Так кто же теперь пойдет за такими командирами в Пинские болота? Пойдут! Под страхом наказания пойдут. Как овцы сбиваются в кучу, видя опасность. И лизогубы это понимают. Понимают, и не страшатся ответственности за приказ стрелять по своей делегации, лишь бы только она не раскрыла глаз казакам!

Ох, как грустно, как грустно мне:
Костер догорит без возврата,
А я не сгорел в огне!

Эти строки сами сложились у него в голове, хотя он никогда не был поэтом.

Сегодня и завтра… Завтра?

О завтрашнем дне Тиша боялся думать. Он знал настроение атамана Тура и многих казаков, не знал только содержания записки, которую атаман Лизогуб вынул теперь из бокового карманчика френча и перечитал еще раз:

«Атаман Тур мутит голытьбу. Репрессии могут вызвать нежелательные последствия. Лучше дать им возможность поскорее покинуть нашу среду. Головной атаман С. Петлюра отзывается одобрительно о вашей дивизии и надеется, что вы убережете ее от красной заразы… Любар, 30 августа 1919 года».

Не приходилось долго раздумывать, чтобы понять, что Директория ужо перебазировалась в жалкий городишко на Житомирщине. В другой раз это обеспокоило бы Лизогуба, но известие о том, что сам головной атаман возлагает надежды на его дивизию, на какое-то время заслонило все прочее.

— Архипенко, куда тебя черт унес? Позови мне комартдива. Живо!

Атаман не успел еще раз пробежать глазами записку из штаба главнокомандующего, как командир легкого артдивизиона уже появился в комнате. За обвислые щеки, короткий нос и

выпученные глаза его прозвали бульдогом.

— Ну, пан Бурчак?

Бурчак молча моргал глазами.

— Результаты, результаты? — раздраженно допытывался атаман Лизогуб. — Вы были на станции, когда стреляли по делегации?

— Был, пан атаман. И сам стрелял.

— Не было казаков, что ли?

— Не хотели!

— ??

— Потащился назад, к своим большевикам.

— Кто?

— Поезд с делегацией.

— Что на площади делается?

— Митингуют, пан атаман. Тур заявил, что пора кончать. Говорит: «Иду к красным. Я, говорит, спрашивал повсюду, от Киева до Могилева, и теперь знаю, — только с красным знаменем нас примет народ». А гайдамакам это — как салом по губам. Чуть не побили командарма. Говорят, должен прибыть и сам головной атаман Петлюра, но только, пожалуй, лучше не показываться. Против правды не попрешь.

— А ваш дивизион?

Бурчак заморгал глазами и полез в карман за платком.

— Как ваши казаки? — повторил вопрос атаман.

— Чтоб очень, так нет. А вообще, не так, чтобы и нет. Хотя, с другой стороны, это еще слава богу.

— Вы знаете, что ваш начальник артиллерии скрылся?

Бурчак задвигал бровями, еще не зная, как реагировать на эти слова. Наконец растянул губы в усмешку:

— Точно так, пан атаман. Дал тягу, значит! А куда, не знаете?

— Меня это не касается.

— Правильно, пан атаман. Кто захочет, тот найдет.

— Вы слышали, что я сказал? И поняли? Все!

Командир артдивизиона пристукнул тяжелыми сапогами, подошел к двери и уже через плечо, почему-то шепотом, спросил:

— А это скоро будет, пан атаман?

Атамана передернуло.

— От вас будет зависеть, Бурчак!

— Понимаю, пан атаман.

Вечерело. Лизогуб уже знал, что головного атамана Петлюры на экстренном совете старшин не будет, а слушать и не отвечать на истерические выкрики Тура он не хотел и не мог. Пусть думают, что Тур взял верх.

— Хозяйка! — постучал он в дверь. — Может, у вас найдется

что-нибудь почитать?

— А как же. Есть, есть. Вот, нате!

— Благодарю.

«Как выбирать в Учредительное собрание». Лизогуб швырнул брошюрку под стол, вынул из бокового кармана трубку и заволокся дымом.

В кабинете председателя городской управы, освещенном подслеповатой лампой, старшины сидели на стульях вдоль стен, свесив косматые головы. Такие же тени рисовались у них за плечами. Тяжелый дух от распаренных кожухов и шинелей, смешанный с махорочным дымом, давил на грудь и на сердце. Казалось, табун разгоряченных лошадей попал в трясину и молча ждет своей гибели. А вот один не верил в это. Раскрасневшийся, с карабином поперек груди, атаман Тур стоял перед столом, за которым сидели представители командования. Размахивая смушковой шапкой, он, казалось, не говорил, а выкашливал:

— Хватит, хватит, говорю, морочить людям голову! Со своего большого ума вы и болбочанов наплодили. Из-за своей глупости и Киев на съедение белым отдали. Почему, спрашиваю я вас, деникинцы вам стали лучше красных? Думаете, мы не видим, с какой завистью поглядывает атаман Лизогуб на золотые погоны? Почему вы не посмели ударить на господ бредовых, а тянули, пока не рассыпалась наша армия? Почему вы, не спрашивая народа, завели шуры-муры с поляками, с нашими вековечными врагами, а своих красных сынов гоните с Украины?

— И тебя прогоним, — буркнул кто-то из темного угла. — Ты таки допочемукаешься, Тур!

— И еще я спрашиваю: почему вы стреляете по своей делегации, которая, может, везла судьбу целого народа? Или его участь вас не интересует? Вам лишь бы себя дороже продать. Злодеи вы после этого, предатели!

В комнате поднялся шум:

— Сам ты злодей! Сам ты предатель!

— Арестовать его!

— Попробуйте! — огрызнулся Тур.

— Попробуем. Довольно ты борщей напробовался!

— Теперь ему кислых щей захотелось!

— А вам — фляков по-польски!

— Не давайте ему говорить. Продажная шкура!

— Чего мы цацкаемся с ним? Берите его!..

Тур окинул всех взглядом, как стаю собак, и положил руку на карабин. В комнате стихло. Он надел на голову мохнатую шапку и шагнул к порогу.

— Еще раз говорю — попробуйте!

В углу, перед иконами, висела лампадка. Тур кивнул головой на образа:

— Молитесь им и дальше, а с нас хватит! Теперь наша вера вот какая! — И он выставил вперед конец красного пояса.

— На нем ты и повесишься, Тур!

— Я с народом. А кто с народом, тот не пропадет. Я иду к большевикам!

Ошеломленные старшины все еще смотрели на дверь, за которой исчезла широкая спина Тура.

Потом выступил представитель командования, усатый полковник:

— Казаков надо будет вывести из Полесья. Это наш моральный долг. Но сделать это можно будет только весной, а пока что эту силу мы должны удержать, хотя бы с чужой помощью.

— Может, поляков? — выкрикнул кто-то.

Вопрос остался без ответа — полковник уже спокойно уселся в свое кресло.

Говорил еще командир первого полка, с усами стрелкой. Вся его речь сводилась к тому, чтобы соблазнить измученных людей длительным отдыхом в Полесье, где можно будет спать раздевшись, не болеть душой о неподкованных лошадях, разутых казаках. А придет весна — с новыми силами завершить освобождение матери-Украины.

— Это самый лучший выход: за зиму нас наверняка признает Антанта. Красные уже сгорели под лучами нашего солнца. Сгорят и деникинцы. А тут мы и появимся. И снова Киев встретит своих отважных казаков под перезвон тридцати церквей, а славный Богдан укажет булавой, куда нам наступать дальше!

У старшин расширились, заблестели глаза. Загудели, как потревоженные пчелы в улье. Только один сидел в темном углу, опустив голову на руки. Наконец он поднялся и кинул столу:

— Подлец!

Это был сотник Тиша. Встал и вышел из комнаты. На минуту в комнате наступило замешательство. До сих пор Тиша был всему послушным, хорошим товарищем, на удивление скромным — и вдруг… Но за столом уже говорил еще один представитель командования.

Решено было немедленно отойти в район Мирополя и Черторыи и там перезимовать.

Недалеко от квартиры атамана сотник Тиша встретил Лизогуба.

— Пан атаман…

— Знаю! — прервал его атаман. — Ступайте, готовьте свою сотню: сейчас выступаем. Через час ожидаю вас с рапортом.

Сотник Тиша шел не спеша. Он был занят какими-то мыслями и не обращал внимания на то, что время уходит. Скрип телег, приглушенный говор заставили его опомниться. А еще через несколько минут он уже стучался в дверь к атаману Лизогубу.

— В чем дело, пан сотник? — спросил удивленный его растерянным видом атаман. — Что случилось?

— Второй полк с Туром выступил…

— Молодцы! — перебил его атаман.

— Да, но с красным знаменем… И на Любар!

Атаман побледнел, по старался не показать этого сотнику.

— Кто вам сказал?

— Сотник Покотило!

— А батареи?

— Из трех две пошли за ними.

В Любар перебазировалось уже правительство Директории и главное командование. Избранный Туром маршрут не оставлял никаких сомнений насчет его намерений. Усиленный артиллерией, лучший полк становился угрозой существованию самой Директории. Атаман выскочил из-за стола:

— Верните Бурчака! Хоть голову его, но чтоб он был мне тут!

Сотник Тиша не двигался с места.

— Слышите, немедленно догнать командира дивизиона. Я его назначаю начальником артиллерии!

— Бурчак куда-то скрылся еще раньше, пан атаман!

— Вернуть его!.. Примите от Бурчака дивизион.

Удивленный таким назначением, Тиша поднес руку к виску. Как лунатик, вышел из дома. Уже издали, затихая, долетела песня: «Ми гайдамаки, всі ми однакі всім нам ненависні пута і ярмо…» Кто сказал, что они предатели? Ложь! Они идут к своему народу. А мы? А мы — в болото?

Песня все больше удалялась на север, а Петро Тиша все стоял на одном месте, машинально нащупывая в кармане браунинг «астра». В мозгу у него возникали один за другим вопросы: где? где? Но мозг, казалось, заволокло едким дымом. Он снова спрашивал: где? где же правда? И не находил ответа. Но кто-то должен же дать ответ!

Атаман Лизогуб не дождался рапорта сотника Тиши ни в этот вечер, ни на следующий день.

Телеграмма

Валки. Посуньки. Панченко. 27/I 1920.
Я здоров. Как Таня. Пишите Красная Армия.
60-я дивизия.

Петро Тиша.

БУРЕЛОМ

Два дня из уст в уста передавался достоверный слух: «Сам Михаил Александрович, брат царя, разъезжает по селам верхом на белом коне и велит разбивать помещичьи усадьбы».

Я себе ясно представлял лишь коня: ноздри у него пышут огнем, дугой шея, трубой хвост, а тоненькие ножки совсем не касаются земли. Такого коня я видел у шапочника на фотографии под зеркальцем. Сверху на карточке была надпись: «На память о моей военной службе», а ниже на коне скакал с пистолетом в руке сам шапочник. Вся его фигура дышала воинственным пылом и отвагой, только голова почему-то выглядывала из круглой дырки и глядела, выпучив глаза, прямо на вас.

С вечера у нашего дома о чем-то таинственно совещались соседи, а наутро почти в каждом дворе появился какой-нибудь предмет, на который домашние таращили глаза, в точности, как вояка-солдат на фотографии у шапочника. Он этой ночью принес из усадьбы бюст какого-то генерала, а сосед с той стороны улицы приволок трюмо, размером побольше, и поставил у хаты. Детвора вертелась перед ним, показывала языки и визжала.

Кривой сапожник притащил двухлемешный плуг, а те, у кого были лошади, этой ночью разжились сахаром и пшеницей.

У нас в доме тоже появились круглые рамки, подлокотник с потрескавшейся львиной мордой и книжка в голубой обложке. Напечатана она была мельче, чем Библия, которую по субботам читал мой отец, и я решил, что голубая книжечка, пожалуй, интереснее отцовской Библии. В ту пору я писал еще только «по трем косым», а читал только по складам, и потому содержание книжки осталось для меня загадкой.

Спустя три дня в городе появилась карательная экспедиция губернатора Оболенского, и во всех колодцах вода сделалась сладкой. Кривой сапожник не смог забросить двухлемешный плуг в колодец, но самого вода покрывала с головой, — в колодце и нашли его, уже посиневшего. А Степан, что жил на большаке, вез домой картошку с поля, а навстречу казаки с лихо взбитыми чубами: «Почему шапки не снимаешь перед губернатором?»

И на другой день лежал Степан уже в гробу. На его исполосованное багровыми шрамами лицо со страхом смотрела четверка разом осиротевших детей.

Я спрятал голубую книжку за печь, а другие зарывали господские вещи в землю, даже сверху деревья сажали.

Шапочник, бравый воин, в сердцах отбил генералу нос и закинул его бюст в нужник, но генерал не хотел тонуть, как ни

заталкивал его дрючком шапочник. За этим занятием и застали его казаки.

Тогда же мне впервые захотелось все это описать, как в голубой книжке, и послать в газету или журнал, потому что люди могли и не знать о подобной расправе, как, пожалуй, вовсе не знали и про тот глухой угол, где мы жили, — его видали разве что коршуны, кружившие в небе. Не сделал я этого по двум причинам: во-первых, кругом все еще рыскали казаки, а во-вторых, писал я тогда только «по трем косым».

А когда я вспомнил об этом спустя двадцать лет, то и книжки не мог найти, да и печь стояла совсем на другом месте. Однако я не жалею, потому что тайну голубой книжки я и без нее разгадал, хотя совсем поседел в тридцать лет из-за этого. И теперь мне жалко, что я уже не могу, как в детстве, надеть на голову соломенную шляпу, усесться рядом с матерью в гнездышко на возу, а позади под черной полстью квас или пряники, и ехать на ярмарку.

Выезжали обычно к ночи. Солнце уже клонилось за синюю кайму окоема, пыль начинала розоветь, навстречу пастушата гнали с поля скотину, и в узких улочках, обставленных плетнями, со сливняков тонко припахивало дымком. Сизыми прядями продирался он сквозь густую листву, от этого запаха веяло спокойствием, тишиной отягощенных урожаем деревьев.

Нагруженный воз ритмично постукивал колесами и неторопливо то поднимался в гору, то легко скатывался в балку, а впереди выступал синий-синий лес, и страх начинал шевелить волосы. Потянет то теплом, то влагой, сладкий дух конопли напоминает, что завтра на ярмарке будут продавать горы меда прямо из деревянных корыт. В медовом ряду всегда тучи пчел, их гудение заглушает даже «Лазаря» слепцов.

«Только бы кто-нибудь не ограбил в лесу», — думаю я и что есть силы вглядываюсь в зеленые пещеры и напрягаю слух. Где-то по выбоинам, подпрыгивая на корневищах, тарахтит порожняя телега. Она катится нам навстречу. Потом ее словно бы кто-то проглотил. Остановилась? Значит, это воры подъехали к дороге и подкарауливают нас.

А в лесу уже лежит сырой, вязкий полумрак, кусты оделись в черное, молчаливые стволы стали еще выше, и глухое ворчанье колес в глубокой колее доносится словно из-под земли. Постепенно и этот звук совсем затихает, тогда я слышу, как впереди в кустах что-то начинает шевелиться: вот сухо хрустнула ветка — должно быть, кто-то лезет. Вот зашуршала листва, и, наконец, я вижу как два высоченных разбойника выскакивают на дорогу и валят прямо по ней. А лошадь все так же неторопливо

подвигается вперед. Я испуганно толкаю маму, но она, сморившись, спит, уронив голову на торбу с сеном. Тогда я сам хватаю дрожащими руками вожжи и стараюсь отвести лошадь назад от кустов, но разбойники уже схватили меня и сбрасывают на землю. От боли и страха я кричу одно только слово:

— Мама!

— Ты уже проснулся? — говорит мать из-под навеса. — Ступай умойся, сынок, вон ведерко!

Я все еще боязливо озираюсь по сторонам. В тучах пыли между тополями поднимается белая церковь, на колокольне так и захлебываются колокола, а под крещатой оградой на разные голоса перекликаются лошади. Рядом сидят на земле слепцы и гудят на лирах, как шмели. Над базарной площадью, густо усыпанной людьми, ослепительно сияет солнце.

Вот почему и теперь, когда из-под древнего ветряка за школой я увижу маленький воз, который неторопливо тащит лошаденка, я провожаю его глазами, пока он не исчезнет в мягких очертаниях левадок. Тогда я думаю: сейчас он покатится вниз, и там ему приветливо закивают красными головками маки. Под колеса будут упрямо лезть на дорогу, хотя и потоптанные, усатые плети тыкв, а через тыны перевесятся полнощекие георгины, остро запахнет душистой полынью, раскиданной по откосам, как серебро. Дальше дорога поползет на взгорок, где млеет под солнцем, как растерзанный сноп, шестикрылый ветряк.

Зимой поле за школой умирает под белой пеленой снега. Сверкающие то на солнце, то под лучами месяца ледяные блестки гаснут только в тени. У самого ветряка она, синяя и густая, лежит на снегу, как разостланный платок, а у левадок и не различить, где кончается тень, где начинаются деревья. В голубом воздухе легким видением носятся снежинки и, кажется, вздрагивают от скрипа сапог. Высоко и стройно поднимается над хатами соломенный дым.

Летом над ветряком, в жарком небе, часто кружатся коршуны. Внизу лежит, весь в левадках, рощицах и садах мой город Валки. Дни там походили на хатки — такие же однообразные, такие же сонные, такие же неторопливые, как неторопливое в небе кружение коршунов.

Коршуны плыли дальше. Под ними уже кончался городок, последней, у самого поля, стояла наша хата. В саду четыре дубка и кусты береста, а ясени не успевали подняться, как отец уже рубил их на спицы.

Отец мастерил колеса, ему помогали мои братья, а я, не приспособленный к топору, должен был искать себе доли, как коршун поживы, в других краях…

Об этом я вспомнил намного позднее, когда с отрядом красных скакал к лесу, где засела отчаянная банда Харюка.

Мимо бежали долины, овражки, холмы, а буйная сила все рвалась на простор. Земля уплывала из-под ног, и ритмично поскрипывало седло. Кровь бешено стучала в жилах, а глаза ловили дальний горизонт. Я окинул взглядом землю. Она была прекрасна в эти мгновения: на ней был только цветной ковер из лугов и полей, а по взгорью окантовкой синели леса. Но вот блеснул Буг, как клинок, и снова исчез в камышах. Зазеленел и другой берег, круто сбегая к воде… И тут я увидел атамана Харюка.

Он возник на опушке с первыми лучами солнца, с ватагой всадников позади. Они остановились на минуту, как слепцы, почувствовавшие солнце, потом отделились от леса и, словно не касаясь земли, понеслись в поле. Впереди ватаги под желто-голубым знаменем скакал юноша, похожий на меня. Казалось, я видел себя в зеркале. Пьяный от романтического угара и крови, юнец точно на крыльях летел через долины, овраги, леса, и всюду ему чудились казацкие песни, головки спелых маков кивали навстречу гетманским булавам, дивчата в венках поили казацких коней у криниц, шинкари угощали его старыми медами и показывали куски красной свитки, маячащие теперь по всей Украине.

Летит орел, летит сизый
Да под небесами…

Из-за горы поднялась сиреневая полоса сумовского леса. Она тянулась под самый окоём. Туда атаман Харюк должен добраться со своим отрядом. Он горделиво оглянулся вокруг и окаменел. Следом скакал еще более сильный отряд с красным знаменем над головами. Впереди, нахмурив лоб над горбатым носом, летел, словно не касаясь земли, командир, похожий на него как вылитый. Казалось, он видел себя в зеркале, разве что постаревшим на год. Позади за его двойником грозно гремели орудия.

Молнией мелькнула мысль в голове Харюка: «Дальше от Буга, от реки, дальше от воды!».

И через минуту зеленый отряд рассыпался лавой и, поблескивая на солнце шашками, галопом помчался в степь. Но поздно: красные уже перерезали путь и все больше прижимали зеленых к воде. Командир на сером коне уже насмешливо кривил свои сочные губы. У атамана Харюка страх запрыгал в глазах и мускулы впервые охватила частая дрожь.

— Стой! — уже истерически выкрикнул он. — Врассыпную, кто куда!

Всадники на миг круто вздыбили коней и затем с животным криком кинулись в разные стороны.

Атаман Харюк стоял как окаменелый, пока вся его ватага не разбежалась, потом смерил глазами расстояние до Буга и через луг помчался к воде. Только бы выбраться ему на противоположный берег, тогда он и под пулями будет смеяться. Он был уверен, что история послала его на бой, и веками усыпленная сила теперь на крыльях несла его к воде.

Вот и берег. Рогоз, осока, заросли камыша далеко тянулись по воде. Внезапно конь точно споткнулся, и Харюк едва удержался в седле. С силой конь выдернул ноги, которые будто присосались к траве, но вторая пара загрузла еще глубже. Под ним была трясина. К чистой воде пробраться было невозможно.

Вырвав коня на твердый грунт, Харюк метнулся в другую сторону, но и тут была сочная трясина. А от степи приближался уже красный отряд.

Как затравленный зверь, носился атаман Харюк по зеленым лугам, зорко поглядывая то на болото в венке из камышей, то на красный отряд, который уже сбивал копытами цветы луговины и кольцом приближался к воде.

Атаман Харюк остановился. Обильный пот струился по его побледневшему лицу. Он еще раз посмотрел, уже вместе со мной, на противоположный берег: там спокойно паслись коровы, овцы черным клубком катились в балку, где, усталый от труда, шагал за плугом по твердой земле мужик.

Еще дальше, в багряном мареве, лежал овраг, а за ним дымилось село.

На том берегу царило уже спокойствие, там дивчата напевали уже другие песни, а красные маки расплескали свои лепестки над домами. Атаман Харюк глянул на солнце, и у него потемнело в глазах.

Когда наши кони сшиблись усталой грудью, я увидел на желтом лугу голубую тень Марка Проклятого. Солнце поднималось все выше, и с каждой минутой тень становилась все короче. Харюк кинул оружие и отдал красным своего обессиленного коня.

Украинские степные дороги, солнце и ветер и ветроногие наши кони слились с нами в одну гармонию. В багровом дыму костров мы летели вслед за двухголовым польским орлом на запад. Мы кружились над ширью полей Украины выше коршунов, плававших когда-то над задумчивыми ветряками. Пулеметный рокот и гром орудий загоняли за тучи орлов, мелькали

распластанные в лебеде села, над водой плакали вербы, а местечки и города теряли счет всяческим властям и атаманам.

Тут неумытые домики прятались в закоулках, вечерние сумерки щекотали нежные звуки старинных баллад и романсов. Немолодые, линялые регистраторы и счетоводы по вечерам дышали на крылечках вечерней прохладой. Они, как черви, выползали из норок, обнюхивали слепыми рыльцами воздух и, едва конь лязгал стальными копытами, поспешно уползали назад, в свои гнезда, протухшие еще дедовским потом. На ногах у них были войлочные туфли, и шаги красных гремели в их закоулках, как гром.

— Когда ж ты вернешься, любимый? — спрашивала меня голубоглазая девушка, кладя в полевую сумку маттиолы. Сквозь маркизет на груди у нее просвечивал значок: «Не рыдай, а добывай!»

На запад летели моторы, и в небе стоял пулеметный клекот. Я вздыбил своего коня и отделился от земли.

— Никогда!

Прошло десять лет. Замолкли над Збручем орудия, в лесах позарастали тайные тропки, кони стряхнули седла, и мой маузер настороженно повис на стене. Настали будни революции.

И только теперь я смог осуществить свою детскую мечту: «Написать, как в голубой книжечке, несколько страниц и послать в газету или журнал».

Но теперь моя книжка не уместится на печи, и цвета она жаркого, как костер. В ней город, в ней село, в ней новые заводы и Днепрострой.

В ней наша, советская жизнь. И когда я хожу теперь по улицам, и выплывают порой навстречу голубые глаза, я вспоминаю маттиолы и звуки баллад или романсов. Глаза тают в вечерней мгле, а я все еще вижу, как ветер веет над расплесканными хлебами по всей шири полей Украины и кружит дым над заводами. Мой ветряк за школой, буйными ветрами обескрыленный, доживает под солнцем последние дни, и хоть над ним еще кружатся коршуны, но все чаще в жарком небе рокочет мотор, а внизу курится пылью большак, и рядом, в венке садов, мой городок Валки. И вспоминаю я тогдашние дни, похожие на хатки, такие же однообразные и неторопливые, как неторопливое в небе круженье коршунья.

ЛЮБОВЬ
(Из записной книжки)

Она вошла в вагон и села рядом со мной на свободное место. Светлые кудряшки над лбом, голубые глаза и ямочки на щеках, возникавшие, когда на пухленьких губах появлялась улыбка.

Под полом ритмически стучали колеса, ночная темнота завесила окно, а свет электрической лампочки почти не доходил до нас.

Сидели и разговаривали. Ни о чем! А пассажиры на каждой станции вставали и выходили. Наконец мы остались только вдвоем.

Было уже поздно.

Усталость наступала все сильнее. Девушка виновато улыбалась, и оттого ее личико становилось таким наивным, милым, что невольно хотелось приласкать его, приголубить.

Со сном она боролась уже через силу, наконец, как подраненная, склонила голову набок и упала мне на плечо.

Она тихо и спокойно спала. И я затаил дыхание — надо было быть палачом, чтобы осмелиться разбудить ее, потревожить сон, который обнял ее, как ласковое дуновение ветерка.

Я сидел как завороженный и не сводил глаз с ее лица. Было неудобно, но я терпел, потому что наслаждение смотреть на это личико, похожее на бутон розы, превосходило все остальное.

Так я готов был ехать без конца, но приближалась станция, на которой ей предстояло сойти.

И я поцеловал ее в сомкнутые веки.

Когда она, виновато улыбаясь, вышла в темную ночь, я почувствовал такую пустоту, как будто она унесла с собой мое сердце.

СИНИЕ ГЛАЗА

Я сижу над версткой очередной книжки журнала «Червоний шлях». На одной странице нужно подверстать какой-нибудь стишок, а в запасе такого нет. Но вот кто-то идет. Может, бог послал поэта?

В кабинет несмело, как в холодную воду, входит прокаленный солнцем паренек. У него синие глаза. На ходу стаскивает с головы кепку и широкой ладонью приглаживает волосы, похожие на свежее жнивье. Молчит, но губы его двигаются. Вижу, читает объявление над моей головой: «Если хочешь отдохнуть, иди в профсад».

Мне становится невтерпеж.

— Вы к нам?

— К вам, — отвечает паренек, вытирая кепкой лоб.

— Садитесь.

Паренек нацеливается задом и присаживается на краешек стула.

— Что скажете?

«Поэт, прозаик или еще нормальный человек?» — думаю про себя. Помятый пиджачок и линялые штаны, заправленные в сапоги, похож на «плужанина»[17].

Паренек молча сует мне потертую бумажку. Читаю:

> «Настоящим удостоверяется, что Гнат товарищ Струг — член комнезама[18] с 1925 года, занимается хлеборобством и всяким образованием…»

Я стараюсь угадать, какая напасть приключилась с этим удостоверенным членом комнезама, и думаю, что ему, наверно, нужна не редакция, а приемная ВУЦИК или районная милиция, помещающиеся рядом.

— Что случилось?

— Сочинение сочинили, — неожиданно отвечает паренек и почему-то отворачивается от стола.

— Сочинили?

Он кивает круглой головой и сует мне старую, с пожелтевшими уже страницами, книгу метрических записей какой-то Успенской церкви.

— Это только начало, — говорит он, оживая. — У меня уже три романа и стихотворение «ВКП».

Читаю заглавие: «Трактор на кресте, или Поп-душегуб». Написано вкривь и вкось. Спрашиваю.

— Это вы как же, коллективом сочиняли, что ли?

— Ну да, коллективом.

— И много вас писало?

— Так что я один.

— Значит, коллектив из одного человека!

Паренек утвердительно кивает на каждое мое слово, а глаза синие-синие, и мне уже не хочется иронизировать.

— А почему это у вас везде «я» такое чудное?

— Это я сам выдумал, потому что в ликбезе мы еще «я» не проходили. Так просмо́трите? Пожалуйста!

Какие же у него синие глаза — чистые-чистые.

Неужели придется ждать, пока он выучит букву «я», чтобы мне хоть что-нибудь путное удалось подверстать на пустую страницу? Но ведь тогда эти глаза уже помутнеют, не будет уже синих глаз, чистых-чистых, как у младенца!

ХОРОНИЛИ УЧИТЕЛЬНИЦУ
(Из записной книжки)

Злой ветер тоскливо завывал в голых кустах, моросил дождь. Мальчики, закончив раскидывать землю, чтобы могилка была неприметнее, отошли под дерево и начали перешептываться. У холмика остался только самый маленький, в матроске, с якорем на рукаве. Носочки его спустились, и голые икры краснели, как кленовые листья под ногами. На щеках сохли слезы, растертые кулачками.

Под желтым холмиком глины лежала его мама — ее сегодня, втайне от немецких оккупантов, сняли с виселицы и похоронили крестьяне.

Посовещавшись, мальчики подошли к малышу.

— Марчик, хочешь, пойдем с нами.

— Только никому, никому…

— Мы Ивана Сидоровича убьем!

— Это он выдал твою маму.

— Я у бабуси спрошу, — сквозь слезы говорит Марчик.

— Они уже и бабусю…

Ему не дали закончить. Задергали, затолкали.

— Я ж ничего не сказал! — оправдывается хлопец.

— Ты, Марчик, не ходи к ветряку.

— Хочешь, я тебе дам пугач?

— Я ж ничего не говорил…

— А ночевать приходи к нам.

— А бабуся где? Бабка! — вдруг закричал мальчик и побежал к школе.

— Я ж не сказал, что и его бабку повесили, — продолжал оправдываться мальчуган, которого затолкали, — нет, не сказал?

Другие опустили головы и молча смотрели на свежий холмик над их учительницей.

НИЩЕНКА

Памяти Юрия Яновского

Мы сидели у окна и вспоминали прошлое. По другой стороне улицы, боязливо озираясь, пробежала собака. И приятель неожиданно спросил меня:

— Вы помните Фреду?

— Фреду? Какую Фреду? — удивился я.

— Фреда, собака из повести Голсуорси.

— Напомните!

— Я напомню вам одно место: Фреда лежит у входа в концертный зал и заглядывает в лицо каждому, кто выходит. Она, как обычно, ждала своего хозяина, а его еще накануне убили на дуэли.

Я зажмурился.

— Да, припоминаю.

Но перед моими глазами возникла не Фреда, а Крапка[19]. Собака моего друга Романа.

Можно с полным основанием считать его оригинальным человеком. Он жил как-то не шаблонно. И женился не шаблонно, не просто полюбил девушку и взял ее себе в жены, как все, а отвоевал. И собаку завел себе не обычную, а умную собаку.

Об этом стоит рассказать.

…Случилось так, что маленькая, с ласковой улыбкой девушка Виктория запала в сердце не только Роману, но и его другу. Она знала об этом, но не оказывала предпочтения ни тому, ни другому: оба стройные, оба сильные и красивые. Даже волосы у обоих одинаково светлые, и это, пожалуй, больше всего нравилось девушке, потому что сама она была смуглая, как цыганка.

Роман и его приятель ни за что не хотели уступить друг другу. Оставалось решить дело только силой. И потому, когда они как-то оказались на скале возле моря, то, не сговариваясь, начали бороться. Тот, кто поддался бы и сделал хоть шаг назад, полетел бы вниз, на острые камни.

Это и случилось бы с соперником Романа, если бы его в последнюю минуту не удержал на краю пропасти сам Роман.

Все это видела их девушка и с того дня стала женой Романа.

После они и жили не шаблонно: друг к другу обращались на «вы» и собаку завели себе тоже оригинальную: без хвоста, рябенькая, чистенькая, с глазами, которые только-только не говорят. В минуты досуга Роман звал собаку, брал кусочек сахара

и приказывал:

— Крапка, потанцуй!

Собака не мигая смотрела на сладкое, но позы не меняла.

— Не хочешь сахара? Ну, потанцуй! — делал вид, что сердится, Роман.

Крапка нехотя поднималась на задние лапки и начинала медленно поворачиваться под его рукой, в такт крутя обрубком хвоста. После этого Роман гладил ее по спине, а Крапка с наслаждением грызла заработанный сахар.

Когда началась война с немецкими фашистами, Роман ушел на фронт, а Виктории пришлось эвакуироваться в глубокий тыл. Делалось это в большой спешке. О том, чтобы взять с собой еще и собаку, не могло быть и речи: вагоны без того были переполнены.

Домашняя работница Даша не выразила желания эвакуироваться вместе с хозяйкой — на нее оставили и собаку и квартиру.

Когда немцы захватили Киев, двое солдат с автоматами вломились в квартиру Романа, осмотрели со вкусом обставленные комнаты, навели на Дашу автоматы и указали на дверь.

Работница в испуге выпучила глаза. Солдаты прикрикнули:

— Век!

— А мебель, а ковры? — проговорила сквозь слезы Даша. — С меня же спросят, когда вернутся. Еще подумают, что Даша… Да я никогда и крошки чужого…

Солдаты не слушали, что она бормочет, а еще громче прикрикнули:

— Век, век!

— А собака? — указала работница на Крапку. — Ведь хозяйка мне ее поручила: «Ты же смотри, Даша…»

Крапка, привыкшая к ласке гостей, удивленно моргала.

Солдат молча пихнул ее ногой за дверь, туда же выпихнул и работницу.

Даша села на ступеньках и горько заплакала. Ведь с нее спросят… На ее слезы никто не обращал внимания, потому что рыдали тогда почти в каждой квартире. Напуганная солдатами, она побоялась вернуться в комнату даже за своими вещами, а в чем была, так и пошла в село к знакомым. Крапка поплелась следом.

На улице ее оглушил скрежет танков, рев клаксонов, перестук мотоциклов, и она боязливо жалась к женщине, которая ежедневно кормила ее, выводила гулять, а когда они оставались вдвоем, даже беседовала с ней.

Крапка не знала, надолго ли ушли из дому Роман и Виктория, поэтому, очутившись с Дашей уже за городом, заволновалась. Она

никуда не хотела уходить из дому, да и хозяева, пожалуй, уже возвратились. Крапка остановилась. Но Даша продолжала идти дальше. Крапка пробежала еще несколько шагов и снова замерла, присела и начала нервно перебирать передними лапками, даже тихонько заскулила, но Даша не остановилась. Она все еще продолжала плакать и машинально повторяла: «Ты же смотри, Даша… А они ружье наставили». Крапка еще жалостнее запрыгала, а когда на дороге показалась кучка солдат в рогатых касках, поджала обрубок хвоста и затрусила назад, в город.

Перед дверью квартиры остановилась и заглянула в щель между створами, сторожко прислушиваясь. При каждом шорохе в квартире заглядывала в щелку. Когда шорох становился слышнее, она коротко скулила, даже несколько раз тявкнула, но дверь не открывалась.

Начало темнеть, электрическая лампочка под потолком оставалась слепой. Собака прилегла под дверью. Время от времени по ее гладкой шерсти, как волны, пробегала дрожь, — наверно, ей все еще чудились солдаты в рогатых касках и с автоматами.

Дверь открылась только утром. Крапка радостно завиляла обрубком хвоста и хотела просунуть между створками двери свою сухую мордочку, но наткнулась на тот же пропахший потом сапог. На этот раз солдат еще сильнее ударил собаку сапогом.

Крапка мигом скатилась вниз, вскочила на ноги и выбежала во двор. Когда солдат ушел из дому, она снова подкралась к дверям. Теперь ей хотелось не только увидеть своих хозяев, но и поесть, но никто до самого вечера не открывал, а вечером пришел тот же солдат, и она теперь уже сама отбежала от двери. С голодухи вспомнила о кухонных отбросах, но ящик оказался пустым, и потому, когда во дворе появилась женщина с кошелкой, Крапка, принюхиваясь, побежала за нею.

Женщина прошла мимо булочной, откуда всегда пахло печеным хлебом. Собака почуяла этот запах и остановилась. Даже присела. Может быть, думала, что сейчас выйдет Даша с теплым хлебом? От нетерпения Крапка нервно вздрагивала.

Из булочной вышла не Даша, а незнакомая женщина с булкой в кошелке. Однако она даже не посмотрела на Крапку. За женщиной вышел старик с буханкой черного хлеба в руках. Он тут же отломил кусочек и начал жевать. Крапка заскулила, но старик только равнодушно посмотрел на нее. Собака поднялась на задние лапки и даже вытянула вперед свою тонкую мордочку. Старик остановился и уставился на нее, но не выразил желания бросить ей хотя бы кусочек хлеба. Тогда собака начала медленно поворачиваться на задних лапках, виляя в такт обрубком хвоста.

У старика слезы навернулись на глаза, он тяжело вздохнул и кинул ей недоеденный кусок своего хлеба.

Крапка теперь начала бегать к булочной каждый день. Возле булочной все больше и больше появлялось нищих. Они уже привыкли к рябой собаке и не прогоняли ее, и Крапка присаживалась в сторонке. Когда из булочной выходил покупатель с хлебом, она поднималась на задние лапы и начинала танцевать, виляя в такт обрубком хвоста. Люди вздыхали и бросали ей кусочки хлеба.

Так продолжалось до того дня, когда возле булочной появился немецкий солдат с автоматом. Крапка узнала его по пропахшим потом сапогам, оскалилась и заворчала. Солдат не захотел обходить собаку, а воспользовался своим автоматом.

Роман прибыл в освобожденный Киев вместе с воинской частью. Город напоминал смертельно раненного человека: в центре не было ни одной улицы, которая не походила бы скорее на тропинку в запущенном овраге. Даже изморось и туман не могли скрыть все те бесчисленные раны, какие нанесли столице Украины немецкие оккупанты. Пробираясь среди развалин, он шел, стремясь узнать, что с его домом, и неожиданно увидел возле булочной собаку.

— Выжила, Крапка! — радостно воскликнул Роман.

Рябая собака с обрубленным хвостом и глазами, как ягодки терна, равнодушно посмотрела на рослого мужчину и отошла.

— Не узнала меня, Крапочка? Правда, за три года и три месяца можно забыть. Отощала, бедняжка. Ну, теперь поправишься. Все поправимся…

Он громко обращался к собаке, потому что на длинной улице маячили только отдельные фигуры, которые, казалось, расплывались в тумане.

— Значит, и Даша, где-нибудь здесь. Как я рад, что застал вас живыми. Должно быть, пришла за хлебом? — Роман заглянул через витрину внутрь магазина: полки стояли пустые. — Еще не наладили выпечки. — По выбоинам мостовой толкал свою тележку с домашними вещами забрызганный грязью мужчина. И хотя они были незнакомы, радостно поздоровались.

— Нет ничего лучше, как возвращаться домой. Проклятые немцы всех выгнали за город!

— Может, и вас выгнали за город, Крапка? — с беспокойством спросил Роман. — Ну, теперь все вернемся домой. И Виктория скоро приедет. Слышишь, Крапка? И не одна, а привезет еще двух сироток — Петрика и Гапочку. Зачем привезет? А куда же им деваться? Отца их убили на войне, а мать повесили

проклятые фашисты. А они крохотные, как желторотые птенчики, и такие хорошенькие. Ты бы послушала, как братик разговаривает с сестричкой. «Вот, говорит, глупая девка, никак тебя не научишь!» Теперь у нас весело будет в доме. Ты их полюбишь, и будешь им танцевать. Не забыла еще?

Собака по-прежнему держалась в отдалении.

— До сих пор не узнала? — уже с ноткой обиды в голосе проговорил Роман. — Плохая же у тебя память. Но погоди, — он пошарил в карманах и нашел кусочек сахару. — Теперь потанцуешь?

Собака, задрав голову, моргая, глядела на сахар, но никак не реагировала на слова Романа.

— Не хочешь? Ну ладно, еще вспомнишь. На, возьми!

Собака не соблазнилась и сахаром, и он только теперь заметил, что у нее пятнистые уши, тогда как у его Крапки они были белые.

Роман понял, что ошибся, разочарованно улыбнулся и, в надежде увидеть дома и Дашу и Крапку, зашагал быстрее.

МАТЬ БОЛЬШЕВИКА

В день сорокалетия Советской Украины в Яблоневском доме культуры мы торжественно вывесили портрет Марты Макогон.

Жила Марта в селе Яблоневом совсем неприметно. Муж ее в самом начале революции был председателем комитета бедноты. Он же создал и первую артель.

Спорили в хатах и на улице, а заявления приносили в сельсовет. Сидит Макогон за столом, а вокруг мужики гудят, как пчелы в улье. Только один, рыжий и волосатый, молча выглядывает из темного угла, как из засады.

Наконец и он подошел к столу и тычет бумажку.

— Кулаков в колхоз не принимаем, — говорит Макогон.

— Да какой из меня кулак? Видите сами — свитка вся в дырах!

— Драной свиткой нам глаза не закроешь.

В ту же ночь Марта стала вдовой с малым Михайликом на руках.

С первого же дня работала в колхозе. Когда сын подрос, его призвали в армию. Послали в военную школу. И стал ее сын командиром.

Но в Яблоневом таких матерей было много, и Марту не выделяли среди других.

Удивила она людей, когда Яблоневое оказалось под немцами. Но и тогда еще не всё знали про Марту.

Осталась она в оккупации не по своей воле. Когда послышалась артиллерийская канонада и начали вставать над дальними селами зарева, весь яблоневский колхоз снялся с места и двинулся на восток. На третий день канонада неожиданно опередила их обоз.

— Немцы уже впереди, — сказали встречные. — Возвращайтесь, пока не поздно.

Мужчины решили пробиваться к своим, а женщинам приказали ехать в Яблоневое.

Все, что было дальше, Марта Макогон сама описала в письме к сыну.

> «Здравствуй, Михайлик мой родной, соколик мой ясный! Взяла перо в руки, а оно дрожит, как веточка на ветру. Смотрю на белый листочек, а вижу тебя, моего любимого. Большой ты такой, высокий со своей улыбкой. Поговорить хочется с тобой, дорогой мой соколик. Боюсь только, чтобы слова мои не расплескались в слезах. Жив

ли ты еще, мой Михайлик? Течет ли еще в тебе кровь моя материнская?

Пишу, а сама боюсь, дождусь ли от сыночка весточки? Но как сердце ни трепещет, а подсказывает: пиши, Марта, жив твой Михайло, воюет он против ворога треклятого и тебя спешит вызволить. Радость и жизнь свою несет матери. И Ксана подсказывает: жив твой Михайлик. Не такой он у вас, чтобы от поганого фашиста помер! Вот и пишу тебе.

Видишь, сынок мой дорогой, никак до дела не дойду. Много думок в голове собралось.

Да и не все выложишь на белый листок. Разве можно уместить на нем свое сердце?

Не знаю, жаловаться ли тебе на наше житье? Чувствую, что не стало, Михайлик, у нас житья с того самого дня, как в село немец пришел треклятый. Слова разные с той поры начали запрещать, а учить нас каким-то непонятным, бесовским. Фюреру какому-то молиться заставляют. Говорят, он у них самый главный бог. Церковь всю развалили, на дрова растащили, да и рощу всю вырубили. Ограбили все до ниточки. У меня из сундука платье венчальное и то взял какой-то ихний ирод. Патефон еще осенью забрали, картошку выгребли, хлеб забрали, корову свели, всех курей порезали. Хлевушок и тот растащили. А зимой проведали, что ты у меня полковник, хату спалили и меня выгнали на улицу.

Выгнали, Михайлик, выгнали меня, старую, на улицу. Да еще приказали людям к себе не принимать. Пускай, говорят, замерзнет, ежели породила большевика.

Как услышала я эти слова, сердце не выдержало. Пошла в комендатуру ихнюю и прямо в глаза им говорю: «Что, ироды, смерти моей хочете? Знайте, проклятущие, выживу и на снегу, и на морозе лютом. Выживу, куда бы меня ни закинули… Не панского и не вашего бесовского мы рода, чтобы снега да мороза бояться!»

Комендант ихний, такой востроносый и с рубцом через щеку, ударил меня кулаком в лицо. Изо всех сил, как видно, ударил. Я упала.

И что было дальше — не помню.

Лежу, сейчас, Михайлик, у чужих людей. Болят косточки мои, и ноги отяжелели, а руки трясутся. Оксану, которая тебе нравилась, обесчестили ироды на весь свет. Стало к ним трое немцев на постой. В первую же ночь самый старший полез к Оксане в постель. Она

ударила его по голове. Немец что-то закричал по-ихнему двум другим, и все трое накинулись на нее. Мать хотела заступиться, так они скинули ее в погреб и там заперли, а над Ксенией издевались до самого утра. Двое ребер сломали, левый глаз выбили, а утром, еле живую, выбросили почти голую на снег. Девушка хотела порешить себя. Но прежде, сказала, отомщу этим иродам. К партизанам ищет дорогу. Так и ходит калекой.

Вот такое-то житье наше, Михайлик. Если ты жив, родненький, если цела в тебе кровь моя материнская, бейся с фашистами, сокол мой, за всех нас. Убивай их, проклятущих, не жалей!

Знай, не видать нам солнца ясного, если не вернетесь вы, красные наши соколики!

Твоя мать Марта Сидоровна»[20].

Это письмо, написанное, должно быть с большой натугой — и строки кривые, и буквы не так стоят, — Марта не отправила сыну. Был уже фронт между ними, а может, она с пруда и не вернулась, чтобы не попасть в руки немцам.

На пруд Марта пошла постирать себе рубашку. Было тепло, и не удивительно, что за кустами лозняка кто-то полез в воду.

Она глянула одним глазом — стриженый. Руками хлопает по воде, а ногами нашаривает дно. Вдруг булькнул с головой, вынырнул, крикнул и опять исчез под водой.

«И не маленький, а дурака валяет!» — подумала Марта, хлопая вальком по мокрой рубашке. Но когда стриженый вынырнул еще раз и что-го закричал дурным голосом, Марта сразу кинулась в воду.

Теперь было видно, что человек тонет. Она схватила утопленника за руку и с силой потащила к берегу. Стриженый, увидав женщину, вцепился в нее как клещ. Чуть и ее не затянул под воду.

— Ведь там яма, — сказал Марта с укором. — Куда вас понесло?

Очутившись на суше, стриженый пришел в себя, даже улыбнулся побелевшими губами. И пробормотал:

— Матка, спасибо будет командование. Данке!

Марта отшатнулась от стриженого, как от привидения: на его мокрой щеке виднелся красный рубец.

— Тот самый? — крикнула она. — Душегуб немецкий! Да чтоб я тебя спасала? Сгинь, сатана! — И сколько было силы ударила его вальком по голове.

Круги на воде медленно расходились по всему пруду.

notes

Примечания

1

Так называемая Западноукраинская Народная Республика, созданная галицийскими буржуазными националистами, во главе которой стоял Евген Петрушевич. *(Примеч. автора.)*

2

Часть украинской народной женской одежды.

З

Топор *(укр.)*.

4

Так называли солдат армии Деникина. *(Примеч. автора.)*

5

От моря до моря *(пол.)*.

6

Азартная карточная игра.

7

Солдаты белопольского генерала Галлера.

Мельдувать — доложить *(западноукр.)*.

Машингвер — пулемет.

10

На поминание в церкви о погибшем.

11

Всеукраинский совет народного хозяйства.

12

Стеклоплавильный завод.

13

Кошелек *(укр.)*.

14

Командующий гвардией.

15

Правильный — артиллерист, направляющий дуло орудия.

16

Черная рада (историч.) — собрание рядовых казаков без участия старши́ны.

17

Член организации украинских крестьянских писателей «Плуг», существовавшей в 20—30-е годы.

18

Комнезам (сокращенно) — комітет незаможних селян — комитет деревенской бедноты.

19

Точка *(укр.)*.

Заимствовано из газет. *(Примеч. автора.)*